

---

ФЕДОР ГЛАДКОВ

ЦЕМЕНТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
"ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"  
МОСКВА ~ ЛЕНИНГРАД

---



ФЕДОР ГЛАДКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ  
СЕМНАДЦАТАЯ ТЫСЯЧА

---

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ФЕДОР ГЛАДКОВ

# Ц Е М Е Н Т

РОМАН

Главполитпросветом рекомендовано для  
массовых городских библиотек.  
Государственным Ученым Советом допу-  
щено для школьных библиотек  
старших групп второй ступени

---

«З Е М Л Я и Ф А Б Р И К А»  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка худож. Д. И. Митрохина.  
Отпечатано в типогр. рабоч. изд-ва  
«Прибой», им. Евг. Соколовой,  
пр. Красн. Командиров, 29,  
в колич. 15000 экз.—20 л.  
Главлит № 59.424  
Ленинград.  
1926

## ПУСТЫННЫЙ ЗАВОД

## У порога гнезда

Так же, как три года назад, в этот утренний час море за крышами казарм и аркадами завода кипело горячим молоком и осколками солнца, а воздух между горами и морем был винный, в огненном блеске. (Март еще не кудрявился в зарослях). И голубые трубы, и железо-бетонные корпуса завода, и рабочие домики Уютной Колонии, и ребра гор в медной окалине плавилась в солнце и были льдисто-прозрачны.

Три года, а будто вчера: ничто не изменилось. Эти дымные горы, в отеках, оползнях, каменоломнях и скалах — такие же, как были в детстве. Издали видны знакомые разработки по склонам, бремсберги в камнях и кустарниках, мосты и лифты в узких ущельях. И завод внизу, — тот же: целый город из куполов, башен и цилиндрических крыш, и та же Уютная Колония по склону горы, над заводом, с чахлыми акациями и двориками в две квадратных сажени у каждого крыльца.

Если войти в пролом бетонной стены, отделяющей заводскую территорию от городского предместья (была калитка, а теперь — пролом), во второй казарме — квартира Глеба.

Сейчас встретит его жена Даша с дочкой Нюркой, вскрикнет и замрет на груди, потрясенная радостью. Она, Даша, не ждет его, и он не знает, в какой переделке она была без него за эти три года. Нет в Республике троп и дорог, не смоченных человеческой кровью: прошла ли здесь смерть только по улице, мимо рабочих конур, или в огне и вихре разметала и его гнездо?

Шел Глеб в густом винном блеске, по дорожке, по склону горы, через охапки еще зимних кустарников и кизила в желтых искрах цветения, и чудилось: поет и стрекочет воздух, и воздух — в перламутровых крыльях.

За стеной, в пустыре, играли чумазные детишки, бродили и глодали кусты и акации пузатые козы со змеиными глазами.

А петухи изумленно вскидывали навстречу ему красные головы в сердитом окрике:

— Эт-то кто такой?

И в сердце, полном крови, слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом... Завод. Дизеля. Бремсберги. Цехи. Вращающиеся цилиндры печей.

С горы видно, как между пепельными корпусами завода стекают вниз к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними — ржавым потоком железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, — распластанные крылья электрического крана.

Хорошо. Опять — машины и труд. Новый труд — свободный труд, завоеванный борьбой — огнем и кровью. Хорошо.

Девчатами кричат и смеются вместе с детишками козы. Нашатырная прель свиных закут. И бурьян, и улочки, засоренные курами.

Почему — козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше воспрещалось дирекцией.

Бетон и камень. Уголь и цемент. Шлаки и гарь. Ажурные вышки электропередач. Трубы выше гор. Бесчисленные струны проводов. И тут же — животина мужиковских хлевов. Чортовы хлопцы! Они деревню притащили за хвост, а она плодится здесь плесенью.

Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди — старуха облика бабы-яги, а две позади — молодые, босяцкого виду: одна — вся пухлая, грудастая, и лицо неудержимо дрожит от смеха, а зубы не закрываются губами; у другой — глаза красные, и веки

красные, набухшие водянкой, а на лицо козырьком натянут платок — плачет или больная?

Сразу узнал: старуха — жинка слесаря Лошака; задняя, двутрущая смехом, — жинка слесаря Громады, а средняя — чужая, не видел ни разу.

Поровнялся с ними, сошел в бурьян и козырнул по-военному.

— Здравия желаю, товарищи женщины!

А они, бабы, поглядели на него, будто на зловредного бродягу, и поодаль, замкнуто, обошли его тоже бурьяном. И только задняя — смеюнка — хохотнула испуганной куркой:

— Ну, ну, проваливай мимо! Много вас, чертей, барбосит. не наздравствуешься разом...

— Что вы, чортовы бабы? Не узнали меня, что ли?

Старуха Лошака угрюмо (так глядят старые ведьмы) лизнула белками по Глебу и басом сказала не ему, а себе:

— Да это ж — Глеб. Свалился ненароком с того света, неладный...

И пошла спокойно и угрюмо своей дорогой.

А жинка Громады засмеялась и ничего не сказала. Только издали, от самой стены, оглянулась, остановилась, рассыпалась крикливой сорокой:

— Торопись, мужик, до жинки. Коли потерял — найди, а найдешь — опять поженитесь...

Глеб поглядел на баб и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здорово, должно быть, потрепала жизнь заводских рабочих баб!

Та же оградка у дворика в две квадратных сажени, и тот же в улицу сортир будкой. Только покарежило ограду и время и зимние норд-осты, и сизая шелуха зашелудивила доски. А взялся за калитку — весь остов ограды рыхло закачался.

Вот сейчас с криком выбежит Даша. Через разлуку в три года как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим или забывшим ее навсегда, а может быть, ждет его каждый день, с того самого часа, когда он оставил ее одну с Нюркой в этой каморе и невидимкой ушел во вражью ночь?

Бросил шинель на бетон у ограды, во дворике, рассунил плечи от сумки и тоже бросил ее на шинель; и рядом с сумкой



шлепнулся шлем с красной крылатой звездой. Постоял, вскинул раз за разом плечи к ушам, помахал в круговорот руками (надо размяться и успокоиться) и после каждого взмаха вытирал пот с лица рукавом гимнастерки, но никак не мог вытереть, — будто не лицо, а решето. Поглядывал на крылечко, где дверь скрипела ему загадку в черную щель изнутри.

И только что смахнул с плеч гимнастерку и опять вскинул круговоротом руками — заулюлюкала дверь и —

Дашка это, или не Дашка?

Баба в красной повязке, в мужской косоворотке, стояла в черном квадрате двери и смотрела на него крепким узелком бровей над переносьем, а в ресницах вздрагивало изумление и вскрик. И когда встретила улыбку Глеба, разорвались и вспорхнули брови, и в глазах брызнули ручейки.

Дашка это, или не Дашка?

И лицо (родинка на подбородке и яблочком нос), и поворот головы в бок при пристальном взгляде — это она, Дашка. А все остальное (что — не назовешь в одночасье) — чужое, не бабье, не виданное в ней раньше никогда.

— Даша, жинка... Ах ты, моя голубка!.. Ну!..

И шагнул к ней, шоркая ботами по бетону, и руки распахнул, чтобы уловить Дашу в охапку. И никак не мог удержать сердца и вздрагивающей гармошки на щеках.

А Даша как стояла в дверях, на верхней ступеньке крылечка, как дрогнула от Глеба, так и застыла в порыве к нему и в борьбе со слабостью своей бабьей. И только смогла тихо пролететь через вспышки крови в лице:

— Это — ты?.. ой, Гле-еб!.

И в глазах, в черной глубине, огненной капелькой вспыхивал неосознанный страх.

А вот сгреб ее Глеб мужичьей и мужней обнимкой до треска косточек на спине, ткнулся колючим бритьем в ее губы — отдалась в его волю, и отшибло память дурманом.

— Ну, вот... ты жива и здорова, голубка?.. Ну, как — ждала меня, или гуляла вдовой?.. Ах ты, моя родная!..

А она не могла от него оторваться и все по-ребячьи певуче лепетала:

— Ой, Гле-еб!.. Как же ты так?.. Я и не знала... ой, Гле-еб!..

Но то рванулось из сердца только в одном миге, и в этом миге почувяла Даша былую Глебову власть над собою.

И тогда (три года назад), когда она была домашней бабой и цвела невестой вместе с геранью на окошке, эта мужняя власть была сладкой и желанной, и было спокойно чувствовать себя безвольной и обреченной в его руках.

Но не успел Глеб сдпать ее всеми жилами, чтобы вскинуть ее на руки, как ребенка, и унести ее в комнату, как, бывало, в первые дни женитьбы, Даша твердо, но ласково и осторожно сбросила его руки и с изумленной усмешкой взглянула на него исподлобья, сбоку, отчужденно.

— Что с тобой, товарищ Глеб? Не бунтуй — успокойся...

И сошла ниже, на одну ступеньку. Засмеялась.

— Ты очень разбушевался при мирной обстановке, вояка... Ключ остался в замке. Можешь вскипятить себе воду на керосинке — чаю и сахару нет... и хлеба нет. Зайди в завком и запишись на паек.

И опять сошла на ступеньку. Поглядывала на него и усмехалась утайкой, и в жухлом лице была чужая, не Дашкина, забота.

То — не обида, а — удар. Шел к человеку, а башкой ударился в стенку — и стыдно, и больно. Руки еще были в распашку, и неудержимо дрожала улыбка на лице.

— Вот туда, к чорту!.. Каким же это разом — товарищ?.. Вот покрыла с головкой, чортова жинка.

Даша уже сошла со ступенек и стала у калитки. И все смотрела на него из-под бровей и усмехалась.

Дашка это, или не Дашка?

— Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб пайком получаю в Парткоме. А ты, Глеб, зайди в завком и зарегистрируйся на хлебную карточку. Два дня я не буду — командируюсь в деревню... А ты пока отдыхай с дороги.

— Да подожди... ничего не пойму... С какого же ты часа попала мне в товарищи?.. Хоть выскажи мне, в какую я попал переделку...

— А я — в женотделе... разве не можешь понять?

— А Нюрка?.. Где же дочка?

— В детдоме. Иди, отдыхай... Мне некогда, Глеб. Разговор у нас будет потом... Отдыхай!

И ушла споро и твердо, широкими шагами, не оглядываясь, и красная повязка на затылке упрямо дразнила его до самой стены, звала за собою и смеялась.

А потом, у пролома, Даша оглянулась и махнула ему рукою.

Глеб стоял на крылечке и, пораженный, смотрел на уходящую Дашу: никак не мог понять, что случилось.

Пришел домой, встретил жену, Дашу. Не видел три года— прошел через эти три года в громе войны. Прошла через эти три года и Даша. Какой путь был у Даши — не знает. И опять пути их встретились в странном пересечении. До женитьбы их пути шли рядом, перепутались и слились в одну тропу. А потом силою событий бросило их отшибом в разные стороны, и шли они без утопанных троп, не зная друг о друге. Она ли, Даша, ушла дальше, или стали они чужие и не узнались в прежней любви?

Три года. Что такое было с бабой без мужа три года? Эти три года, которые для Глеба были вихрем грозных событий,— чем эти три года были для Даши?

Вот он пришел к своему гнезду, откуда ушел когда-то в безлюдную ночь. Вот опять тот завод, где он металлической пылью, гарью и маслом пропитался еще маленьким шкетом. А гнездо— пусто, и жена Даша, которую нельзя было оторвать от себя при разлуке, встретила его как не жена и прошла мимо него холодным, неприветливым призраком дурного сна.

Глеб присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что он очень устал. И не от того устал, что прошел четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой непонятной, неожиданной болью ранившей его, встречи с Дашей.

Почему эта необычная грузная тишина? Почему воздух стрекочет крылато, и куриный шелест ползает по Уютной Колонии?

Не корпуса, а — тающие льдины, и трубы голубеют стеклянными цилиндрами. На их вершинах уже нет копоты: сдули горные ветры, а на одной стреле громоотвода вырвана с корнем— бурей? ржой? человеческими руками?

Здесь никогда не пахло мужичьим навозом, а вот вместе с травой, ползущей с гор, гнилью зацвел прятный скотий постой.

В том корпусе, что сейчас под горой, — слесарный цех — трехсаженные окна в эти часы ослепительно пылали когда-то солнцем в бесчисленных переплетах рам, а теперь в разбитые стекла черной пустотой проваливается утроба.

И город за бухтой, на взгорье, — тоже иной: поседел, покрылся плесенью и пылью, сравнялся со склоном горы, — не город, а заброшенная каменоломня.

... Товарищ Глеб... Брошенная Дашей дверь нараспашку, в пустую комнату... Потухший, забытый завод... Был рабочий завода — стал военком полка, герой Красного Знамени...

Петух подошел к ограде, задрал голову и посмотрел на него одним глазом, зло и нелюдимо.

— Эт-то кто такой?..

И козы с любопытством мигали змеинными глазами и лопотали девичьими губами беззвучную чепуху.

— Ш-ша, подлая тварь!.. Перестреляю, будь ты трижды проклята!..

## 2

### М о р о к

Напротив, через улочку, из открытого окна казармы рвался в задышке пьяный скандал. Это грохотал басом бондарь Савчук, а это — в куриной истерике — Мотя, его жинка.

Глеб бросил свое барахло, как оно было у ограды, и пошел к Савчуковой квартире.

В комнате — копотные стены. На полу разбросаны табуретки и одевка. Жестяной чайник дрябло лежит на боку. И всюду — белыми вспышками мука.

С солнцем в глазах не мог сразу найти людей, а видел — кувыркались замызганные, изломанные в судорогах тела.

Пригляделся — они, Савчуки, у него рубашка в клочьях, и от подштанников до шеи спина выгибалась колесом, а ребра под кожей шоркали обручами. У Моти подол сбился до живота и грудь билась пузырем под своими и чужими руками.

Глеб сгрел Савчука под мышки и нажал на ребра. На спине, у лопаток, крикнули кости.

— Мужик! Осатанел от натуги, барбос? Отдохни малость. Стой на ногах!..

Дрожали мускулы у Савчука. Царапал пальцами воздух до треска в суставах.

Забыла Мотя, что голые у ней ноги до бедер. Опиралась на руку, а другою отмахивалась и все хотела крикнуть разинутым ртом и — не могла.

— Савчук, стой на ногах, окаленный!.. гляди человеком!..

Глеб опять до хруста в костях раздавил Савчука и воткнул его в пол мозольными пятками.

— Огрею вот по башке, чорт!.. Очумел ты, дубяга? Вставай, Мотя!.. Кости размяла — будь веселей. Не стыдись — можешь оставаться в прежнем положении.

И Глеб засмеялся как свой человек.

А Мотя вскрикнула стыдливой девочкой: затеребила подол юбочки, спрятала ноги под платье и скрючилась ежиком — стала маленькая, испуганная, убитая. Забилась в угол и заплакала.

Кровавыми глазами Савчук взглянул на Глеба. Не узнал. Отвернулся. Измученный, сказал глухо, с икотой:

— Сатана притащил тебя не в час, хлопче... жижи!.. Проваливай, пока я не набил тебе холку... брысь!..

Глеб опять засмеялся своим человеком.

— Савчук, друг ты мой пыльный!.. Пришел к тебе в гости — принимай, товарищ. Ведь мы с тобой сколько годов ломали горбы в этом пекле!.. Какой тебя бешеный пес укусил, бондарь?

Савчук опять взглянул на Глеба бычьими глазами, шлепнул по полу грязной ногой и взмахнул руками. Тряпки заболтались как на чучеле, — не рубаха, а лохмы, и мускулы дрожали под кожей узлами и натужными веревками.

— Хо, идолова душа!.. Глеб, брат ты мой Чумалов!.. Какая тебя сатана выдрала с того света?.. Сукина сына!.. Глеб!.. Гляди на меня, на подлюку мою рожу... На, гляди и крой по моей поганой утробе...

И стал обнимать Глеба липко и потно.

— Мотыка, вставай! Отряхайся: я в этот час смиренный и слабый. Отложим до другого разу. Посижу я с ним, с идовой

душой, Глебом, поплачу, растревожусь в нутрах... Вставай, Мотья, — прыгай сюда... мир!.. Целуй друга-товарища Глеба, а остальное — до другого разу...

И волосы, и борода — дубовые стружки бондарни: ключьями, дыбом, ошметками.

Мотья сидела ежиком и плакала. И все одергивалась — стыдливо тянула юбочку на ноги.

И ей засмеялся Глеб веселым другом.

— Мотья, победы над тобой у Савчука нет. Крышка! Свободная ты женщина, и за права свои бабьи здорово рвешься. Крой и начинай сначала.

И этими словами будто жвыкнул он Мотю по голому сердцу. Ящеркой рванулась она к Глебу на коленках, и глаза завинтились раскаленными спиральками.

— Отваливай и не цапай. Вас, проклятых людей, много до глотки. Мучители!

Доползла до солнечных пятен на полу и вспыхнула огнем в голубых полосах света, в брызгах радужной пыли. Дымились волосы: в космах и стекали на голые плечи в прорехах кофты.

— Не уйду, Мотья: хочю сидеть у вас гостем. Угощай пышками, жаревом, чаем с сахаром — ты же — мешочница...

Глеб смеялся, играл с Мотей — ловил ее руки, ласково подставляя себя под удары.

— Мотья, вспомни: какая ты девка была боевая!.. Хотел я на тебе жениться, да отшиб Савчук, окаянный бондарь.

Савчук зарычал и скрипнул зубами.

— Это же — не баба, а жаба. Коли ты — друг, застрели ее из своего палемета... Почему у меня — нет жизни, а она жизнь свою спрятала в мешок?.. Почему она кроет меня домом и барахольной заботой, коли у меня нет дома, и руки мои нужны чорту в глотку?.. Нет жизни, Глеб... и нет меня, товарищ... завода нет, идолы души!..

Мотья встала и вдруг изменилась: другая стала Мотья — измученная, битая, больная.

— Да Савчук же, ну погляди: ведь у меня иссохли силы... Я затерзалась, Савчук... Чтоб достать совочек муки, разве я не ограбила наше гнездо и не стала голая, как потаскуха?.. Я скоро сожгу свой стыд нагой бабой на солнце... Ведь у меня

были дети, хлопчата, и я была богатая, жадобная мать... Где они, Глеб?.. Почему я — не мать? Хочу гнезда, хочу цыпчат, как квочка... Но они сгибли... Зачем я такая?.. Пущай сгорят мои очи: очи — не для ночи, а для красного огню, Глеб...

Дрожали щеки и губы у Моти, и смотрела она на него мутными глазами от слез. И все одергивала юбку на коленях и теребила до треску кофту на груди.

Да, не та стала Мотя — мученая и злая... И в опущенных углах рта, и в глазах, обожженных болью, лихорадкой горела новая, еще не знаемая, сила. Помнил ее Глеб в крикливом выводе малых ребят — на груди, у подола и зайчатами в играх, — и была она среди них хлопотухой, воркотуньей-наседкой. И в глазах ее была тихая радость и жертвенная отрешенность матери.

Савчук рывком подбросил табуретку с полу и грохнул ее около стола. Сел распаренной тушей и брякнул кулаком по скатертке.

— Дожили, мать вашу, докомарили!.. Люди!.. Брат мой родной, Глеб!.. подыхаю... Пустота и могила... Умираю от силы, душа моя, Глеб, — лопну от силы... Но страшно мне, Глеб... Говори, почему страшно?.. Не смерти мне страшно: я до смерти — слепой, смерти мне нет. Морока мне страшно и дикого места. Куда деть мою силу, коли морок и кладбище?.. Вот он — гляди... Не завод, а сорная яма, козье гнездо... Нет его... А коли его нет — где же я, Глеб?..

Мотя смотрела на него черной слезой мученых глаз, и в лице ее увидел Глеб страдную любовь к мужу.

— Ну, оденься, буйвол... И не стыдно босаяцкого вида? И рожа твоя — поганая помятая бадья. У меня — бита, у тебя загажена бесом...

И в надрывном крике Моти уже не было злобы — играла в злость, а голос ломался от ласки.

Глеб засмеялся.

— Чудаки вы, ребята!..

— Мотька, шагай сюда... ласкаться хочу... жинка!..

Савчук поднял на руках Мотю и маленькой девочкой опустил ее около себя.

Из-за горы бездымные верхушки труб прозрачно хрусталились пустыми стаканами. И по ребрам горного массива,

мохнатого от бурых зарослей держи-дерева и туи, по ржавому бремсбергу, мертвыми черепахами валялись ковши вагонеток.

— Завод... Что было и что есть, друг ты мой Глеб?.. Вспомни, как в бондарнях пилы пели девчатами по весне... Эх, товарищ милый!.. Я же вылучился здесь из яйца... Я же не знал другой жизни без этого ада...

Тосковал по быломu грохоту завода Савчук, оплакивал могилу минувшего труда, и глаза его заливались слезами. И в скорби своей по огненным ревам машин он похож был на слепого, с той же слезной улыбкой и высоко поднятой головой.

Стояла рядом с ним Мотя, и была она такая же, как он, — слепая и слезная. Мать, в любви своей к домашнему гнезду, лишенная птенцов.

— Савчук, ну, бей меня... Я — вся для дома, Савчук... Ну и ты же будь для берлоги приглядный... Ну, бей!..

— Мотька, ты хочешь, чтоб я делал то же, что другие?.. Зажигалки? Или крадом кадушки клепал для мужиков?.. А не ты ли пошла с тряпками, с барахлом по станицам и селам?.. Ты — бродячая, битая собака!..

Он налил кровью кулаки и заскрипел зубами.

А Мотя стояла и бредила как во сне:

— Было у нас богатое гнездо, Савчук... И дитята наши были милые скворчата... То была твоя и моя кровь... Давай же свивать новое гнездо, Савчук... Не могу, не могу я, Савчук!.. Я пойду по дорогам и подберу чужих безродных дитят...

С одной стороны — Мотя, с другой — Глеб.

Взволновался Глеб, положил руку на лопатки Савчука.

— Ты — мой старый товарищ, Савчук. Еще ребятами пошли мы с тобою вместе на работу. И не наша ли подружка была Мотя? Ты сидел здесь совой и кликал беду по ночам, а я дрался с врагами и обливался кровью... А вот пришел — и гнезда своего нет и завода нет... Мотя — хорошач баба... Будем собирать силы, Савчук... Мы — биты, но мы научились и бить... Здорово, к чортовой матери, научились, Савчук... Давай твою лапу, глупый бондарь...

Ошалело глядел на него Савчук и крутил голову. Не понимал, что говорил ему Глеб, — глядел на него кровавым угаром.

Мотя прислонилась к Глебу, обхватила ему шею — не стыдилась.



— Глеб, родной... Савчук — хороший... Он только взбесился от силы, Глеб... а Савчук — хороший... Ах, Глеб... мне ничего не надо, коли б я была только богатая мать... Какая судьба, Глеб!..

— Мотыка, не ласкайся к нему невестой: он еще — не твой кавалер...

Ласковым забавником играл Глеб рукою Моти и смеялся.

— Чудаки вы, ребята!..

### 3

## Машины

От Уютной Колонии к заводу можно идти двумя дорогами: по шоссе, вдоль заводских корпусов, и по путанным тропам на предгорных сбросах, через кустарники, каменные отвалы и широкие площадки бывших разработок.

Отсюда завод был виден во всей массе сложных нагромождений: вышки, арки, виадуки, железо-бетонные и каменные громады зданий, то воздушно-легких, как гигантские пузыри, то кубически строгих в своей простоте и архитектурной тяжести. Они громоздились, спаянные друг с другом, или монолитно отшибом вырастали из горы на разной высоте. А в горных ущельях, по разрушенным бремсбергам, засоренным камнями, брошенными вагонетками и сизым от пыли кустарником, под скалами, над скалами, на отвалах брекчии, одиноко, вразброс, неожиданно высекались из голубого цементняка маленькие домики. Каменоломни радужными террасами ступенились вниз, в ущелья, и исчезали в буйных зарослях молодого леса. И море за заводом, в дымах дальних мысов, — полно налитая чаша, и горизонт зеркальной синевой четко резался в миражах от мыса к мысу, выше крыш и башен, и так же выше крыш, между трубами (они — упруги и стройны, как живые стебли), от города, с той стороны залива, и от завода в бухту, тетивою натягивались два мола с маяками на концах. И видно, как к заводу и пристаням необъятно струились полукружия зыби и раскалывались у берегов снежными бурунами.

Так же, как три года назад. Но тогда и завод и горы потрясались от внутреннего огня. И от скрытого грохота машин

и электрического воя горы, заводские храмины, трубы и пирсы были живые, насыщенные силой вулканного напряжения.

Глеб шел по тропе, смотрел вниз, на завод, слушал низинную, застоявшуюся тишину, со сверчковым переливом ручейков, и чувствовал, что и он стал тяжелым, низинным, покрытым каменной пылью.

Тот ли это завод, где он помнит себя с детских лет, где сам рос из огня и грохота и привык ходить по тропам и дорогам территории, дрожащим из глубины под его ногами? И он ли это, Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеглазник, который идет сейчас одиноко по старой, одичалой тропе, чужой обlichem и походкой, с необычным угрюмым вопросом и изумлением в глазах?

Раньше он был небритый (усы — колечками), и копоть и железная пыль не сходили с лица (от этого он казался смуглым), а теперь — бритый, и кожа сбледнела, и скулы и нос — сизы и шелушатся, обветренные полями. Разве это он, Чумалов, когда уже не пахнет от него гарью и маслом, и спина не сутулится от работы? Разве это он, слесарь Чумалов, когда у него — бравый военный постав, и на голове — зеленый шлем с алой звездой, а на груди — орден Красного Знамени?

Случилась какая-то чертовщина. Совершился странный сдвиг: кувырнулась со своего упора гора и грохнулась в тартарары.

Шел, смотрел на завод, на горные разработки, на трубы, заглохшие тишиной, останавливался, думал и мурзился во вздохах:

— Эх, чертовы люди, проклятые!.. До чего ж довели, окаянные!.. Расстрелять — мало, мерзавцев... Да и какой же знаменитый завод угробили и запакостили, подлещы!..

Знал одно: была могила, великое разрушение и жуть, и в этой могиле оказался он, оторванный от армии, и эта великая жуть была в его сердце. И могилы этой он испугался, и от этой жути не знал, что делать с собою.

Он спустился вниз, к заводу, на пустую площадку, черную от угля, с плесенью ползущей травы. Давно здесь громоздились высокие пирамиды антрацита, и кристаллы их цвели смоляными алмазами. Над площадкой — отвесная скала в желтых и бурых пластах. Она осыпается потоками щебня и съедает остатки человеческого труда. По краям полукругом — ветвистые рельсы.

Прямо, за парашютом, из провала взлетает в высь на восемьдесят метров голубой обелиск трубы, и за нею горою дыбятся огромное здание электро-механического корпуса.

Потухшим миром ухнул завод в бездельные дни. Норд-осты изгрызли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, и кучи старой отработанной пыли на карнизах опять превратились в камни.

Прошел мимо сторож Клепка. Длинная на нем рубаха из мешка до колен, без пояса. Он — в опорках на босую ногу. И опорки у него будто из цемента, и в цементе — ноги. Не стареет больше и будто был здесь всегда. Постоял, поглядел домовым на Глеба и пошел дальше. Одичалый обломок прошлого.

— Эй, ты... огрызок!.. Чего бродишь тут окаянным покойником?.. Прокараулил, чорт старый!..

Изумление и тревога трепыхнулись в бородатой оширке.

— Посторонним лицам вход строго воспрещается.

— Дурак! У кого ключи от завода?

— Ключи — без пользы: замков нема... слиняли... Гуляй вместе с ветром... Коза — в заводе... и крыса... один грызунец... А человека — нет... пропал...

— Сам ты — старая крыса. Забились в норы, как раки, а бродите бездельниками, будь вы трижды прокляты...

Клепка нелюдимо, лохмато поглядел на него и пошевелил ключьями волос — хлопьями цемента.

— Шляпка с пипкой... чертячий рог... редька... Тут — некого пырять... человек пропал...

И пошел дальше, шоркая опорками.

С площадки в главный корпус завода шел высокий виадук на каменных устоях. В бетонных стенках — проломы, дыры для пулеметов. Завод был крепостью белогвардейцев. Из завода сделали конюшни и бараки для военнопленных. И эти бараки были кошмарными гробами в дни интервенции.

Посмотреть, какая сейчас утроба завода.

Дверей нет — сорваны с петель. Паутина, затканная цементной пылью, треплется истлевшими тряпками. И оттуда, из тьмы необъятного брюха, выдыхается плесенный смрад и старая отработанная пыль.

Волновался и рокотал полусвет звонным эхом забытого запустения. Мостики, лестницы, галереи, трансмиссии, рычаги, трубы, провода — охапки мусорно-переплетающихся нагромождений. И — хмельной, кислотный запах цемента. Исполнительский чаный массив трубы с вырванной заслонкой. Воздух водопадно ревет в обмстанной пыли воронке, плещется косматым вихрем, толкает и всасывает Глеба в трубящее жерло. Раньше чугунная заслонка забивала рычащую глотку надежной затычкой, и труба с потрясающим гулом и громом в чреве сосала огненную окалину из пузатых цилиндров вращающихся печей.

По оловянно хрустящей лестнице Глеб спустился вниз и пошел поющими шагами мимо окон, заброшенных пылью, как инеем. И только одно давило его до ничтожества, до кукольной тени, это — великанские цистерны вращающихся печей. Когда-то они с ревом и космическим свистом, пылая доменным пламенем, ворочали свои раскаленные тела чудовищ, и под ними толпы людей, облитых огнем, были смешными крохотными муравьями. Чугунными дугами и кактусами над туловищами печей, по бокам и сверху, вязались в путанные узлы и спирали тучные трубы. И опять — трансмиссии, ползущие по стенам и летающие по воздуху.

— Ах, сволочи!.. Ах, мерзавцы!.. До чего же довели такую богатую силу... до чего же довели, негодяи!..

Длинными ночными тоннелями он вошел в машинное отделение. Тут — густой, успокоенный небесный свет и строгий храм машин. Пол — из цветного кафеля шахматной мозаикой. И черным мрамором с позолотой и серебром идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе: толкни — и запляшут, заиграют зеркальным металлом. И маховики — живые, в полете, и чудится: горячими волнами струится навстречу Глебу жирный воздух, насыщенный маслом и серой. Рядами громоздятся дизеля, как алтари — требуют жертвы. И маховики стоят и летят. Потрогал рукою — крепко стоят дизеля, вросшие в землю. Могучими кристаллами стоят, готовые к взрыву.

Здесь, как и прежде, все было нарядно, чисто, и в каждой детали машин дышала теплом любовная человеческая забота. Попрежнему блистал пол восковым изразцом, и пыль не дымилась

на окнах: стекла (их — множество) дрожали голубыми и янтарными изломами света. Здесь упрямо жил человек, и через человека жили и напрягались ожиданием машины.

И этот человек, в синей блузе и кепке, выбежал из перулка между дизелями, вытирал паклей руки и играл белками и зубами. И кепка — лепешечкой к носу, и нос, похожий на кепку, и красной щетинкой усы — цепкий, колючий, пристальный.

— Ха-ха, дружище!.. Ты? Ах, какой же ты — бравый командарм... Чуял, что — жив и живущий... Вот, мол, придешь — и закрутим с тобою старую карусель... Ну, здорово!.. Вот обрадовал, дружище!.. Дай тебя помазать нашими машинными соками...

Это — он. Это — механик Брынза, старый товарищ.

Здесь он родился (отец был тоже механиком), вырос среди машин, и мир для него существовал только в машинном корпусе. И Брынза и Глеб вместе провели детство и вместе пошли шкетами в заводские корпуса.

— Ну, и вояка!.. Ну-ка, дай наглядеться... Напялил шлем, а выросли только нос и звезда... И руки и ноги твои узнаю — прут недуром.

Глеб рывкнул от радости и размахнулся для обнимки со старым приятелем.

— Брынза!.. друг!.. Ты еще здесь?.. Почему не оседлал себя мешками, как вся заводская шатия?.. Или ты здесь пилишь машины для зажигалок?.. У тебя тут такой поворот, словно через миг тыпустишь шуровить всю эту чертовню..

Брынза с места в карьер схватил Глеба за руку и потащил его в глубь узкого прохода между дизелями.

— Смотри, дружище, какие сатанаилы... Видишь, какие они? Они у меня как девчата — чистоплотные... А стоит зыкнуть: Брынза, начинай!.. и вся эта веселая механика завертится и забарабанит железный марш... Машины требуют такой же дисциплины и живой руки, как твоя армия... Раз я — с машиной, я — сам машина... И пошли вы от меня к дьяволу с вашей политикой, горлодером и мордобоем. Деритесь там, дробите черепа, хоть захлебнитесь кровью — чорт с вами: это меня не касается. А для меня — одно: машина и я, чтоб быть всегда в одной душе...

— Брынза!.. я знаю твои руки: твои руки — золотые. Ух, какая красота!.. Козы есть? Будь они трижды прокляты!..

Пушай возжаются с ними дураки и брандахлысты... А на зажигалки ты не протянешь руки... Но, ведь, дьявол!.. Ты зарылся в своих машинах и ни бельмеса не чуешь всех наших переделок... Тут тебя не прошибешь пушкой...

Брынза срывно остановился и выпучил глаза на Глеба.

— Стоп!.. Ты с агитацией и митингом? Этим, брат, меня не возьмешь. Ты — у машин, а не на сборище. Это ты знаешь, а ежели знаешь — молчи. Как я поступаю в этих разгах? Было дело, а теперь заросли все дороги бездельникам. Забредет, бывало, сюда этакий лодырь и — получает по шеям... Лучшее место для этих болтунов — завком. Ха-ха, до чего же осатанели люди от горлопанства!.. потому что осатанели от безделья: безделье и горлопанство — одно и то же. Сюда с барабанными словами не пойдешь — нет: здесь, друг, машины, а машины, это — не слова, а руки и глаза.

Глеб ласково погладил блестящие части машин и пристально поглядел на Брынзу влажными, немного пьяными глазами.

— До чего же у тебя, друг, живая организация — уходить не охота! И до чего же опаршивел завод... и до чего же люди опаршивели!.. Какого чорта торчишь здесь и дрочишь руки над машинами, если завод — сарай и мусор, а рабочие — лоботрясы, бродяги и шкурники?.. Беги и ты, пока не сдох...

Брынза изломался судорогой от кепки до пяток. Мускулы на лице запрыгали в гримасах. Будто сердце взорвалось в Брынзе, и кровь опьянила его бешенством. Он с размаху ударил кулаком по блестящему панцирю дизеля и задохнулся.

— Завод должен быть пущен, Глеб... Завод не может умереть... Он требует для себя жизни, иначе он сожрет нас... Ты не знаешь, как живут машины?.. нет, ты не знаешь... Можно сойти с ума, когда видишь и чувствуешь. Кто это знает? Я это знаю... только я!..

Такого надрыва раньше не было в Брынзе. Остался он с машинами и вместе с машинами остановился. Когда замолкли дизеля, и люди прошли через них массажи к революции, к гражданской войне, голоду, страданиям, — он остался в молчании механических корпусов. Он жил так же, как жили машины, и был так же одинок, как эти строгие блистающие механизмы.

— Завод обязан пойти, Глеб. Если есть машины, друг, они не могут не работать: они, брат, работают даже тогда, когда стоят... Эх, если бы ты мог это знать!.. Чувствуешь ты или нет, но ты должен сделать все, чтобы зажечь первую спичку... Это имей в виду и помни каждую минуту...

Глеб взял руку Брынзы и потряс ее в радостном волнении.

— Друг! Правильно!.. Завод должен работать, если он — завод. Вот тебе моя рука порукой: пустим завод! Умру, буду калекой, а завод дербалызнем... Факт! Пускай остаются твои дизеля в упряжке... Будем крыть, друг, всеми поджилками...

## 4

## Братва

В полуподвальном этаже заводоуправления, в узком сумеречном коридорчике, в сладко-угарных парах сырого цемента топотали и буровили толпежом рабочие. Здесь была банная прель и бурый махорочный чад. И в этом грязном дыму люди, тоже грязные от сивой пыли каменоломен и дорог, как зелень и здания заводской территории, — были мутны, размыты и однолики, будто вечерние тени. И грохот базарной ералаша и бычий хохот до дрожки в стенах и горлодер через мат — о пайках, о столовой шрапнели, о керосине, о дачках, о зажигалках и козах, о бедном рабочем люде, на шее которого ездит всякая шатия...

А дверь в завком открыта, и там тоже — промозглая дымная грязь, артельный скоп и смрадный пот застойного беструдья.

Глеба не узнали, когда он пробирался через рыхлую толчею, только нелюдимо и мутно, с утайкой вражды, зыркали белками на его шлем со звездой и орден Красного Знамени. И не оглядывались на него — забывали о нем, равнодушные к людям: разве мало шатается в завком разных заливал-комиссаров и всяких людей с портфелями и без портфелей?

Перед дверями выделявал коленца парень в белом чепчике, в корсете поверх пиджака, с наусниками на бритых губах. Его тискала сбитой кучей толпа, а он работал локтями и кричал по-бабьи и балаганно жеманился.

— Ах, паз-звольте приставиться... Пар ве брюк рикапе!.. Извините-с!.. Ах, не лапайте мое обличение!.. Ах, грраждане, я ж — честная советская пролетария... Ах, не лапайтесь до щекотки!

И - ох, ты, ябы-лочи-ко, д'куды котисься,  
Д'как в завком попадешь — обормотисься...

И толпа крыла его выкрики и песню восторженным матом и хохотом.

— Вот, подлая башка!.. Митька!.. забойщик, чорт!.. Гармонист!.. Его же, идола, ничто не берет — ни чорт, ни батька, ни советская власть...

В дверях дрожал и винтился шкетом коротышка — дохлый смугляк, с одними пылающими глазами в косточках лба и скул. Слесарь Громада... И Глеб удивился, как здорово скрутило человека за эти три года.

— Товарищи, брось дискутировать!.. Это довольно совестно с вашей стороны и позорно себя изображать и так и дале... А о себе не можем понимать сознательно...

И не мог кончить — сго оборвал Митька:

— Ах, товарищ завком, извините-с, простите-с, захлесните-с первы в узалочек и приколите к пупочку булавочкой... Умер! Сдох! Тронут и потрясен!.. Корсет положу на паркет, шлычку — на полчку, а губную подтяжку — в упряжку: коли вывезет — во всем парате выеду на демонстрацию... Тру!..

И опять балаганно заломался и, работая локтями, пошел ряженным к выходу, а за ним поползла толпа из коридора и из комнаты, захваченная зрелищем.

Глеб прошел в комнату и позади рабочих стал у стены. За завкомским столом сидел горбатый Лошак, попрежнему черный, проржавленный слесарь, и коротышка Громада. У Лошака грудь над столом выпиралась куском антрацита, и куском антрацита голова в картузе, до глянца захватанная пальцами, а на лице — только раздавленный нос и взбухшие белки в кровоподтеках. Он сидел немым каменным идиолом, а Громада надрывался, брызгал слюною, вскакивал, садился, трещал костями (это стул трещал под непоседой) и откикивался и отмахивался сразу ото всех.



Горласто кричала баба, широкая задом, и студнем тряслась от движений.

— Понасажали вас, брандахлыстов, на нашу шею, проклятых... Подыхай бедный люд — вашему пузу на бурдюк... Вишь, морды какие нахолили!.. Мой чертолом только козе бока чешет, а я ходи на брехню с вами, толстогузыми...

А рабочие толкали ее в спину и давились хохотом и матом.

— Крути крепче, тетка Авдотья!.. Крой всем животом, а зад выдюжит...

— Молчите, ерники!.. Для чего вас, завкомцев, поставили в головку?.. Это — шагалки? это — ходыри? это — рабочему человеку на бузу?

Широким взмахом подбросила ногу и гроыхнула чоботом по столу. Юбка задралась выше коленки и оголила синий водняковский налив ноги от обуви до ляжки.

Толпа опять грохнула хохотом и разодралась ладошками.

— Bravo, тетка Авдотья!.. Показала номер — не в пример... Тяни зававес выше — кажи главное приставление... Крой!..

Лошак сидел в белках каменным идиолом. А Громада вскочил, взмахнул рукою, дохлый, добитый чахоткой.

— Гражданка!.. Товарищ!.. Ты же — рабочая женщина... Завком выполняет задание... и так и дале... Ты ж должна понимать...

— Крой, тетка Авдотья!.. Отвечай за всех!..

— Гони к чортовой матери эту лахудру!.. Чо в сам-деле?.. Тут — товарищ Ленин на стенке, а она, сволочь, заголяется до пупка!..

— Молчите, бабьи гвоздари!.. Где мои боты, которые вы мне дали, завком, на дачку?.. В станицу с мешком пошагала, а потом трое разов в столовку за шрапнелью для кормежки свиней... а где у них стала подшивка и дратва на головке?.. Такую дачку сами полопайте для утробы... Глотайте!..

Вытащила ногу из чобота, и она бухнула по полу пяткой, а чобот с разинутой пастью кувырнулся к груди Лошака.

Но Лошак сидел попрежнему куском антрацита... Он спокойно взял чобот и поставил его перед собою.

— А ну, баба, ставь дальше свое дело на попа. Послухаем.

Громада не вытерпел, вскочил и замахал рукою. Последние капли крови бледно задрожали на смуглых, землисто-бледных скулах.

— Я не могу терпеть, товарищ Лошак... Как гражданка незосознательно соображает так и дале... но это с ее стороны — позорно и стыдно... Завком — не какая этакая шатия... Это надо отшить, такую провокацию!..

— Терпи, Громада!.. Хорошая баня с паром — на пользу... А вот сейчас от стола мы поставим дело на попа. А ну, сирота и обида, гвоздуй: за какую твою работу повинна ты получить таковые чоботы?

— Ты мне, горбатая шпана, не заливай мои очи... Работала, не работала — получить и я горазда...

— Зык!.. Не барахоль барабаном, а мозгуй черепком. Спрашиваю: за какую твою повинность хочишь получить киселя с молоком, с сахарной подсыпкой? а ну?.. Давай другой чобот. То тебе дали задарма, ошибкой.. А свиной реквизируем за столовую шрапнель, какую ты повинна кушать сама на голодное брюхо... Доказуй! Докажешь — получай в оборот... Крой на попа!..

Баба Авдотья надавила на рабочих и взбудоражила всю артель до последних рядов.

— Тю, будь ты проклята!.. Держись, братва, береги штукатурку!..

Лошак с тем же угрюмым спокойствием взял чобот (а у чобота подметка — как коровий язык) и поднял над столом.

— На, бери, баба!.. Посади мужика за починку и носи. А для веселья приходи сюда другим разом. Пустим завод — пошлем тебя на каменоломню: будешь взрывать скалы без динамита...

Баба Авдотья схватила чобот, села на пол и стала напирать его на толстую ногу со вздутыми венами. Бубнила в чобот растерянную ругательскую ералашь.

— Слухай, болвашки: изъясний, как советская власть ставит дело на попа... От мужика забрала хлеб на войну с буржуями, от буржуев — заводы, как вот, скажем, наш... А работы — нет. Забрала всякое барахло от буржуев и говорит: обделяйся, рабочая артель, чтоб ничего не пропадало. Пушай, куда хочишь, туда и девай... А пустим завод, тогда будет инако. Шагай по домам, болвашки!..

У стола Глеб приложил ладонь к шлему и засмеялся.

— Здорово, хлопцы! Давно не видались. Прибыл к своему станку, а у вас не завод, а скотобойня. До какой же мерзоты довели вы производство, друзья!.. Расстрелять вас надо, товарищи дорогие...

Даже стул заверещал барабаном под Громадой и кувырнулся кверху всеми четырьмя ножками.

— Глеб!.. Родный товарищ!.. Лошак, друг горбатый, разве не видишь?.. Глеб Чумалов... наш Глеб!.. Убитый и живой... Гляди же, Лошак!..

Лошак сидел черным идиолом и смотрел белками на Глеба так же угрюмо, как на рабочих, как на бабу Авдотью, как на всю артельную бестолочь, которая проходила через завком каждый день с утра до вечера.

— Так. Вижу, дело пошло на объявку: был ты, слесарь, — вояка. Это нашему козырю — хлюст. И тут воякой ставь дело на попа... Видал, какая скаженная шатия? Слесарный цех загнил, Глеб: там пият зажигалки... проклятое место!

Из-за стола он с усилием вытащил непомерно длинную и тяжелую руку и медленно протянул ее по столу к Глебу, и было странно видеть, что эта большая рука (больше руки Глеба) — рука Лошака.

Подхлынули рабочие разных цехов, смотрели на Глеба с изумлением и растерянностью, как на воскресшего мертвеца, переглядывались, обалдело бормотали и, сшибаясь, путаясь руками, ловили обе его руки.

И было уже тихо, только дышали нутряными вздохами. Буча и ералаш выдохлись вместе с Митькой и бабой Авдотьей.

— Вот, товарищ Чумалов... Тебе — к прицелу — гляди... Взяли, дескать, в свои руки... Вон оно какое все... Прогнали всех хозяев... А гляди, ядри твою корень... Вдрызг!.. Кто клепку тащит, кто медь с машин дерет, кто ремень режет... Навластивовали!..

Не поймешь, кто жаловался — все наперебой жаловались, каждому казалось, что жаловался только он один.

А Глеб всматривался в артель и радостно кивал шлемом.

— А-а!.. бондаря... кузнецы... электрики... слесаря... братва!..

Громада продрался сквозь толпу со стулом в руках и, маленький, весь из одних косточек, дрызнул стулом об пол.

— Отдай назад, товарищи!.. Дай место товарищу Чумалову! То—наш боец красной армии... И как он есть рабочий нашего великолепного завода, то мы должны им при всяком месте козырять. Коли бы товарищ Чумалов фактически не пострадал через зеленых в красную армию и так и дале, так, може, много не сделали поступка на предмет вступления в ряды Рекапе... Вот, товарищи, кто такое для нас есть самый товарищ Чумалов...

А из артели рабочих — опять голоса:

— Выжил, брат?.. Это — добро, что выжил... Погуляй, значит, здесь. Как-то, браток, погуляешь?.. Табак — наше дело... С заводом — хабарда... тинь-гилинь... Кубышка!..

А Громада уже размахивал навстречу им костлявыми руками и надрывался безгрудым птичьим голосом:

— Товарищи, как мы все, рабочий класс, бьем до овладения производством, но стыдно и позор, товарищи, как мы способны на демагогию... Мы победили на фронтах и все ликвидировали, так неужто ж мы не имеем кишки на хозяйственный труд?..

Глеб молчал, смотрел на тифозные лица рабочих, на дохлого Громаду (сам — маленький, а фамилия — большая, и слова говорит большие), на Лошака, который увяз под столом под тяжестью угластой каменной головы, и в тот момент, как только сел на стул, в молчании своем и усталости, опять больно почувствовал, как и по дороге сюда, что жизнь его получила другой оборот, и с этого дня она будет идти иными путями. Все было ясно и просто: все события имели свое обычное свершение. И где-то близко внутри мутно и тошно клубилась тоска.

... Жена Даша, которая прощла через него, чужая, и ударила по сердцу... пустой угол... пустой завод в пыльной паутипе... Родная армия...

— Да, друзья... житье у вас — хуже киселя... Как же вы, к чертовой матери, довели до такой гнусной свалки?.. Мы там дрались, гибли, проливали кровь... А что же вы делали здесь, братва?.. Какую борьбу проводили здесь?.. Ну, какой же красавец завод, эх!.. Что это вы здесь?.. Обалдели, братва?.. Что же вы понаделали?..

Что-то хотел сказать Громада, но не осилил больших слов. Что-то хотели вперевой крикнуть рабочие, но крики застряли

во вздохах. И только сзади, невидимый и сильный от пыли рабочий поперхнулся от смеха.

— Ежели бы мы, дескать, в заводе дурака валяли, будь ты, неладна, мы все бы передохли, как мухи... Чорт ли в нем, в этом заводе?..

Глеб ляскнул челюстями и ударил кулаком по коленке.

— Ну, и сдохли бы!.. Вы должны были сдохнуть, а завод держать на-чеку... Пушай сдохли бы, но завод был бы живой...

— Х-хо, нам так много заливали всякие заливалы, окромя тебя!.. Ты лучше заливай заливалом, как нас забыли, ядри твою мать, не в час...

Из нутра горба Лошак зарычал басом:

— Прибыл к заводу — это хорошо, Глеб. Пойдешь на работу. Надо ставить дело на попа. Это — хорошо.

Громада смотрел на Глеба горящими восторженными глазами и все порывался сказать какие-то большие, непосильные для него слова.

Глеб снял шлем с головы и положил его на стол перед Лошаком.

— Пришел домой, жена прошагала мимо. Теперь и свою бабу не узнаешь с первого разу. В гнезде — мокрицы, а хлеба нет. Черниль карточку на прокорм, друг Лошак.

И как только сказал это Глеб, рабочие сорвали смехом молчание и скоп.

— Вво!.. Заливай, заливало, а брюхо кушать хотит... Это — по-нашему... С этого бы и начинал... Айда, братва!.. Пришел, брат, к нам — ползи под один колпак... А брюхо кушать хотит...

— Товарищи, как есть товарищ Чумалов наш общий рабочий, но он такой же наш... Ведь он страдал в боях и так и дале...

— А мы же о чем?.. Брюхо кушать хотит... Айда до дому, братва...

Глеб встал и опять бросил шлем на голову.

— Братва!..

Гаркнул не по этой коробке — всю грудью, как, бывало, в армии. Рабочие остановились и опять сбились в кучу, прибитые к месту.

— Братва! Пушай... верно: брюхо кушать хотит... Воевал там — буду воевать и здесь. Будем бить на завод, братва. Умру,

---

лопну, с ума сойду, а завод двинем... сожгу себя, а завод все-таки задымит, зашурует всеми машинами... Вот вам моя голова!..

Рабочие растерянно и изумленно щурились и топтались на месте.

— Ставь дело на попа, Глеб. Так я высказую... Верно!.. Гвоздуй, друг!.. А мой горбыль выдюжит... Верно!..

Громада смеялся, бегал около стола и горел в лихорадке.

Глеб вздрогнул и поперхнулся судорогой в горле. За окном, по бетонной дорожке, тяжело опираясь на палку, шел сутулый, по-барски важный старик. Нет, то — не старик: то высокий человек с серебряной бородкой. Он — инженер Клейст... Как и тогда, он опять стал на пути перед Глебом.

## II

# КРАСНАЯ ПОВЯЗКА

### 1

#### Потухший очаг

Глеб отдыхал не дома: этот заброшенный угол с пыльным окном (даже мухи не бились о стекла), с невытым полом и брошенным в кучу тряпьем, был чужим, нежилым, душным: давили стены, и негде было повернуться. Два взмаха ботами — стена, вправо — стена, влево — стена. По вечерам стены сжимались плотнее, и воздух густел до осязаемости. А главное — мыши и цвель. И нет жены, Даши.

Глеб отдыхал на потухшем заводе, на каменоломнях, заросших кустарником и бурьяном. Бродил, сидел, думал...

Ночью приходил домой и не находил Даши — не ждала она его на пороге квартиры, как это было три года назад, когда он возвращался из цеха. Тогда было уютно и ласково в комнатке. На окне дымилась кисейная занавеска, и цветы в плошках, на подоконнике, пыхали огоньками навстречу ему еще издали. Глянцем зеркалился крашесный пол от электричества, и белая кровать и серебряная скатерть искрились и пересыпались инеем. И самовар, и певучий звон посуды... Здесь вся по частям жила его Даша — пела, вздыхала, смеялась, говорила о завтрашнем дне, играла с живой куколкой — дочкой Нюркой. А брови уже и тогда завязывались на мгновение над переносьем, и через любовь резался в бровях упрямый характер.

Давно. Было. И былое стало сном, который снился недавно.

И было больно оттого, что это было. И было тошно оттого, что гнездо заброшено и замызгано плесенью.

Где мыши сорят свой помёт, там нельзя отдыхать. Где потух уютный очаг, там гуляют и смердят мокрицы.

Даша пришла после полуночи — не боится ходить по ночам в пустых закоулках завода.

Тускло и чуждо горел копотный язычок пламени в лампе, в пузыре с грязными отпечатками пальцев, а матовая розетка льдистым цветком появилась в воздухе на почерневшем проводе.

Глеб лежал на кровати. Сквозь ресницы дремотно смотрел на Дашу.

Нет, не та Даша, не прежняя Даша — та Даша умерла. Эта — иная, с жухлым, загарным лицом, с упрямым твердым подбородком. От красной повязки голова — большая и огнистая.

Она раздевалась у стола — волосы стриженные, — жевала крошку пайкового хлеба и не смотрела на него, а он видел ее лицо, утомленное, но напряженно-суровое, будто зубы сцепила. Стеснял ли он ее, или не хотела нарушать его отдыха, или не чувствовала той перемены, которая совершилась в ее жизни с его приездом — чужой и далекой была его Даша.

Решил взять ее на испытку.

— Поясни ты мне, Даша, такую задачу. Был я в армии — раз. Был в переделках, не имел гнезда, ни своего часа — это два. А вот пришел домой, в свое жилье — нет твоего духу. Жду и не сплю по ночам, как сукин сын. Ведь мы не видались с тобою три года.

Она не испугалась его голоса — осталась такою же, как пришла. И когда сказала — не взглянула на него.

— Да, три года, Глеб.

— Ага, и ты вот мне не обрадовалась. Что за оказия?.. А помнишь ту ночь, как мы с тобой расставались? Я был избитый и не успел еще очухаться. Помнишь — ты за мной ухаживала на чердаке, как за дитем? А расставались — плакала. Почему ты теперь так зашилась?

— Правда, зашилась, Глеб. Меня уже нет дома — не таковская стала.

— Ну, вот... я об этом и говорю...

— А тот наш дом, Глеб, я забыла. Да мне и не жалко. Я же тогда была дурочка.



— Ого! А где же тогда будет жилое гнездо? Неужли эта крысиная яма?

Даша пристально посмотрела на него и накрыла глаза бровями. Смяла пальцами красную шлычку и кулаками оперлась на стол. (Уже не было скатерти на столе: он был черный и сальный от грязи).

— Ты хочешь, Глеб, чтобы на оконцах кучерявились цветочки, а кровать надувалась пуховыми подушками? Нет, Глеб: зиму я живу в нетопленной каморе (топливный у нас кризис, знай), а обедаю в столовой нарпита. Ты видишь, я — свободная советская гражданка.

И не смотрела на него, как раньше, когда была похожа на невесту. Вот она, жилистая, неломкая, знающая себе цену.

Глеб сел на кровать, и в глазах его, видевших смерть и кровь, метнулась тревога. Чортова баба, с ней надо держать себя как-то по-другому.

— А Нюрка? Может быть, ты и дочку выбросила свиньям вместе с цветочками? Хорошее дело...

— Оф, какой ты глупый, Глеб!..

И отвернулась. Отошла от стола, будто забыла о Глебе.

Во тьме, за окнами, в ущелье, одиноко, по-ребячьи вздыхала ночная пичуга: хли-хлип... и под полом играли землю и щебнем голодные крысы.

— Так. Пускай Нюрка — в детдоме. А вот завтра я пойду и приволоку ее домой.

— Хорошо, Глеб. Я ничего не имею против: ты — отец. А так как мне нету досуга, ты будешь сидеть и питать ее с заботой? Ведь так?

— А разве для нее у тебя не будет ласки?

— А ну, Глеб, поделись со мною постелью: у меня ничего нет под голову.

— Ну, хорошо! Если так — открываем прения. Беру слово!..

— С какого неба свалился ты, Глеб? Никакого нет прения и никакого слова. Заткнись!

Глеб встал с кровати и отошел к двери. И опять почувствовал, что ему — тесно: душили стены, и пол зыбился и трещал под ботами.

Следил за Дашей. Она ловко и быстро требушила постель и громоздила на руку спальное барахло. Не глядя на него, устроила в углу плоское недомашнее гнездо. И когда сбросила юбку, метнула на него усмешку — так показалось Глебу.

Нужно было решить вопрос, — любила ли она его, как прежде, по-бабьи, или эта любовь умерла и вместе с любовью ушла в прошлое и она сама, Даша?

И нельзя было понять, чего в ней было больше: женской игры или враждебной опаски? Загадка: звала ли она его, как самца, или рвала между ним и собой последние нити?

Баба бросила печку, ушла из гнезда, и теплый запах бабьего тела выдохся вместе с уютом и кухней. Кого она грела и ласкала своим телом за эти три года? Не может баба, здоровая и сильная костью, жить пустоцветом, сплетаясь в днях и ночах в работе с мужчинами. Не ему она берегла свою женскую и женину любовную тоску: она расточительно растратила ее в случайных порывах. Не оттого ли ее суровая отчужденность и холодная кровь? Подумал это Глеб, и душа больно захлебнулась и раскрылась в глазах животной злобой.

— Да, гражданка, было дело... Расставались — плакали, встретились — слова сказать не о чем. Три года я думал: жена, которая здесь... Дашка... Ждет и — все такое... Приехал — проклятое место. И будто женатый я был только во сне. Были мужья, да только — не я. Разве это не правда?

Даша повернулась к нему в изумлении, и опять в глазах ее блеснули холодные капли.

— А разве там у тебя не было баб без меня? Признайся, Глеб. Ведь я еще не знаю: здоровый ли ты, или пришел с гнилою кровью. Признайся...

И не гасила усмешки, и усмешка отражалась от стены опять на лицо, и лицо огнилось мутным накалом между черными пятнами во впадинах глаз. Сказала сквозь зубы, небрежно, как о вещах надоедлых. И на эти Дашины слова напоролся Глеб с размаху, рыхло, без отдачи. То, что хранилось им в ночных тайнах, знала Даша: знала она его больше, чем он ее знал. И оттого, что она, не коснувшись его, видела его изнутри и силу его выжимала, как тряпку, — он, вояка, ослабел и обидно поскользнулся.

Оправился и раздавил сердце. Сам усмехнулся и проглотил вместе со слюною кадык.

— Ну, пушай, скажем, признаюсь: были проказы... На фронте мужик смерть носит на кукушках... У бабы же — иная роль: у жены — иная судьба и забота.

Даша разделась, но не легла — прислонилась к стене, не стыдилась. Под рубашкой упруго круглились и дышали груди и живот. Искося, знающим взглядом, остро и больно скользнула по фигуре Глеба. Ответила опять небрежно, сквозь зубы:

— Милое дело: у бабы — иная забота, лихая судьба — быть рабой и не знать своей воли: быть не в корню, а в пристяжке. По какой это ты азбуке коммунизма учился, товарищ Глеб?

И как только сказала это Даша, сразу ударила в голову кровь: догадки его — не пустая игра. Она, его Даша, жена... Кто-то опьянял ею свои ночи, и она кровь свою опьяняла пьяною кровью другого...

Тяжелым, натушливым шагом он подошел к Даше. Темным взглядом — взглядом животного — в упор посмотрел в ее лицо, вспухшее от скуластой усмешки.

— Так, значит, слово — не слово, а правда? да?

И от сердца судорогой рвала мускулы горячая дрожь.

Она, жена его, Даша...

За окном — душная тишина в звездах, сверчках и ночных колокольчиках. Там, за заводом, у пирсов — море в фосфорическом дыме. Оно поет электрическим зумом, и будто не море это рокочет низкой струной, а воздух и горы, и трубы завода.

— Ну, говори, с кем ты путала петли? Кого обнимала по ночам этими руками?

— О твоих бабах на фронте я тебя не спрашиваю, Глеб. Какое тебе дело до моих зазноб? Отойди и очухайся.

— Так имей же в виду, Дашка: я добьюсь... Я сумею докопаться до твоих тайных дел... Запомни!

Она отошла от стены и сверкнула белками.

— Убери свои очи, Глеб. Я умею играть бровями не хуже тебя. Уходи на место и не показывай своей силы.

Враги. Она — с угольком в глазах; он — мосластый, бравый, со сжатыми челюстями до провала щек.

Даша ли глядит на него злой непобеденной самкой, или он не почувал в ней раньше настоящей ее души, которая узналась за эти три года и стала упрямой и непокорной?

Где она, Даша, впитала в себя эту силу?

Не на войне, не с мешком на горбу, не в бабьих заботах: проснулась и струной напряглась эта сила от артельного духа, от более огненных лет, от суровых испытаний под тяжестью непосильной бабьей свободы. Смяла она его дерзостью воли, и он, военком, смутился и растерялся.

Само случилось: сгреб ее и сжал до хруста в позвонках.

— Приси: живота или смерти?

— Брось руки, Глеб. Меня не возьмешь руками. Ты же — человек, Глеб?

Ее мускулы змеями извивались под руками Глеба, и вся она была в отчаянном порыве к прыжку.

— Ну, говори же, где растрясла свою любовь до мужа? Ну, говори...

— Последком требую, Глеб: брось, а то буду биться... биться буду, Глеб!..

Взбаламученный дурманом крови, он понес ее на кровать и упал вместе с нею — рвал на ней рубашку и пауком опутывал ускользящее тело. Она извивалась, билась без крика, с напряженным оскалом зубов, и голое ее тело — изломанное, скрюченное — бесстыдно рвалось от натуги. Упругим ударом ног она сбросила его на пол и кошкой прыгнула к двери. И уж опять не глядела на него, тяжело дышала и поправляла рубаху.

— Не лезь часом, Глеб, — будет худо. Я научилась лихо стоять за себя. Ложись и очухайся. Такой разговор со мной не годится, Глеб. Ты — вояка, а не завоевал мозгов...

Оглушенный, чувствовал Глеб, как рвались в душе его нарывы, и боль души была сильнее обиды.

Ее нельзя бить. Бить нужно на войне, а дома — иная забота. Где в ней скрывается враг, такой сильный и неуловимый?

Сидел на полу, опираясь спиной на кровать, и, укрощенный, скрипел зубами от занозы в мозгу.

Даша дрогнула бровями, усмехнулась и отошла в угол, к своей постельке.

— Туши огонь, Глеб, и ложись: тебе надо отдышаться — тебя мутит дурь от переутомления.

— Даша, голубка, а где же наша с тобою любовь? Или ты очертелла от дел и перестала быть бабой?

— Ложись и успокойся, Глеб. Я затомилась в работе. Завтра я опять командируюсь в деревню для женской организации, а кругом — бандиты. Разве мы застрахованы от смерти? Не занимайся глупостями, Глеб.

Подошла к столу, потушила лампу. Легла, зашумела одежкой и замолкла, и Глеб не слышал ее дыхания.

Сидел во тьме и ждал.

Боль и обида. Ожоги в душе. Родная и далекая Даша.

Ждал ее голоса и сердца. Ждал — подойдет к нему Даша и мягко, как раньше, прижмет его голову к груди и зашепчет, как мать, как подруга.

Лежит чужая, с замкнутою душою. И он один с тоской и болью.

Тихо подошел к ней, сел рядом и положил руку на ее плечо.

— Даша, ну, поласкай меня, как бывало... Ведь я был в огне и крови и давно не видал ласки...

И вот взяла она его руки и приложила к груди.

— Какой ты глупый, Глеб... такой сильный, а глупый... Не надо... Сейчас не надо, Глеб: у меня нет силы для ласки. Успокойся... Придет час и для меня и для тебя... У меня — каменное сердце для ласки, а ты горячий, и до тебя у меня еще нет языка. Иди, спи...

Смотрел, одинокий, в синее окно. Небо звенело звездами, и где-то, должно быть, в горах — раскатистым эхом рокотал из глубоких земных недр очень далекий гром. Это пел лес в ущельях от ночного норд-оста.

Встал, взмахнул кулаком и грузно упал на кровать.

— Так я же узнаю... не я буду... Берегись!.. Я еще не сдавался ни разу до этого дня. Помни.

Даша молчала, холодная, близкая и чужая.

## 2

## Детдом

Утром сквозь сон почувствовал Глеб: комната—не комната, а пустая дыра. От окна к двери и от двери к окну вьется, клубится, машет полотнами воздух, насыщенный весной. Открыл глаза—правда: в окно полыхало солнце. Даша стояла у стола и закручивала на голове огненную повязку.

Взглядывала на него и усмехалась янтарными вспышками глаз.

— У нас так спать не годится, Глеб. Солнце гремит барабаном во всю. Я уже наработала доклад в женотдел о детских яслях и смету на белье и мебель. Нарботала, а взять негде—такие мы голоштаные. Наш Партком надо бить толкачом на ущемление буржуазии. С этого дня буду грохать всеми четырьмя копытами... Вспомни, ты еще не видал Нюрки. Хочешь, пойдем вместе в детдом. Он здесь, рядом.

— Правильно: шагаем к Нюрке... Готов!.. А ну-ка, Дашок, шагни ко мне малость.

Даша опять усмехнулась, подошла с вопросом в утренних глазах.

— Ну, шагнула... а дальше?

— Дай руку. Вот. Больше не надо—бери. Прежняя баба, и новая Дашка. А может, я и сам—не слесарь? и такой же Глеб, как новый хлеб? Ну, хорошо... будем учиться. Теперь и солнце работает не тем боком.

— Да, Глеб: и солнце и хлеб стали другими. Я жду—торопись.

А до детского дома Даша шла впереди, по дорожке в кустах туй и кизила, пряталась в них и опять всдыхивала красной повязкой. И Глеб чуял, что она нарочно от него убегала—дразнила? или боялась его?

Даша, в которой таится загадка. Баба есть баба, а бабья душа—черепаха.

Детский дом имени тов. Крупской—вон, в ущелье, в охапках садовых деревьев. Пластается красная крыша в трубах. Стены—из дикого камня грубой крепкой кладки, с потоками цемента. Окна—большие, как двери—открыты, и из темных пустот—

птичий разноголосый гам. И гам, и щебет — из надворных зеленых зарослей. Два этажа, и этажи — в балконах, в массивных лестницах, по ребру скалы, с верандами и аттическими вазами. А вон, на веранде, спелыми дыньками зреют на солнце головенки ребят, а лица — издали видно — костяшки. Кто они — мальчики? девочки? — не поймешь: все в серых длинных рубахах. И няни — тоже серые, в белых косычках — млеют на солнце.

А вправо, за корпусами, над корпусами, небесной синью кипит в ослепительных искрах море. Черным жучком-плавундом бежит от пирсов и каботажей портовый катер, и между ним и каботажными натягиваются нити треугольника. И город, и горные дали — четки и близки. Огненный воздух звенит золотыми струнами — зумм... Это пчелы летают, как звезды, и погрешками играют мухи.

И не дуmano, а сами распластались внутри Глеба крылья широким размахом. Вот оно — и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты — вся Россия — мы... Все эти громады — и горы, и завод, и дали — поют в недрах своих о великом труде... Разве руки наши не дрожат от предчувствий упорной богатырской работы? разве сердце не рвется от напора крови? Это — рабочая Россия, это — мы, это — новая планета, о которой мечтало в веках человечество... Это — начало. Это — первый вздох перед первым ударом. Есть. Будет. Грохочет громами...

Даша стояла у лестницы в вазах — поджидала его и дышала широкими взмахами груди.

— Какой воздух хороший, Глеб, — будто море... Нюрка живет на втором этаже.

И опять пошла на несколько ступеней впереди. И шла как домой, и была она здесь своя, как дома.

С веранды увидел Глеб еще детей — внизу, в кустарниках, в чаще чахлых деревьев, дымящихся весной. Бродили, как козы на заводе, дрались, плакали... Кучками барахтались в земле — рылись торопливо, жадно, по-воровски, с оглядкой. Копают, копают — и все сразу рвут друг у друга добычу. Тот, кто сильнее и половчее, кувырнется от кучки в сторону и алчно грызет, жует и захлебывается слюной, а ручки работают около рта. А вон там, у забора, детишки копошатся в навозе.

Глеб сжал челюсти и ударил кулаком по перилам.

— Они все, эти щенки, передохнут с голоду, Дашка. Расстрелять вас всех надо за вашу работу...

Даша удивленно метнула на него бровями и взглянула вниз. Усмехнулась.

— А, земляные работы?.. Это — не так страшно: бывает хуже. Коли бы не было глаза — все передохли бы, как мухи. Пооткрывали дома, а кормиться нечем. А персонал, дай волю, перегрыз бы детям горло. Хотя некие есть чистое золото... нашей выучки...

— А Нюрка — тоже так?.. И наша Нюрка — так?

Даша спокойно встретила взгляд и бледные скулы Глеба.

— А чем же Нюрка лучше других? Бывала и с Нюркой лихая беда. Коли бы не женщины — детей бы съели вши и зараза, а голодуха уложила бы в лоск.

— Ты скажешь, что бабским горлодером и таким манером ты и Нюрку спасла?

— Да, товарищ Глеб, вот именно: таким манером — не иначе...

Когда шли с горы, дети были на веранде, а когда поднялись на веранду — и дети, и няни пропали. Должно быть, побежали на передачу вестей о гостях.

В зале — солнце, и воздух — густой, горячий, и пахнет сном. Топчаны — в два ряда, в белых и розовых одеялках в прорехах и заплатках. И дети — то в серых балахончиках, то просто — оборвашки. Блеклые лица, и глаза в синих провалах. Няни проходят по одиночке по залу из двери в дверь. На стенах — мазюльки: клубные работы детей.

Няни проходят и почтительно останавливаются.

— Здравствуйте, товарищ Чумалова! Заведующая сейчас придет.

Даша не замкнута в себя: она здесь — хозяйка.

— Нюрка, я — здесь!..

Девочка в балахончике (маленькая — меньше всех) уже рошит детей и с визгом и смехом бежит навстречу. И дети — в свалке и тоже визжат и кувыркаются с нею босьянками, а глазенки — как зайчьи.

— Тетя Даша пришла!.. Тетя Даша пришла!..

Нюрка. Вот она, чертенок, какая — совсем не узнать: чужая, но что-то узнается родное.



Она сразлету вростает в мать и бьется в нее, как птица, и кричит, и смеется, и пляшет.

— Мама, мама!.. Моя мама!..

Даша тоже смеется, подхватывает ее на руки, кружится целует и тоже кричит, как Нюрка.

— Нюрочка моя!.. девочка моя!..

Опять прежняя Даша — та, которая была дома, когда с Нюркой встречала его вечером приходящим из деха. И нежность, и ласка — прежние, и со слезою глаза, и певучий голос с нервной дрожью.

— А вот — твой папа, Нюрочка... вот он... Помнишь своего папу?..

И Нюрка в испуге взмахнула глазами, повяла — смотрела на Глеба в нелюдимом любопытстве.

Он засмеялся, протянул руку и почувствовал, как горло свернулось в веревочку.

— Ну, поцелуй меня, Нюрочка. Какая же ты — большая!.. Как мама, большая...

А она отшатнулась назад и опять вросла в мать в пристальном взгляде.

— Это — папа, Нюрочка.

— Нет, это — не папа. Это — красноармеец.

— Но я же — папа, и я же — красноармеец.

— Нет, этот папа — не папа. Папа похож на папу, а не на дядю.

У Даши глаза смеются слезой. У Глеба смех рвет веревочку в горле.

— Ну, пускай для первого разу я — не папа. А ты все же — моя дочка. Будем товарищами: я принесу тебе в другой раз сахару. Из горы выкопаю, а принесу. Но мама чем лучше меня? Ты — тут, а она — там.

— Мама — тут: и днем — тут, и не днем — тут. А папы нет. Я не знаю, где папа, а папа бьется с буржуями...

— Овва, вот откатала знаменито!.. Ну, дай же я тебя поцелую...

Дети голенасто трепыхались в хороводе, блекло плялились на Глеба, смеялись и жадно ждали голоса и руки Даши. Девочки, стриженные под мальчат, впереводку тянулись к Даше ручонками с кудрявыми пучками фиалок, и каждая непременно хотела первой вложить цветочки в ее руку.

— Тетя Даша!.. тетя Даша!..

Где-то далеко, в комнатах, барабанили на пианино, и разногласно кричали до надрыва Интернационал детей.

Вставайте, дети обновленья,  
Всех стран свободные юнды...

Даша смеялась, трепала ребят по головкам, и видно было, что они привыкли к этой ласке и ждали ее так же, как обычной порции еды.

— Ну, детишки, что вы кушали, что вы пили, у кого — брюхо полное, у кого — пустыр?.. говорите!..

И они кричали ей в ответ общим горлодером. Чесали головенки и под мышками. А вон один чумазый дитенок шумрыгает мокрым носом, глотает сопельки и с выпученными глазенками кряхтит и царапает под рубашкой грязную грудь. Глеб подошел к нему и поднял рубашку. Кровавые ссадины. Струпья. Мальчишка заорал и в испуге убежал за топчаны, в угол. Из-за топчанов видна была одна голова и выпученные глаза.

— А-та-та-та!.. Вот лютый герой, шкет, — разом кроет на баррикады!..

И сам, и Даша, и дети раскололись смехом. А солнце тоже играло смехом в открытых окнах — больших, как двери.

С Нюркой за руку пошла Даша вперед и ни разу не взглянула на Глеба. И от этого Глебу стало больно: и Даша, и Нюрка — одно, а он — чужой им и где-то далеко. Даша с Нюркой рука в руку — мать, и мать здесь она больше, чем дома. А он и здесь, и дома — одинок и бездетен.

Да, надо и тут завоевывать жизнь.

Прошли по всем этажам: и в столовой были, где — посуда и дети, и в кухне были, где — пар и запах шрапнели и тоже дети, и в клубе, где — пусто, а стены в плесени и мазюльках. Это здесь, сбитые в кучу около стриженной девицы с бурым родимым пятном во всю щеку, дети разногласно и оглушительно пели Интернационал.

Вставайте, дети обновленья..  
Вы — мира светлого творцы..

Домаха и Лизавета — соседки — тоже здесь. И в них Глеб увидел что-то новое, не виданное никогда. Обе тоже как дома. Домаха была на кухне и помогала стряпать. Распаренная, с засученными рукавами, хлопотала, как у себя в каморе. А встретила Дашу поцелуями.

— Ну, вот пришла наша атаманша. Ты проberi там этот паршивый наробраз: надо дело делать, а не сморкаться в платочки. А продком — особо лбом об стенку: где это видано, чтобы детей кормить червями и мышиним дерьмом?.. Что, опять благоверный навязался? Гони его в шею — на кой он хрен тебе сдался?.. Мой не пришел, и ладно: чорт с ним! Их, кобелей, можно нахватать без счета, по выбору — на! Ну, ну, не дрочи глядесвы — не из робких... не пужай своим колпаком... А в продком я сама пойду с залетом в наробраз и ботинкой буду бить им хари...

Даша похлопала ее по широким лопаткам и засмеялась.

— Ну, загорланила гусыня... Лихая же ты баба, Домаха, уф!..

— Морды всем надо колошматить... Все они, черти, глядят только в свою утробу. Я им всем там штаны спущу.

В горле у Глеба играл смех.

— Вот проклятая баба!.. кроет почем зря, без передышки...

А Лизавету нашли в кладовой, у завхоза. И завхоз, и Лизавета — обе высокие, гордые; обе — опрятно одетые, похожие на сестер милосердия. Только завхоз — черная, с армянскими усами, а Лизавета — белобрысая, в подушках (голод, разруха, а вся — налигая). Отвешивали продукты, проверяли, записывали.

И с Дашей встретилась Лизавета гордо, а улыбнулась одной вспышкой в глазах.

— Пройди, Даша, к кастелянше. После стирки белье — тряпки. Дети — без смены. Завтра поведем демонстрацией показывать нагишатников. Кого надо бить по башкам? Дети ходят в горы за топкой, а падалку всю подобрали рабочие — не на чем разварить шрапнель. Кого бить по башкам?

Даша записывала слова Домахи и Лизаветы и морщинками отсекала от бровей переносье.

— Ты, товарищ Лизавета, командирешься обследовать все дома, и потом — в женотдел. Рыть землю надо — верно. И бить надо — тоже правда.

А Лизавета только один раз толкнула взглядом Глеба, а потом больше его не замечала.

И опять — женщины в белых косынках и без косынок, и все почтительно и льстиво улыбались Даше.

А на Глеба сторожно и боязливо косились. Кто он? Может быть, один из надоедлых ревизоров, к которому надо присмотреться и узнать слабые стороны.

Глеб все хотел взять Нюрку за ручку и все ворковал ей:

— Нюрочка, ну, дай же ручку... Маме ручку дала, а почему мне нет?..

А она извивалась и прятала руки. И когда он нечаянно поцеловал ее и вскинул на руки, она вдруг стала покорной и впервые с его рук пристально и вдумчиво поглядела ему в лицо.

— Ваша Нюрочка — славная девочка...

Это сказала заведующая, юркая мышка, пестренькая, в искорках, ускользающая, с золотыми зубами.

Даша смотрела мимо нее, на стены и окна, и лицо ее опять стало сурово и жестко.

— Нюрочка Нюрочкой... Здесь все — одинаки. И все должны быть славные...

— Да, конечно, конечно!.. Мы делаем все для пролетарских детей... Теперь пролетарские дети должны быть центром нашего внимания. Советская власть так много заботится...

У Глеба заскрежетало в салазках.

Брешет. Надо обследовать, какой здесь элемент.

А потом — жалобы, жалобы, жалобы...

И на жалобы Даша била словами в лицо заведующей (такого голоса раньше не слышал Глеб):

— Не плачьте, пожалуйста, товарищ завдомом!.. Вы покажите дело, а не плачьте. Плакать, это — еще не суть важное...

— Ну, конечно, конечно же, товарищ Чумалова!.. С вами так хорошо и весело работать!..

А у Глеба скрежетало в салазках.

Даша ходила по всем закоулкам, нюхала, задавала вопросы. Не утерпела — толкнулась в комнаты персонала.

— Вот та-ак!.. Почему же стулья, кресла, диваны в этих каморах? Тут и цветочки, и картины, и статуи.. и всякое

такое... Я же говорила: нельзя отнимать у детей... Это—безобразия!.. Разве им плохо подчас поваляться на диванах и на коврах, и картины они любят... так нельзя!..

— Видите ли, товарищ Чумалова... вы—правы, конечно... Но воспитательская практика... педология... Это—вредно: развивает лень—всякая пыль и зараза...

В глазах заведующей дрожали иголки, а Даша, не глядя на нее, говорила тем же голосом, с красными каплями на скулах:

— А наплевать мне на вашу практику! Наши дети жили в ямах по-свински... Дайте им картины, и свету, и мягкую мебель... Все надо дать им, что можем... Обставить, украсить клуб... Им надо есть, играть и хорошо заниматься природой. Нам—ничего, им—все: зарежь, души себя, а дай... А чтоб не ленился персонал, надо загнать их в драные чуланы... Вы мне, пожалуйста, не заливайте глаз, товарищ завдомом: я крепко понимаю кроме вашей практики и кое-что другое...

А юркая, пестренькая мышка сверкала золотыми зубами и смеялась в восторге (а в глазах играли острые иголки).

— Ну, кто же в этом сомневается, товарищ Чумалова?.. Вы—редкая женщина по чуткости и внимательности. При вашем руководстве все будет хорошо, все прекрасно...

И когда уходили, опять Даша ласкалась к Нюрке, и опять к ней липли детишки с птичьим разноголосым криком.

И опять Нюрка долго, вдумчиво смотрела на Глеба.

— Домой хочешь, Нюрочка? Там будешь играть, как раньше... И папа, и мама...

— А какое дома? Моя постелька вон там. Мы сейчас кушали молоко и будем ходить под музыку.

И впервые, робко и мягко обняла Глеба, а в глазенках (мамкины глазенки) тлелась искорка нерешенного вопроса.

И от дома до шоссе Даша молчала, а лицо ее дымилось неостывшей лаской. На шоссе сказала будто не Глебу, а себе:

— Нам, женотделу, много надо работать. Не детей обрабатывать... оф, обрабатывать наших проклятых баб... Коли бы не глаза и руки—все бы разграбили до последней крошки... Сами... по-рабски!.. оф!.. Везде—враги... ой, как много врагов!.. Тем, золотозубым, уж так положено... а свои... свои, Глеб!.. по-рабски!.. Как ты думаешь насчет ущемленья, Глеб?..

### III

## ПАРТКОМ

### 1

#### Товарищ Жук, который кроет

Дворец Труда громоздился кирпичной казармой в два этажа на набережной, у длинной ажурной эстакады, убегающей черными сваями в бухту. Бетонная стена ломаной лентой улетала в обе стороны от фасада и отрезала набережную от железнодорожной территории. В проломы и разрывы стены видно было, как струнно вытягивались, переплетаясь, и ветвились железные жилы ржавых и накатанных рельс. Сарайно пластались лабазы вплоть до вокзала, и далеко, на упорах предгорья, древними башнями сурово глядели омшелые вышки элеватора. А он, огненный, под горами, был сам гора, как гигантский неприступный храм.

По мостовой, вдоль стены, взрывно грохотали телеги, и серые массивы пристаней с циклопическими кольцами для причала океанских кораблей, с звенящим блеском рельсовых путей в мусоре вагонного лома, пустынными мысами и молами резали бухту на каменные кварталы. А в дали, в дыму весенней мглы, гавань играет радужными пленками, и вспыхивают чайками рыбацьи белопарусники. Бычьими спинами жирно переваливаются дельфины, и кефаль прыщет серебром на солнце.

Тоскующие пристани, голодное море... В каких водах и странах блуждают плененные корабли?..

У Дворца Труда, перед порталом с высокой пирамидой ступеней — цветочный сад и каштаны. Но нет цветов, а каштаны — уроды, и ограда разрушена на топку.

Вместо цветов — семечки, а тени под деревьями — бурые сломанные грибы. Но хорошо видно, как высоко над крышей, на красных взмахах флага, зажигаются и гаснут белые ромашки: РСФСР.

Резались крестом два коридора: один — прямо, в зал заседаний (красные знамена кровавились в открытые двери), другой — направо и налево темными дырами. Направо был Партком, налево — Совпроф.

От банной мути табачный воздух был грязный. И стены грязные, в помойных брызгах и пятнах, с расковыренной штукатуркой. Плакаты. Люди в черной и желтой коже, с портфелями, и люди — просто люди, лохмотного вида, в ботах и босиком (хотя с гор только что спускался март, а тепло). Далеко и близко, в коридорах, в комнатах — поющие голоса, топот бот, шлепанье босых ног, и щелканье винтовочных затворов в штабе отряда особого назначения.

Глеб пошел по коридору направо.

У стеклянных дверей Парткома стояли два человека. Оба четко резались на матовых квадратах плоскими профилями. Один — лысый, с турецким носом. Верхняя губа — коротенькая, и рот полуоткрыт в улыбке. Другой — курносый. Маленький лоб с переломом посередине и толстый подбородок кулаком.

— Стыд и страх, товарищи дорогие!.. Стыд и страх, и позор!..

Это говорил курносый, и не говорил, а будто лаял.

— Чиновничество заело... бюрократизм... Не успели еще трупы товарищей похоронить... кровь еще не просохла, да!.. а мы — в кабинеты да кресла... да ноги по-генеральски... галифе... да формалистика, да бумаги за номерами... да без доклада не входи... Скоро до вашего превосходительства доедем... Были товарищи... Где они? Чую, опять бедный рабочий класс — в страде и гнете...

— Вы ошибаетесь, товарищ Жук. Это — не так. Ваша точка зрения в корне неправильна. Так нельзя судить. Не это — важно... Врагов много, товарищ Жук... Нужен беспощадный террор, иначе Республика будет между жизнью и смертью... Вот о чем нужно думать. Я вас понимаю, товарищ Жук, но у советской власти должен быть крепкий, четкий, выверенный

аппарат... пусть бюрократический аппарат... но он должен работать наверняка.

— И ты — туда же.. Все — туда же... А куда же рабочий класс?.. Эх, товарищ дорогой, Сережа!.. нутро болит... Слова сказать не с кем...

— Теперь только одно, товарищ Жук: работа среди масс... Работа, работа и работа... Массы должны немедленно насытить весь рабочий аппарат Республики вплоть до самой верхушки. Крылатая фраза товарища Ленина о кухарке должна быть твердым бытовым фактом... В этом — все... И вы ошибаетесь... вы ломитесь в открытую дверь...

— Эх, ты, Сережа!.. преданный, называется, коммунист, а слепой... Сердца надо побольше рабочему классу, а насчет врагов — чорт с ними: крутили и будем крутить... А вот как глядеть на партработников и рабочих? Попали на высокие места и из друзей-товарищей стали сукины сыны... Вот в чем горе, Сережа... вот где враги-то, товарищ дорогой!..

И в этой лающей жалобе и изломанном профиле узнал Глеб своего давнишнего приятеля, токаря Жука с завода «Судо-сталь». Не изменился. И сейчас кричит и жалуется, как три года назад.

Подошел к нему и сжал плечо.

— Здорово, друг!.. Кричишь? обличаешь?.. Когда перестанешь обличать? Командовать надо и ворочать горбом, а ты скулишь, курносый...

В изумлении Жук выпучил глаза, и лицо его ахнуло и раскололось на черепочки. Со свистом вдохнул и выдохнул воздух.

— Товарищ дорогой!.. Глеб!.. шатия!.. вояка!.. Мать ты моя родная!..

Обнял, обдал жаром и банным потом.

— Да как же это ты, а?.. Друг!.. Да мы сейчас с тобой всех покроем... Всех на места поставим... Какая тебя планета, а?.. Сережа, вот тебе — мой самый верный друг... из страды и крови...

— Не бей в пустой барабан, Жук... Нам жалоба — не победа.

— Вво, видал, Сережа? Шкуру сдерет, шатия!.. Ведь вот вам кого надо-то, Сережа... Перевернем тридцать три горы...



Глеб и Сергей потрогались руками, сплелись пальцами на миг, осторожно, по-чужому. И в пальцах Сергея почувствовал Глеб мягкость и девичью робость.

Интеллигент... ладошки-ложечки... деликатки...

Поглядел в лицо. Кудри — рыжие, под янтарь; глаза — рыжие, с улыбкой, и улыбка в приподнятых углах рта. Улыбка будто насмешливая, а неувимая в ней ласковость и вопрос.

— Я уже знаю вас, товарищ Чумалов. Видел в прошлый раз, когда вы были на регистрации. О вас ставился вопрос в президиуме комитета. Вы пришли кстати.

— Ты видишь, друг родной? Они, генералы наши, чуют карася. Ты с ними по-военному, а то житья не дадут. Хотели меня в капкан, на подтирку, а я — хитрее их и свое дело знаю... Я их всех выведу на чистую воду...

— Ну, информируй, чего так окрысился, Жук?

— Не верю я им на окурок. На словах все — рабочий класс, а в душе — утроба... Шкурники!.. Задаваки и наездники!..

— Ну, будем глядеть на твоих генералов, Жук. Веди!

— Пройдите к секретарю, товарищ Чумалов. Там заседание, но секретарь распорядился немедленно вызвать вас телефонограммой. Пройдите... Жидкий — фамилия...

— Нет, уж ты веди, Сережа: тебе — с руки. И я пойду гамузом, погляжу, как они возьмут его голыми руками...

— Я занят, товарищ Жук. Сейчас — совещание в агитпропе, потом — заседание коллегии ОНО, потом — выступление...

— Эх, Сережа!.. Образованный ты человек, а хуже монаха: в великом послушании и смирении...

В комнату вошел первым не Сергей, а Глеб. Потому ли, что комната была маленькая, или потому, что в ней были только одни женщины, Глеб почувствовал, что он заполнил ее всю, и ему некуда повернуться. Показалось, что шлем его упирается в потолок и шоркаст по штукатурке.

Прямо, у окна, за столом, с карандашом в руках, в синей косоворотке сидела товарищ Мехова, завженотделом. Из красной повязки стружками кудрявились волосы и играли на солнце по платку. Верхняя губа с пушком, как у мальчишки, и брови

переливались и пылились искорками. Посмотрела на Глеба взмахом круглых глаз в длинных ресницах, и брови дрогнули стрекозиными крылышками. Щеки пухлые и румяные, как у подростка, а на щеках — ямочки.

Сбоку, у стола, стояла Даша и говорила бойко и горласто. На Глеба бросила только короткий вспыхнувший взгляд, но лицо осталось чужим и деловито-недоступным. Около нее и по стенам — тоже женщины. Все — в повязках шлычками. Слушали доклад Даши.

А товарищ Мехова глядела мимо всех и будто не слушала — кошкой грелась на солнце.

Жук засмеялся, схватил за рукав Глеба.

— Опасный перегон, друг Глеб, — бабий фронт: заключут, зацарапают, захлещут горланом... Берегись!..

Сергей улыбался конфузливо.

Глеб шлепнул ладонью по шлему.

А женщины сразу сорвались с цепи и заорали на Жука, и в криках нельзя было разобрать, — бунт ли это был, или бабья игра.

— Вво, гляди... чертячий совет... В жизнь теперь не станет ни одна детей плодить. Они, проклятые, бойкотом будут крыть нашего брата... шатия!..

Даша вскинула голову, замолчала и сложила узелком руки на груди. Ждала, когда уйдут мужчины. И опять короткой вспышкой глаз взглянула на Глеба. И в этой вспышке Глеб не увидел ничего, кроме сурового отчуждения.

Товарищ Мехова чвокнула ладонью по столу:

— Довольно!.. Займите места, делегатки. К порядку! Проходите, товарищи мужчины, — не мешайте. Продолжай, Даша.

А потом на первом же слове перебила Дашу:

— Товарищ Чумалов, на обратном пути зайдите ко мне. Я хочу с вами поговорить...

— Есть!

Искорками играли брови на солнце. А глаза — круглые, прозрачные, ребячьи, но в зрачках дрожат неуловимой болью прозрачные капельки.

— Не о деле: хочу с вами познакомиться.

— Есть!

Даша докладывала о сети детских яслей по городу.

## 2

## Конкретное предложение

Как только отворили дверь в комнату Жидкого — сразу оттуда шваркнуло потной духотой и табачным чадом.

И здесь было солнце — не в золотых стружках, как у Меховой, а солнце в зеленых нитях от окна через стол. Вспыхивали огненные спирали, и в дыму искрами зажигалась пыль.

Комната тоже маленькая. Люди у стола парились в чадных волнах дымного солнца. Кожаные куртки враспашку — у Жидкого и Чибиса, предчека. Жидкий — бритый, Чибис — бритый. У Чибиса лицо — с пыльным налетом, и за белыми ресницами — стальные иглочки. Сидит за столом, лицо в лицо с Жидким, и будто отдыхает. У Жидкого на щеках — вертикальные складки, а нос — азиатский, с прыгающими ноздрями. Вскинет глазами — схватит, и вместе с глазами прыгают и хватают воздух ноздри.

На подоконнике, опираясь ногами о косяк, костлявый, натянутый как лук, сидел, весь черный (и рубаха, и кофейное лицо, и вихрастые волосы), с лихорадочной одержимостью в глазах, юноша — предсовпроф Лухава. Молчал и слушал. Слушал и долбил подбородком колени.

Глеб широким взмахом приложил ладонь к шлему, но Жидкий не обратил внимания: мало ли ходит к нему членов партии — здороваться некогда. Только удивленно выкатил белки и схватил ноздрями воздух.

— Ну, есть лесосеки. Ну, есть Райлес. Ну, заготовки.

Отстукивал точки кулаком.

— Что же дальше?.. Ведь все дело в том, чтобы доставить дрова. Они — за перевалом, они — по побережью. Дровяная повинность проваливается. Надо найти верный и быстрый способ доставить топливо до зимы. К чорту — кустарничество и паллиативы: надо брать быка за рога в широком масштабе. Тут должно быть огромное напряжение, сюда должны быть брошены все силы. Райлес не выполнил возложенной на него задачи: там засела всякая сволочь — шкурники и стервятники, которых надо расстрелять. Рабочие там скоро поднимут бунт, потому что они уже издыхают с голоду. Дайте дрова, иначе

мы детей и рабочих будем складывать в штабели. Через неделю — заседание Эгосо, и мы должны быть готовыми. Говори, Лухава. Всегда, как чорт, плюешь огнем, а сейчас подавился окурком...

Юноша на окне не слышал слов Жидкого: внутри его горела лихорадка.

Чибис ни на кого не смотрел, и сквозь пыль и сетку его лица нельзя было узнать, думает ли он, или отдыхает, скучая.

Жидкий грохнул кулаком по столу.

— К чорту!.. Нас нужно немедленно на мушку, как идиотов и дезорганизаторов. Крышка!.. Тупик, ребята...

Лухава упруго прищипил костлявыми руками колени к груди, и от этого судорожного движения он завинтился на месте и раскололся мальчишечьим смехом — толчками, с прихлебыванием.

— Ты что — обалдел, Жидкий?.. О каком тупике ты говоришь? Если, чорт тебя возьми, у тебя — тупик, ты должен пробить его собственной башкой. Иначе тебя действительно нужно расстрелять, и Чибис выполнит это без затруднений. Нет и не может быть тупиков: есть только задачи. Я решил твою задачу.

— Твое конкретное предложение?..

Ноздри Жидкого дрожали и хватали воздух, и от этого казалось, что он тоже смеется и не может сдержать своего восторга.

— Надо использовать механическую силу завода...

Сергей протянул руку и попросил слова.

— Я хотел кстати... насчет предложения Лухавы...

Складки на щеках Жидкого изломались прутиками от улыбки, и Глеб увидел в этой улыбке снисходительную и ласковую насмешку.

— У Сережи — конкретное предложение, товарищи. Формулируй...

— Я хотел, в связи с предложением товарища Лухавы, указать на товарища Чумалова. Обсуждение этого вопроса может выиграть во времени, если товарищ Чумалов выскажет по этому поводу свое мнение, как рабочий завода... А сейчас мне нужно...

Жидкий оборвал его на полуслове взмахом руки.

— Стоп, стоп!.. Сережа, как всегда, чувствительно декламирует и наливает румянцем свою лысину...

— Мне сейчас нужно на совещание агитпропа, потом — в коллегииу ОНО, потом...

Чибис усмехнулся и сказал лениво, с пристальным взглядом в Сергея:

— Интеллигент... Это «потом» в его устах звучит как молитва. А по ночам он не спит от проклятых вопросов... Интеллигенты — всегда безответные ослы в партии; они постоянно чувствуют себя пришибленными и виноватыми. И хорошо, что их держат в ежовых рукавицах и на приделе...

Сергей густо покраснел и растерялся, и рыжая влага в глазах заблестела слезами.

— Но ведь вы — тоже интеллигент, товарищ Чибис...

— Да. Я тоже интеллигент.

Жидкий улыбался насмешливой, ласковой улыбкой.

— А ну, товарищ Чумалов... шагай сюда ближе. Придется стоять — стульев нет...

Глеб подошел к столу и стал по-военному.

— Демобилизован, как квалифицированный рабочий. Нахожусь в распоряжении Парткома.

Не отрывая глаз от лица Глеба, Жидкий подал ему руку и, когда пожимал руку Глеба, дружески потряс ее и смеялся ноздрями.

— Ты, товарищ Чумалов, назначен секретарем вашей заводской ячейки. Она дезорганизована. Мешочники и спекулянты. Все помешались на козах и зажигалках. Идет открытое разграбление завода. Ты, вероятно, уже — в курсе дела. Сделай ее крепкой, работоспособной — на военную ногу.

Глеб приложил ладонь к плечу.

— Есть, товарищ Жидкий!

Лухава опять заклевал подбородком колени, жевал папироску углом рта, смотрел на Глеба вприщурку, и в глазах его горела лихорадка и вызывающий острый вопрос, и этот взгляд царапал за душу Глеба. И только в ответ на слова Глеба он небрежно и холодно выкрикнул Жидкому:

— Направить этого товарища в организационно-инструкторский... Мы не можем прерывать заседание посторонними пустяками.

И все посматривал на Глеба вприщурку, через дым папиросы. Глеб дернул головой, встретился глазами с Лухавой, но

ничего не сказал. А почувствовал только глухой удар в груди: глаза Лухавы будоражили его смутным вызывающим намеком.

Чибис быстро взглянул на него сквозь густую сетку ресниц.

— Вы — квалифицированный рабочий... военком... Зачем вы бросили армию, когда завод остыл на года?

Глеб повернулся к Чибису, ответил всем сразу:

— Куда там к чорту — остыл! Гнусное место — свалка, мерзость, скотный двор. Будем говорить прямо, товарищи. А какой был завод — богатырь, красавец... мировой завод... Вы хотите взять за горло рабочих и разогнуть коз. А где производство?.. Нужно треснуть по всем швам, а оживить... Иначе рабочие будут не рабочие, а свинопасы.

И опять встретился глазами с Лухавой, и опять в прищурке его увидел вызывающий намек, и еще увидел — обжигающую усмешку и вражду. Глеб сам посмотрел на него пристально, и от взгляда Лухавы почувствовал еще раз глухой удар в груди.

— Героям Красного Знамени, кроме храбрости, нужно еще научиться реальному пониманию вещей.

Чибис сидел, опираясь на спинку стула, холодный и замкнутый, и через пыльный налет на лице нельзя было узнать, следит ли он за беседой, или отдыхает, скучая.

Жидкий раздувал ноздри, вздрагивал складками на щеках от улыбки и готовил кулак для удара по столу.

— Я не давал тебе слова, Лухава. Сиди. Будем продолжать обсуждение вопроса о топливе.

И от слов Лухавы, таких же вызывающих, как и его усмешка и неясный намек в прищурке, Глеб вздрогнул, и сердце захлебнулось кровью.

— Товарищ Чумалов, у нас нет ни полена дров. Мыдохнем от голода. Дети в детских домах вымирают. Рабочие дезорганизованы. Какой еще тут к чорту завод? Что ты городишь ерунду? Не об этом идет вопрос. Что ты можешь сказать о доставке топлива из лесосек? Как можно использовать для этой цели завод? Говори по предложению Лухавы.

— Топливо? Хорошо, пусть будет для первого разу топливо. Будут дрова через месяц ручаюсь!

— Ты говори, как подойти к этому практически, без громких фраз.

— Будем крыть практически.

Глеб помолчал, посмотрел в окно рассеянным взглядом.

— Можно только так: бремсберг — на перевал. Вагонетки — до самого пирса. Погрузка в вагоны до города и до вокзала. Провести организацию воскресников из всех профсоюзов. Больше ничего не имею сказать.

Задыхался, кипел, обливался потом Жук, цеплялся за Глеба и скалил зубы от радости.

— Сидите вы тут, кубышки... солите, мусолите... А он — вот как... Утробой... Он все повернет и поставит на ходор... Так их, товарищ дорогой!..

Его не слушали, и весь он, привычный, ежедневный, исчезал в буднях, как мелочь. Он всегда был на глазах, но его не видели, и его крики из сердца не доходили до слуха.

Жидкий резал складками щеки, не писал, а чертил прямые и кривые линии на бумаге и рассекал их на части. И оттого, что лицо его стало спокойным и будничным, он вдруг постарел и осунулся.

— Ты об этом, кажется, хотел говорить, Лухава?

Лухава пружинно спрыгнул с окна, прошел мимо Глеба и опять возвратился к окну.

— Я был близок к мысли товарища Чумалова. Он формулировал ее лучше меня. Принять его предложение без прений и пригласить на заседание Экосо для доклада.

Жидкий бросил карандаш на стол, и карандаш рикошетом через бумагу прыгнул к Глебу и упал ему под ноги. Жидкий встал, шлепнул ладонями и спрятал руки в карманы.

— Утопия, товарищ Чумалов. Брось болтать о заводе: завод — каменный гроб. Не завод, а — дрова. Завода нет, а пустая каменоломня. Для нас завод — или прошлое, или будущее. Будем говорить только о доставке дров.

— Я не знаю, что по-вашему утопия, товарищ Жидкий. Если вы не скажете первого слова — завод, его скажут рабочие. Что вы мне заливаете: завод — будущее и прошлое... Если рабочие бьются башкой о завод — есть завод, и он ждет рабочих рук. Что вы, товарищи, шутите, что ли? Были вы на заводе? Нюхали дизеля и рабочих? Завод — целый город, и машины — готовы к пуску. Почему рабочие грабят завод? Почему дожди

и ветры грызут бетон и железо? Почему идет разрушение и громоздится свалка? Для чего рабочий обязан заниматься антимониями — плевать, как кашей, на барахло без цели и надобности? Он — не квочка: не сидеть же ему на лйцах и высихивать цыплят? А тут вы заливаете ему, что завод — не завод, а брошенная каменоломня. Он плюет на вас и грохает матом. А как же поступать с вами по-иному? И хорошо делает, что обдирает завод и тащит в свое гнездо: все равно попадет к чорту в зубы... Вы ему разводите всякую красивую чертовню, а какого журавля посадили в башку, чтобы он был не шкурником, а сознательным пролетарием? Вот как надо ставить вопрос, товарищи дорогие...

Боль, которая душила Глеба дома и в корпусах завода, — и здесь была боль. И от боли не мог молчать. И боль гневом отравляла здоровую кровь.

Жидкий дрогнул и вылупил белки.

— Завод ты делаешь своим идолом, товарищ Чумалов. Какого чорта — завод, когда у нас бандитизм, голод, и советские учреждения кишат предателями и заговорщиками? Кому теперь нужен ваш цемент и всякие цехи? на постройку братских могил? Вы агитируете за овладение производством, а мужик прет на город татарской ордой...

— Товарищ Жидкий, я понимаю это не хуже вас. Нельзя подходить к работе по-голому и строить работу на голых людях. Эти методы ваши голого крохоборства надо — к чортовой матери: надо бить строительством и борьбой за восстановление хозяйства. Вот как надо ставить вопрос... Иначе надо бросить все и кувырнуться в лапы мужичьего самосуда...

Чибис поднялся и пошел к двери. Сквозь сетку на лице нельзя было видеть отражения его мысли. Около двери остановился, сказал однотонно, с ударением на точках:

— Наш отряд особого назначения — плох. Если говорить о заводе, почему нельзя говорить о казарменном положении? об ущемлении? Хорошие слова, но смаковать мне некогда. Потом.

Отворил дверь и ушел — не оглянулся.

Жидкий смотрел на дверь и улыбался понимающими глазами.



— Не будем спорить, товарищ Чумалов. Дело — не в пуске завода, а в организации масс. Правильно.

Жидкий смеялся ноздрями и крепко жал руку Глебу.

— Выдрессируй кстати и Жука, товарищ Чумалов, а то он похож на голодную крысу...

Глеб взял под мышку Жука и пошел с ним к двери, а Жук старался обхватить спину Глеба и — не мог.

— Товарищ родной!.. Глеб!.. да мы с тобой, друг, все горы ходором пустим... все дырки бурками зарядим...

А сзади опять голос Жидкого:

— Товарищ Чумалов, не мешает тебе крепко поговорить с Бадьным, предисполкомом. А с Лухавой поцапаться нутром до огня, чтобы быть хорошими друзьями.

В дверях Лухава сжал локоть Глебу. В глазах и словах у него была лихорадка.

— Я о вас слышал от Даши. Ваш план мы обсудим совместно и сделаем его основной задачей нашей работы. Надо действовать не словами, а фактами. Будущее — в мозгах, настоящим оно становится в мускулах.

Они пристально, глаза в глаза, посмотрели друг на друга, и Глеб опять почувствовал, как глаза и слова Лухавы царапнули его за душу.

Даша... Лухава... Почему не быть Лухаве узелком в этой запутанной петле?

### 3

#### Женщина в кудрях

Глеб подошел к Меховой. Нажал нечаянно на стол — стол зарычал медной трубой. Мехова целасково, сдерживая смех, в изумлении оглядела его фигуру.

— Умерьте свой натиск, товарищ Чумалов. Это — не пушка. Мы работаем здесь в мирной обстановке.

— Виноват! Привык к разгону, а здесь — клетка для кур.

— Привыкайте к иному шагу. Здесь вас скоро засадят в нору, на советскую работу, и будете вы, как все, тянуть лямку администратора. Быстро забудете запах пороха и романтику боевых приключений и подвигов. Обмякнете и поблекнете,

товарищ. Вы назначены, кажется, секретарем заводской ячейки? Посмотрим, как вы справитесь с вашей ордой. К вашим бабам нет никакого подступу: они все пропахли свиньями, козами и навозом. В каждом доме — лавочка и склад краденых вещей. Пройдет еще полгода, и завод будет разгромлен вдребезги. А какой завод!..

— Ого! А мы вот режем на пуск завода. Пускаем дизеля и динамы, строим бремсберги на перевал для спуска топлива...

— Все вы болтаете одни и те же слова. На словах вы все — богатыри, а на деле все метите, как бы сесть поудобнее и превратиться в совбуров. Будни здесь очень скучны. В армии лучше. Просилась — не отпускают. Только вот жена ваша не чувствует этих будней и в каждой мелочи находит великое дело.

Даша стояла у стены и усмехалась. А в движениях было нетерпение.

— Я не разумею, товарищи, какой у вас разговор. Почему такой разговор и зачем такой разговор?.. Иди, вояка: ты нам мешаешь... Убирайся, пока цел...

И усмехалась, и сама играла.

— Вот видите? Деловая и строгая женщина.

— Это — верно. Дашки нет дома, и она здорово саботирует. Мехова засмеялась и встряхнула кудрями.

— Не исполняет супружеских обязанностей? Какая жалость, испортила бабу революция...

Даша сорвалась на смех, но в этом смехе опять не услышал Глеб прежнего милого смеха невесты.

И бабы смеялись. Жука вытолкали кулаками в спину и наперебой кричали ему в коридор:

— Прошла ваша власть, бритые козлы! Сбрили вам бороды, и стали похожи на баб. А бабы стали щеголять мужиками. Не вернуть вам больше своей удачи.

Мехова опять пристально осмотрела фигуру Глеба, и ему показалось, что она жадно обнюхивала его.

— Вы еще пока не пропитались нашим климатом: вы — весь от армии и войны. Так и кажется, что вы завтра же укатите в свой боевой полк. Расскажите мне о ваших подвигах. Когда это вы получили орден Красного Знамени? Если бы знали,

как я люблю армию... Вы знаете, я одно время даже дралась в окопах... Это было под Манычем...

Она улыбалась, и улыбка эта была своя — не для Глеба, — и хотя глаза смотрели на него, в них, как и в бровях, переливались капельки затаенной радости.

— Хорошо!.. Это были незабываемые дни... как московские октябрьские дни... на всю жизнь... Героизм — вот что является огнем в революции...

— Все это хорошо, товарищ Мехова... Но тут тоже, на рабочих позициях, надо бить героизмом. Тут — трудно: разруха, кавардак, свалка, голод... Правильно! Грохнула гора — покрыла человека, как лягушку. Напрягись, стань на карачки — поставь гору на место. Невозможно? А вот это самое и есть... героизм и есть, что невозможно...

— Да, да!.. Я хочу с вами говорить, товарищ Чумалов. Именно: героизм, это — согласованный дружный напор... а тогда невозможного нет...

Опять засмеялась, и ярче засверкали искорки в бровях и глазах.

— Стать на карачки, да?.. Хорошо!.. ну и слова у вас!.. Напрячь все клеточки тела... Я хочу с вами говорить, товарищ Чумалов... Я живу в Доме Советов...

Даша усмеялась и пытливо посматривала и на Мехову, и на Глеба. Потом подошла к нему, повернула его за плечи и толкнула к двери...

— Ну-ка, пошел отсюда, вояка! Тебе здесь нечего делать...

Глеб обернулся, облапил ее и понес из комнаты. Хототали бабы, хохотала Мехова. И от нестыдной Глебовой ласки на людях Даша вскрикнула и крепко обняла Глеба обеими руками. И на мгновение Глеб почувствовал прежнее Дашино сердце и родной бабий смех, который нельзя вместить в простое слово, потому что смех этот льется из крови в кровь.

— Товарищ Чумалов, вы знаете, что такое ваша Даша? Она не рассказывала вам своих приключений? Тут было все, чего, может быть, не пережили вы сами...

Даша дрогнула и одним прыжком вырвалась из рук Глеба.

— Я не хочу, товарищ Мехова, чтобы ты касалась меня в худой или добрый час. Не шути шуток, товарищ Мехова, и меня не тревожь...

— Вот как? А я не знала, что у тебя есть на это запрет... Почему она дрогнула? Почему испугалась и закрыла рот Меховой? Почему все знают ее немужские годы, а ему она не говорила ни слова?

В открытых дверях коридора стоял Лухава и смотрел на Глеба горящими глазами.

Он прошел мимо Лухавы, опасаясь прикоснуться к нему. А Лухава защемил в пальцах рукав гимнастерки и сорвал его шаг.

— Товарищ Чумалов, созывайте экстренное собрание ячейки: я приду, сделаю доклад. Завтра приходите ко мне в Совпроф, запремся и будем обсуждать совместно. Грандиозный план требует в первую очередь четких деталей. Я говорю не только о топливе, но и о заводе. Я думал об этом. Мы будем бороться всеми средствами, какие можно пустить в ход. Не забывайте, что это будет борьба — и борьба напряженная. И знайте, что эта борьба — несколько несвоевременная: это борьба на будущее, поэтому она кажется нелепой и утопичной. А мы знаем, что будущее приближается к настоящему смелостью и силой. Начинаем работать.

Крепко пожал ему руку и быстро исчез в дверях женотдела.

В коридоре Глеба догнала Мехова.

— Пойдите, товарищ Чумалов. Вы не сказали, что же вы затеяли там, у Жидкого? Я сейчас же хочу быть в курсе дела. В этой дыре мы начинаем плесневеть, и будничная работа делает каждого кротом. Революция не терпит этого. Если вы будете ворошить наши советские и партийные будни, то вам придется вооружиться хорошими зубами. Я — вместе с вами, товарищ Чумалов. Что бы вы ни делали, я — вместе с вами. Я чувствую, что вы не можете раствориться в буднях: вы были в армии. И вот еще что, товарищ Чумалов: вы не тревожьте пока, Дашу... Я сейчас поступила глупо... Она сама подойдет к вам — вы увидите... Что вы хотите делать?

— Все — до пуска завода, если не поломаем костей.

— Ну, идите, — мне больше ничего не нужно.

Она улыбнулась ему золотыми кудрями и переливом капель в глазах и пошла обратно бегущими шагами.

А на улице Жук встретил его играющим взмахом руки.

— Ну, каковые наши козыри? То-то!.. Я, брат, всех их на чистую воду выведу. Пойду по всем местам и закоулкам выгонять нечистый дух. Они меня шибко знают, я их каждый день обхожу, головоотяпов, житья им не даю, ей-право... Теперь мы с тобой все горы своротим... всю бюрократию наизнанку вывернем...

## IV

# РАБОЧИЙ КЛУБ «КОМИНТЕРН»

## 1

### Ячейка РКП

Рабочий клуб «Коминтерн» занимал бывший директорский дом крепкой немецкой стройки из дикого камня трех цветов — желтого, голубого и зеленого. Двумя этажами он вырастал глыбой из ребра горы, заросшей ворохами держи-дерева и туи, и был строг и пуритански прост в архитектуре, как кирка, но богат и расточителен в ажурных верандах и балконах, надворных постройках (такой же крепкой и опрятной стройки), в цветниках и площадках для игр. А внутри — множество комнат, запутанных, сумеречных коридоров и лестниц с дубовыми обелисками с фонарями мозаичной работы. И каждая комната — в штофных обоях, с художественными панно, с картинами лучших мастеров, с исполинскими зеркалами и мебелью разных стилей.

Перед фасадом, по спуску горы — фруктовый и цветочный сад, измызганный, изъеденный козами, с одичалыми дорожками, а вокруг — чугунная ограда на каменном цоколе. Справа, за гранью горы — гигантские голубые трубы завода, слева — тоже трубы, а высоко, во впадинах — каменоломни и разрушенные бремсберги.

Когда-то здесь жил таинственный старик, которого рабочие видели только издали и никогда не слышали его всемогущего голоса. И было удивительно, как он, этот старчески важный директор, мог жить без страха перед пустотой сразу в 30-ти комнатах дворца, без кошмаров, без ужасов перед нищетой,

грязью, вонью, животным существованием рабочих конур и общих казарм.

И вот — война — революция — великая катастрофа... Спасаясь из-под обломков, он, директор, бежал, беспомощный и жалкий. Бежали с ним вместе и инженеры, и техники, и химики. Остался только один, старейший строитель завода, инженер Клейст, похоронивший себя в своем рабочем кабинете, в главном здании управления, за шоссе, внизу против дворца, его последнего создания.

... В весенний день, когда горели облака, море и горы, а воздух колот глаза солнечными иглами, рабочие завода собрались в слесарном цехе. Среди толчеи, рева и табачного дыма слесарь Громада внес предложение:

— Замечательный дворец, где жил кровопийца-директор, обратить в рабочий клуб и дать ему имя «Коминтерн»...

Низ отвели под клуб и ячейки РКП и РКСМ, а верх — под библиотеку, игры и отряд особого назначения.

И там, где раньше была строгая тишина, где рабочие не могли проходить с работ по бетонным дорожкам мимо дворца (строжайше воспрещалось дирекцией), по вечерам, когда зеркальные стекла пылали пожарным пламенем заходящего солнца, — клубные музыканты быками ревели в медные трубы и взрывно грохотали барабанами. Из домов бежавших инженеров свезли все книги в библиотеку директора и расставили в шкафы. Книги были красивы, блестели позолотой на переплетах, но были таинственно чужды: все были на немецком языке.

Громаду выбрали завклубом, и когда он на собрании рабочих делал доклад о клубной работе, о библиотеке сказал так:

— Товарищи, как у нас есть великолепная библиотека, и которые книги конфискованы и национализированы у буржуазии и капиталистов, но все они — немецкого производства. И мы все порядком пролетарской дисциплины повинны читать, и принимая во внимание, как мы, рабочие, есть международная масса, все едино мы повинны одолеть всякий язык. Библиотека открыта для всех грамотных и неграмотных... призываю, товарищи, за овладение культурой и не саботировать...

Рабочий клуб «Коминтерн». Не директорский дом, а ячейка.

Рабочие продолжали жить в своих конурах и казармах. Дома инженеров стонали пустотами и пугали жутью своих анфилад.

Рабочие делали зажигалки в слесарном цехе, а вечерами искали коз по горам. Бабы ходили в станицы и села—мешочничали.

Ревели быками трубачи в верхнем этаже, и взрывно грохотал барабан.

А в заседаниях ячейки РКП каждый понедельник (партийный день) ставили на повестку такие вопросы: 1) о воровстве масла и шрапнели в столовой нарпита, 2) о кормежке столовым обедом свиней, 3) о религии членов ячейки, 4) о грабеже завода на предмет мешочничества...

В рабочем клубе «Коминтерн» Глеб открыл экстренное заседание ячейки.

Комната — просторная, с высокими панелями из корельской березы, и из корельской березы была кустарная мебель. И стены и мебель, зажженные вечерним солнцем, искрились золотом.

Принесли грубые скамьи из зрительного зала.

Глеб сидел за столом и видел всех сразу, и все были похожи друг на друга. Лица как будто разные, а что-то в них одно, сливающее их в общее лицо. Вот оно, это одно — цветет и дымится, больно пылит в глаза, и хочется назвать, отделаться словом, а слова такого нет на языке. Потом понял: это — голод.

Глеба увидели многие впервые, но здоровались с ним лениво и равнодушно, как будто не расставались. В последний раз они видели его в тот закатный вечер, когда схватили его офицеры у ворот завода из рядов выстроенных рабочих и били вместе с другими.

Иные крепко трясли его руку, натушливо морщили кожу в улыбке и не знали, что сказать — кричали и кричали междометиями:

— Ну?.. Что, брат?.. Как же это, а?..

И шли на места, не оглядываясь. А когда усаживались, опять стреляли на него глазами в неудержимой улыбке.

А вот пришел Громада (сам — маленький, а фамилия—большая), засмеялся и захлипал чахоточной грудью:



— Совсем другой коленкор, товарищ Чумалов, ей-право... Жарь!.. Как мы, коммунисты, дезорганизовались 'на козе и за-жигалке, но ты не позволяй дискутировать... крой на ребро и — никаких гвоздей!..

Повернулся к рабочим и захлебнулся восторгом.

— Вот вам, черти-лодыри!.. Прошел через смерть чисто и так и дале... И заявляю: не беру слово к порядку, но режу предварительно, как он, товарищ Чумалов, всю мою утробу на клубок намотал... как есть вступил я через него в ряды Рекапе...

Слушали Громаду и смеялись, не Громаде говорить такие слова. И не даром сам Чумалов исподлобья улыбался ему, как шкету. А рабочие барахтались в клубках табачного дыма и в бутори смешливого кашля.

— Крой, Громада!.. Верги горы волчком, жги с прихлестом, товарищ... Наша берет!..

Сидел Лошак в дальнем углу. Черный и горбатый, громоздился он куском антрацита меж пыльных, в цементных хлопьях, рабочих. Сидел и молчал, был меньше всех, но заметный и давящий, с угрюмым безгласным вопросом в белках. Лошак глядел мимо всех, но ждалось — вот он брякнет по всем башкам таким же черным словом, как он сам, как его лицо, протравленное гарью и металлической пылью, и все онемеют и будут искорканы его тяжестью.

Бабы непоседливо взбивали тряпичную буторь одевки, скалили зубы, тараторили воробьями. И бабьим поводом, отдельно от баб, но у баб на виду стояла у стены Даша. Красная повязка горела спокойным пламенем в ожидании дела. Иногда подходила к бабам, и они грудились в кучу, стукались головами и шептали все сразу, и все сразу давились от хохота.

Ждали — вот-вот войдет Лухава для доклада о борьбе с разрухой и топливным кризисом. А отворилась дверь — вошел не Лухава, а лохматый Савчук, босой, с кровавыми глазами.

Отекший, с застрявшей силой в мускулах, он шоркнул спиной по стене и чувалом сел на пол, у двери, выщелкнул мосластые коленки в ссадинах и кровоподтеках. Глубоко, под костями надбровниц, в угарной тьме укрощенных глаз, отравной мутью наливалась тоска.

Даша подошла к окну и распахнула обе рамы — тяжелые рамы, как двери.

— Проклятые люди, эта ячейка: дело они выкуривают трубой. Для бездельного мозга — табука работа...

И как только распахнулась рама, комната загромычала, как бочка: на верхней веранде быками рычали медные трубы, и взрывно грохотал барабан.

... Разбросанные по своим домашним норам, забывшие завод — грохот, гарь, пыль и запах машин, — покрытые другой пылью — пылью горных ветров, — люди завода, цехового артельного труда, с мешками на спинах, шайками вползали на горы. По загорным и степным дорогам и тропам шли в хутора и станицы, как в эпоху натурального обмена, гонимые голодом и первобытной алчностью. Люди заводского труда, который будил их по утрам не криком петухов, а металлическим ревом гудка, узнали за эти годы сладость свиных и козьих закут, изюмную остроту скотских испражнений и радость теплых куриных гнезд. И люди машин и цеховых утроб научились кричать вместе с свиньями и курами из-за свиней, из-за кур, из-за коз, из-за нарпитской шрапнели, которую слопал по недогляду чужой поросенок. Потухло электричество на заводе и в казармах, задохнулись от пыли гудки — тишина и бестружье заклохтало, захрюкало деревенской идиллией. И угрюмо замкнулся в домашних клетях рачительный муж и скопидомная баба.

И вот здесь, в клубе «Коминтерн», в ячейке, коммунисты продирают глаза, и от невымытых рук и одевки пахнет куриным пометом и нашатырным запахом свиных и козьих гнезд. Артелью, вплотную друг к другу, сидят, и рев трубачей и недомашинные слова громоздят из прошлого иную, забытую жизнь. И Глеб вот тоже из прошлого (будто был здесь только вчера), и от него жирно запахло маслом, раскаленным железом и серной гарью остывающих шлаков. И опять —

... Завод... Производство... Бремсберги... Цехи...

Не успела отойти от окна Даша, вошел в конфузливой лысине, стекающей кудрями на плечи, Сергей. Подошел к Глебу и склонился к его плечу в деловом шопоте.

Глеб встал, кувырнул шлем с головы и бросил его ловким вывертом на подоконник.

— Товарищи, вот вместо Лухавы — товарищ Ивагин: товарищ Лухава — у грузчиков: забунтовались, к чортовой матери, из-за пайков... Открываем собрание... Да молчите вы, идолы!.. Ну, и еще скажу вам: так слышал я краем уха, и о том же отбивает радио... заграница, Антанга, подъезжает к нам на торговлю и шлет корабли... Думаю, что обижаться на это мы шибко не будем — пожалуйста! очень рады!.. Мы тоже кое-какие зарубки можем зарубать на носу...

Закрутил на шутку и сам засмеялся.

Громада замахаля руками, и глаза заблестели угаром.

— Товарищи, как мы есть рабочие великолепного завода, но нагрузились свиньями и козами и так и дале... Вылазь из берлоги, товарищи!.. Предлагаю по такому разу все излишки ликвидировать на предмет нашего детского дома... и как мы есть рабочий класс...

Барабан. Буча в дыму и пыли.

— ...этих самых свиней... много хватов до чужого добра... Кто пер с хуторов и станиц?.. Задастся не в счет свехурочно!.. Всех не покроешь... Громадина жинка сама в хуторах истрепала подол...

— Ликвидировать!.. к чорту!.. Постановляй, Чумалов, ячейкой...

— Эй же, братва!.. жрать ведь нечего, эй!.. Зачем чертей булгачите в драку? Братва!..

Глеб чиркнул звонком и скомандовал «смирно».

— А ну, замолчи, товарищи! Пока еще на свиней и на коз нет ущемленья. Если охота, разводите с ними антимионию. Придет час, мы их пролетарским манером живо кувырнем, как буржуазию...

И опять поворотом на шутку и смех посадил на места и утихомирил для порядка.

— Предлагаю, товарищи, избрать председателя.

И не успел сказать последнего слова, бабы из своего угла (а впереди Домаха и Лизавета) разом пырснули вверх в ворохе одесок, застреляли руками, загорланили вперевой, вразнобой одно имя, и это имя кричало многоименно:

— Дашу!.. Даша Чумалова!.. Даша!..

И мужики орали, но не могли сначала перекричать своим горланом баб.

— Громада!.. Чумалов!.. Савчук!..

И слово «Савчук» раскололось от хохота.

Громада выпрыгнул к столу и опять замахал руками. Махал на баб и по-бабьи кричал мужикам:

— Товарищи!.. насчет баб я ничего не страдаю... Ну, только бабы как есть равноправные существа и так и дале... а молодые — чтоб в поводырки... Пушай отсидаются немного... Тут надо бороду в председатели.

— А где же у Чумалова борода?.. И у тебя-то волос мужиковских кот нализал...

А бабы, как бешеные, крыли горластыми криками:

— Даша Чумалова!.. Даша!.. На затычку ей пробкой Громада?.. Савчукова борода — помело для мокриц, а кулаки горазды на Мотьку...

— Савчук!.. Чумалов!.. Лошак!..

Глеб опять раз за разом чиркнул звонком.

— Голосую, товарищи. Даша Чумалова — первая в записи. Хоть она и жинка моя, но за бабью команду не возражаю. Кто — за...

И не успел назвать имени Даши, бабы опять загорлашили:

— Дашу... почему не даете ходу бабам, злыдни?..

Глеб первый поднял руку, с ним вместе бабы и Сергей. Рабочие один за другим, с неохотой, сопя и кашляя, подняли руки — не свои, чужие руки.

Савчук из угла рывкнул, не поднимая руки:

— Крой их, баб, отсюда, по домам, мокрохвосток!.. Жиж!.. Терпеть не могу!..

Глеб отмахнулся звонком и опять оборвал крики:

— Голосую Громаду... Мало. Лошака голосую... Мало. Занимай свое место, товарищ Чумалова.

Бабы захлопали в ладоши, как куры крыльями:

— Bravo, бабы!.. наша взяла!.. Докажи им, Даша, бородатым и бритым козлам...

Даша твердо подошла к столу — стала около Глеба.

— Товарищи, требую тишины и пролетарского духу. Давай повестку дня, товарищ Чумалов. Слово для доклада товарищу Ивагину. Даю, товарищ, на весь пролет пятнадцать минут.

Сергей изумленно рассмеялся и развел руками.

— Слишком суровый регламент, товарищ Чумалова...

— Не балабаньте, товарищ Ивагин. Коли говорить—жарьте, а то мы приступим к делам.

— Да она задается на три копейки... Я же говорил: не надо было бабу...

— Дрызгай их, баб, по домам, мокрохвосток!.. Я их всех, бесштаных, за подол и в окно... Жиж!..

— Товарищ Савчук, замолчи: выведу в дверь за анархию... Вы же — коммунисты, товарищи?

Даша — права. Надо немного: что можно сказать в докладе рабочему? Его голова слишком забита словами. Он лучше знает, что ему надо в эту минуту. И холодные книжные фразы — чужды, непонятны, далеки и бескровны, как и он, Сергей, для них непонятен и чужд и душой, и словами.

— Товарищи!.. чудовищная разруха... великие испытания рабочего класса... Небывалый кризис... Ликвидация военных фронтов... Все силы наши на хозяйственный фронт... X съезд партии намечает новый поворот в экономической политике... Только пролетариат — единственная сила... Возрождение производства Республики... концессии и мировые рынки... (—Уф, эта же глупая интеллигенция!..). Стоять на страже пролетарской страны... Удешевить свои силы, и железными рядами... Мы прорвали блокаду... Рабочий класс и коммунистическая партия... (—Кончайте, товарищ Ивагин!..). Доставка топлива... Механическая сила завода... Об этом вам лучше меня доложит товарищ Чумалов...

— Товарищи, доклад принимаем к сведению. Сядь смиренно, товарищ Громада!..

— Да я насчет того, как объяснил товарищ докладчик... Но папаша его и сейчас нетрудового элементу... Товарищ Лухава заворачивает круче. Ну, хоть товарищ симпатичный, а дискустирует зря. Заливали словами рабочим до отказа... Чего глядит Рескапе?..

— Товарищ Громада, ты не знаешь порядку. Выступает товарищ Чумалов...

Ячейка сомкнулась в тишину. А ну, какие слова загнет Глеб Чумалов? В нем — самая главная сила. От этого его слова совсем иным будет завтрашний день.

— Товарищи, не будем барахолить словами. Мы и без того здорово барахололи свиньями и зажигалками. Хватит. Побарахололи. Завод стал не завод, а скотный двор. Завод— дурак, и мы — дураки. Разве это, товарищи, дело? Человек, товарищи, о двух концах: одним можно лезть чорту в зубы, а другим бить чорта по зубам. Это от того, в каком ты градусе дурак. Наши руки—не для коз и свиней: наши руки другого устройства. Это мы чуем очень твердо. Какие руки — такая душа, такая работа мозгам. Крышка валять на высокий градус дурака! Как товарищ Ивагин сказал: новая экономическая политика... Что такое новая экономическая политика? Это — бей чорта по зубам великим строительством. Цемент — крепкая связь. Цементом мы дадим великую постройку Республики. Цемент, это — мы, товарищи, рабочий класс. Это надо себе зарубить на носу. Довольно валяли дурака: надо браться за настоящее дело.

Из гама и переключков нельзя было понять, что хотела сказать ячейка. Из набухших кровью лиц кровь проливалась в глаза. Прыгал Громада, размахивал руками, и Савчук лез из угла и выл в злобе и радости.

А Глеб вытянул руку над столом, требовал внимания и играл гармошкой на щеках. Даша улюлюкала колокольчиком и кричала до пьяного налива в глазах:

— Товарищи-коммунисты, вы — еще стадо!.. Сохраняйте дисциплину! Я тебе не давала слова, Савчук...

— Так, товарищи! Подойдем вплотную. Задайте вопрос, чего заводу нет, братва? Топлива нет! Рабочим топлива нет. Дошло все до петей. Придет зима и урежет нас на ять. Сварганим новый бремсберг на кручу... на перевал... Нагрохаем дров на город. Совнархоз возьмем за горло: подавай, сукины дети, наши наряды на нефть и бензин... Отдай отчет: куда заклепали броней? А по нарядам мы имеем запасы. И при козыре пик, мы — через Чеку в Ревтрибунал. Бремсберг — вот наш первый удар. Через Совпроф — воскресниками. Инженеров наших засадим за чертежи и руководство постройкой. К чортовой матери — коз, будь они прокляты трижды!..

Савчук пробрался к столу и грохнул кулаком по бумагам.

— Цыц, идоловы души, свинопасы!..

— Товарищ Савчук, не буянь!

— Почему ты мне, баба, рот затыкаешь? Ежели тут—зажигальщики и свинопасы—как я не могу крыть?..

— Товарищ Савчук, в последний раз...

— Тю, идолова баба... Глеб, товарищ, дай ты доброго туза своей жинке... она ж не моя... А вы, черти... козьи пастухи!.. Где ваши руки и глотки?.. Говорите, где Чека на инженера Клейста?.. Говори, Глеб: какой тебе друг инженер Клейст, который тебя предал на смерть?.. Терпеть не могу!.. Подавай сюда инженера Клейста!..

— Правильно!.. Спец... инженер Клейст... Арестовать и отправить его в Чеку... Крысой зашился в норе... Бродит украдкой, как вор... Разве не полакал твоей крови инженер Клейст?..

... Инженер Клейст. Этот человек держал в руках жизнь Глеба и бросил ее палачам, как грязную паклю. Инженер Клейст... Разве жизнь Глеба не стоит жизни инженера Клейста? Это было тогда, а теперь опять столкнулись их жизни...

Горбатый Лошак в одном миге встретился белками с Дашиным взглядом и молча поднял руку.

— Товарищу Лошаку — слово.

Все шоркнули головами в угол, к горбатуму слесарю. Он всегда бьет не словом, а камнем, и слово его тяжело переносить.

— Как говорится, поставили от стола дело на попа, а горлодер грохает хабардой, так я хочу высказать. Мы, бунторобы, — пузыри: надулись и лопнули. Ставь человека на постав, как дело на попу, и человек, как говорится, поставит горы на поворот. Вот в чем буза, болвашки... Инженер Клейст — не шанс, а мокрица — не наковальня. Так хочу высказать. Пущай инженер Клейст припаял Чумалова в лоск. Ну, а какой рукой коснулся он другим часом Даши? Как он, инженер Клейст, ее, Дашу... которую изволок от смерти...

Даша рванулась над столом и толкнула в горб Лошака.

— Товарищ Лошак, обо мне прений нет... Заткнись и держи разговор по докладу. А коли нечем крыть—отшивайся на место:

Лошак через горб выпучил на Дашу белки, махнул рукой и опять откатился куском антрацита.

... Опять — Даша... Опять какая-то чортова переделка в загадке...

Глеб сдвинул салазки — думал и боролся с собою.

— Товарищи, если—так, дайте мне самому посчитаться с инженером с глаза на глаз. А сейчас оставим этот вопрос...

Рабочие утомленно вытирали пот рукавами рубах.

Даша поднесла бумажку к глазам и потом через бумажку оглядела ячейку.

— Товарищи, отнесемся к вопросу от Парткома строго и обязательно. Командировка членов ячейки на работы в колхозы.

И опять бомба взорвалась в ячейке.

— Не надо командировки!.. Здорово командировали!.. Бандитам на мясо. Это — убой, а не командировка... Мы — не скоты и не пойдем на бойню...

— Товарищи, вы же — ячейка, а не шкурники! Я — баба, а говорю вам — никогда, ни на час, не дрожала судьбой. Это вам хорошо известно.

— Тебе — охота, командируйся сама... да захвати гамузом и всех своих проклятых квочек...

— Вот чортова баба: она вяжет ячейку вожжами... Гони идиловых баб из ячейки!.. Жиж!..

Это — голос Савчука. Даже его голос не покрыл ералаши.

— Громаду командировать!.. Он зашился в завкоме...

— И Лошака, братва!.. Завкомцы богато поваляли лодыря..

Глеб вышел из-за стола на середину комнаты. Вышел спокойно, грузным шагом, с лицом из острых костей.

— Выделяйте меня, товарищи-коммунисты. Выделяйте мою жинку. Она дрыгнула вам слово — шкурники... и дрыгнула здорово... Я ходил не в такие мышинные гнезда. И каждый день три года я дрался со смертью. Вот чортовы козы, они припаяли вас круто к закутам...

— А чо ж ты был не убитый, Чумалов? Кто не видал крови за эти года?..

— Так. Чего не убитый? А я — живущий, как кашей бес-смертный... Я со смертью братался, как равный. А если вы видали кровь, так вы должны здорово знать, какие зубы у смерти. Хорошие зубы — похлеще дробилки! Вот! На! Гляди и любуйся!

Рвущими движениями содрал с себя гимнастерку, нижнюю грязную рубаху, бросил отмашкой на пол, и мускулы его от шеи до штанов при свете керосиновой лампы двигались под



кожей упругими желваками. А между ними, во впадинах, прыгали черные тени.

— Вам нужно полапать руками?.. На!.. Подходи и лапай...

И он тыкал пальцами и в грудь, и в шею, и в бока. И в тех местах, куда тыкались пальцы, багровыми и бледными узлами рубцевались шрамы от ран.

— Вам нужно, чтоб я спустил и штаны? Говорите — нужно? Ага!.. Я не стыжусь. Там тоже есть такие ордена. Вы хотите, чтоб за вас шли на работу другие, а вы будете спать в козьих норах?.. Хорошо! Я иду! Назначайте меня на эту кротовью работу...

Никто не подошел к Глебу. Он видел влагой налитые глаза, видел, как сразу все люди осели бурдючной кучей. Они смотрели на его голое тело в узлах и шрамах и, растерянные, оглушенные его словами, парились в банном поту и молчали, прибитые к месту.

— Товарищи!.. Это же — стыд и позор!.. До каких же разов, товарищи, эта наша разруха души?.. Товарищи!..

Громада задыхался, махал руками, извивался припадочно и бури своей не мог выразить в слове.

Один из бородатых рабочих встал со скамьи и с размаху ударил себя в грудь. У него тряслась голова, и глаза выпирали из век.

— Записывай!.. Катый!.. Я иду!.. Я не какая-нибудь сволочь поганая... Ну, три козы там, свинья с поросятами... тер плечи мешками... Что говорить: зарезались мы в своих берлогах, ребята...

И за ним тянулось еще несколько молчаливых тяжелых рук.

А Даша (она смотрела на Глеба застывшими глазами) взмахнула рукою.

— Товарищи, разве наша ячейка хуже других? Нет, товарищи!.. У нас рабочие хорошие... и коммунисты хорошие...

И первая захлопала в ладошки и блеснула зубами.

Когда все успокоились, и стало легко и просто, Даша ошаршила бабьим предложением сверх порядка дня:

— Товарищи! у нас есть пустые дома беглых инженеров. Предлагаю открыть детские ясли. Эта подлая, будь она не ладна, кухня... Свободная пролетарская женщина...

— Крой!.. Ну, и бабы!.. Кляют как курки, и ревут петухами... Прямо берут на урез нашего брата...

— Нет возражений?.. Принято... Споем Интернационал...

## 2

## Август Бебель и Мотя Савчук

От клуба до дому было близко — перевалиться через ребро горы — десять минут ходу. Глеб и Даша толкались плечами и переплетались руками в размашке. Черно-фиолетовые дали за заводом — море и городское предместье — были мглисты и тревожно-пустынны в призрачных искрах и облачных тенях. Вилась огненная веревка от маяка к заводу, рвалась, сплеталась в узлы, и капали звезды очень далеко над морем, и небо над дальними изломными хребтами было в павлиньих перьях.

Глеб и Даша шли молча — хотелось говорить, а молчали.

В горах, за городом, позади, на вершинах, над морем, вспыхивали, кружились, гасли и опять зажигались загадочные огни.

Даша дотронулась до руки Глеба.

— Видишь — огни? Это — бело-зеленые дают разговор по сигналам. Еще много заботы будет с ними. Много работы, и много будет взято нашей крови...

Вот. Сказала, и в этих словах была другая душа, — не та, не прежняя, которая искала покрова и ласки у его силы. Сказала, и эти слова были не те, каких хотел Глеб. Какую жизнь прожила без него Даша? Какая сила сделала ее душу отдельной? Раздавила эта сила прежнюю Дашу, и стала Даша больше Даши, а сила эта — непроницаема, неустранима между Глебом и ею.

Шла Даша споро, уверенно ступая ботами: не видно тропы, но она в ночи была зрячая, как кошка.

— А ну, Даша, расскажи, какая запятая была у тебя с инженером Клейстом? Это — что завернул Лошак...

Даша помолчала и взглянула через ночь в лицо Глебу.

— Это он о контр-разведке... Разве ты не знаешь?

— А разве ты мне говорила о своей жизни? Это полагается знать чужому дяде, а я ведь тебе — муж.

Даша усмехнулась, но Глеб не увидел этой усмешки.

— Ну, вот... была в контр-разведке, а Мотя упростила инженера Клейста... он дал слово — взял меня под поруку... Я была по зеленому делу...

— Ты была по зеленому делу?.. Ведь ты же на этом деле могла сгнубуть, как муха... И ты выдралась из лап этих бандитов невредимо? А ну, расскажи.

— Это — долгая басня. Придет добрый час, расскажу тебе все до конца. А теперь разве до этого, Глеб? Не могу же я с места в карьер...

И вдруг отошла от него в сторону и прибавила шагу. И в этих торопливых движениях почуял Глеб Дашину тревогу. Вспомнил: так же держала себя Даша по дороге к детскому дому.

— Ой, Дашок, ты что-то, я чую, дышишь не тою ноздрей... Крутит тебя какая-то заноза... Не свихнула ли тебя ненароком этакая шатия?.. Вашему брату нетрудно поставить хорошего петуха...

— Глеб... ты же не подлый человек, как я памятую?.. Ты сказал это от глупости... но в другой раз постереги свой язык, Глеб...

А в комнате — неприятной, с запахом плесени — она села к столу и вынула из газетного свертка книжки. Выбрала одну, подвинула лампу и оперлась головою на руки.

— Вот здорово!.. Какую это ты премудрость читаешь?

Не отрываясь от книжки, сказала сквозь зубы:

— Августа Бебеля... «Женщина и социализм».

— Ова!.. А эти, другие?

— А это товарища Ленина. Хочешь — возьми. Мы, коммунисты, должны шкарать себя учебой...

Даша читала старательно: шептала, глотала слюну, билась с трудными словами, прыгала торопливо по легким ступенькам... Спотыкалась, думала, царапала пальцами брови и опять читала.

В открытое окно влетала ночная мошкара, играла, вила живые ниточки около огня, зажаривалась на стекле и сеялась на стол, как пшено. В открытое окно, как мошкара, влетали звезды с черного неба, и капали тревожным вопросом вскрики пичуги в горных кустарниках — так-нет? так-нет? В открытое

окно из окна Савчука, тоже открытого, зазывно туманился тусклый размытый огонь.

Глеб встал и без шлема вышел из комнаты.

Савчуки уже ложились спать. На столе — остатки еды. Нужно было убрать их, вымыть посуду и — на бок. Мотя без кофты, в одном лифчике, копошилась у столика. Савчук, босой, кудлатый, как всегда, натужливо носил бездельное грузное тело — отпирал дверь Глебу, а теперь топтался у кровати.

— И какой тебя чертяка принес, идола, в темный час? Днем ты — барбос, а ночью скачешь блохой...

Это Савчук лаялся в ласковом раздражении.

Мотя стыдливо тянула на грудь и лифчик и рубашку, но грудь была широка и налита обильно.

— Ты — свой человек, Глеб... Я — по-ночному... Ты не станешь брехаться...

— Не стыдись, Мотя: я и без того знаю, что ты — баба. А от Савчука не возьму: Савчук — надежная крепость, его не прошибешь пушкой. Ну, говори, Мотя, какой у тебя мир с Савчуком.

— А что ж — Савчук?.. Он — злыдень хороший... Он у меня здесь вот, под пяткой...

— Да не бреши ты, идолова душа!.. А кому я вчера ремонтировал кости? Забыла?

Мотя сверкнула глазами и вскочила кошкой.

— Ты сам не бреши, кудлатая пакля... А ну, вспомни, кого я хлестала по морде?..

Глеб засмеялся — веселые ребята, эти Савчуки!

— Ну, как, Савчук, товарищ? Тебе строго воспрещается от этого дня трудить свои руки на Моте: готовь свои руки на другую работу...

Мотя ахнула в радости и подбежала к Глебу, не стыдись голых грудей.

— Да, да, Глеб... Ой, как надо работы!.. Коли бы была работа... Глеб милый... разве ж жизнь у нас не была бы от здоровой души?.. Была работа — были дыпчата, умерла работа — смерть коснулась дыпчат...

И со слезами на глазах отвернулась к столу.

— Ну, подлый Глеб!.. Ежели эти руки толкнутся в пустую дыру — не быть тебе живому! Завтра пойду в бондарню, —

узнаю, как будут петь песни мои девчата... Твоя жинка — чортова баба; крутила ячейку веревкой...

Мотя опять сверкнула глазами и посмотрела в нутро Глеба (только бабы одни умеют зарыться в нутро).

— Я не знаю, что — Даша... Но как же Даша бросила Нюрку отшибом, как щенка, на чужие руки? Баба без дитенка и гнезда — дикая баба. Она звала меня в свою шайку, а я ж разве — дура? Я скорее схохну, чем выкину свою грудь за окошко.

Савчук ударил кулаком по коленке.

— Это ж — чортова баба, твоя жинка!.. Она ячейку крутила веревкой, го-го!..

А Глеб зацеплялся за Мотю. Вот этих самых слов ждал от Моти Глеб. Поняла ли его Мотя, знала ли она оборот его жизни в эти прожитые дни с Дашей (только бабы одни могут зарыться в чужое нутро), — взглядывала она на него вспыхивающими глазами в полупонятном намеке. И будто не слышал последних слов Моти и ответил на слова Савчука:

— Это — верно: Дашка стала без меня молодчагой. И как она стала без меня такой бабой — не знаю: она — гордая и не хочет хвалиться своей судьбой...

В зрачках Моти спичкой загорелась злость, и Мотя замкнулась.

— Ты не приходи сюда, Глеб, с такими словами. Подвохи свои не показуй. Ты бросил Дашу на муки до смерти — и не можешь ее брать голыми руками. Не пытай — ведь ты же пытаешь, так? — ведь я же не дура... Коли она такая — не твоя на то воля. Ты же пытал ее — ведь вы же злыдни такие... ну, и обжогся — не правда?.. А я тебе не скажу, коли она не открыла себя своими словами... Нельзя рыть душу когтями, коли у тебя нет на это длинной руки...

Глеб смутился и засмеялся, чтобы скрыть свое смущение.

— Ну, и пронырная же ты баба, Мотя!.. Что правда — то правда: нет той Дашки, а какая с ней случилась пертурбация в эти года — так и не знаю. Чую: есть какая-то труппа у бабы. Может быть, она поскользнулась по бабьему делу? Пускай бы сказала: ведь я же — не злодей!..

А Мотя опять кувырнулась в глубь его глаз, и опять Глеб увидел, что Мотя и тут поняла его затаенную хитрость.

— Ой, Глеб!.. И не стыдно тебе, Глеб, брать меня на испытку?.. Иди, Глеб, домой и ложись спать. Не точи почем зря языком... Но только зачем она, Даша, — даже люблю я твою Дашу, Глеб! — только зачем она отдала Нюрку вариться в уютной каше? Нюрка была у меня... Ну, и пускай у меня... Как можно жить бабе без детей и без мужа?.. Вы же — ух, какие вы глупые, мужики!.. — вы этого в бабе не чувствуете...

А в сенцах, когда Мотя провожала Глеба, сжала она ему руку в темноте и тихо засмеялась стыдливой девочкой.

— Ой, Глеб!.. ты — свой человек... Ты же не знаешь, какая мне радость... ты же не знаешь!.. я буду богатая мать... богатая мать, Глеб!..

И потом в открытых дверях вздохнула от жалости к Глебу.

— Ой, Глеб... какая ж лихая судьба!.. Не жить вам с Дашей одною заклепкой... А так вам, барбосам, и надо: не бросайте своих баб на собачью судьбу...

Глеб застал Дашу такой, как оставил — за книгой: голова — на руках, и строгое, заботливое, рабочее лицо, и старательный шопот за книжной работой.

А как вошел он — оторвалась от книги и пытливо взглянула навстречу Глебу.

— Ну, что ты узнал у товарищей Савчуков?

Глеб подошел к ней вплотную, и лицо его задергалось от боли. Обнял ее и сказал не так, как говорил обычно. Не было Глеба, прошедшего бури войны: был Глеб, утомленный любовью и думой.

— Ну, Даша! ну, скажи же мне, голубка, свою душу... Ну, будь же ты прежней, ласковой... Мне лихо, Даша... Со мной ты — как чужая... и будто нож держишь за пазухой...

Даша не сказала ни слова, но почувствовал Глеб, что она дрогнула и обмякла нутром. Почувствовал, что прижалась к нему головой и плечом и стала опять слабой и милой бабой. И почудилось, что пахнуло от нее прежним молочным запахом и былою сладкой испариной. Но робко прижалась и боролась с собой, а собой не владела.

— Ну, если что было — так это же не суть... В лихой час это может случиться со всеми...

Оторвалась от него и вздохнула. А потом взглянула пристально ему в глаза, как Мотя, и сказала тихонько, с болью, ломая голос:

— Да... было... было, Глеб... и не раз это было...

Будто огромная рука отбросила Глеба от Даши. Будто лопнул надутый пузырь в груди. И звериная сила кровью и яростью налила кулаки и лицо.

— Так, значит, — правда?.. было?.. Таскалась с кобелями, как грязная баба?.. Поганая сука!..

Бешеный, поднял кулаки и, слепой, с выпученными белками, с одним огромным сердцем в груди, падающими шагами, быком ринулся к Даше. Но она быстро поднялась со стула и крепко стала на ноги и от этого сделалась выше и крепче на голову и грудь. И сразу срезала не бабьим голосом, а неслышанным взмахом груди животную злобу Глеба.

— Опомнись, Глеб!.. стыдись!.. что это такое!..

И замолкла, и только брови и глаза собрала в один черный сгусток. А когда он, отброшенный криком, застыл на шагу с прыгающими губами, она сказала спокойно и басовито, с сухой сипотой:

— Я тебя, Глеб, взяла на испытку. Ты не можешь быть человеком. Ты еще не можешь меня слушать, как надо... Так вот: мои слова я сказала, чтоб вывести тебя на чистую воду. Ты шпионил у Моти — разве я не знаю? Я хорошо знаю, чем ты дышишь... Ты — коммунист... Но ты — животный мужик, и баба нужна тебе раба, на подстилку... Ты — хороший вояка, а в жизни ты — плохой коммунист.

И она отошла к кровати готовить постели.

## ПОДПОЛЬНЫЙ ЭМИГРАНТ

## Спрятанная комната

Окно в массивных дубовых рамах не открывалось, и пыль с камноломен через щели и форточку бархатно и надежно ложилась на подоконник в междурамье, а по утрам, когда горы горели из недр сиреневым блеском, и брызги солнца скользили сбоку, через переплеты рам, — между стеклами летали радужные кристаллы. И технорук, инженер Клейст, стоял подолгу перед окном и смотрел на эти летающие миры, на излучение мигнувших геологических эпох, осязая сгущенную тишину комнаты.

И если комната отшибом брошена в глубину ломаного коридора, где день молчит вечерней дремотой, а ночь — черными пустотами и лохматыми тенями, то рабочая комната инженера Клейста кажется отрадно недоступной, далекой, как та вон каменоломня в ущелье, заросшая шиповником и держи-деревом.

Когда завод разрушен, и сизые проломы вырванных дверей и окон с бездонным вопросом смотрят на вулканические взметы гор, на отвалы щебня в террасах каменоломен, с разбитыми и заржавленными бремсбергами, — жизнь останавливается и разлагается на составные элементы — на хаос и покой. Почему же не быть техноруком на мертвом заводе, когда это ни к чему не обязывает и дает устойчивое равновесие времени?

Главное, не открывать дубовых рам в комнате и понять огромный смысл великой строительной работы пауков между стеклами. С некоторого рубежа между прошлым и настоящим инженер Клейст вдруг увидел глубокую красоту и значение



архитектурных нагромождений паутин в воздушных пространствах междурамы. Он подолгу стоял у окна, сутулый, длинноногий, с серебристым ершиком, и смотрел на жемчужную ткань тенет — на множество ажурных плоскостей в разных наклонениях и пересечениях, на бесчисленные радиусы лестниц, переплетов и сцеплений, насыщенных силой огромного напряжения.

В его рабочую комнату никто не заходил: кому был нужен технорук, когда завод могильно пуст, и цемент в сырых лабах давно превратился на века в чугунно-твердые болванки, когда разрушены бремсберги, порваны канаты, и вагонетки, сброшенные под откосы, проржавели под дождями в бурьяне и щебне? Кому нужен технорук, когда квалифицированные рабочие бродят бездельниками по шоссе, по тропинкам территории завода, по пустым корпусам и дворам — тащут клепки и обручи для топлива, медные части машин для зажигалок, ремни от трансмиссий?..

Там, внизу, в полуподвальном этаже, в полутьме нежилых конур, грохочет в топоте и криках завком, и инженеру Клейсту кажется, что это — таверна, притон бунтовщиков и разбойников. И из своего окна, сквозь пыльную муть стекол, он видит рабочих, спускающихся по бетонным ступеням спуска, с угрюмыми лицами, покрытыми пылью от голода и страданий и морщинами жестокого упрямства. Они заняты своим — страшной и непонятной игрой, — и им нет никакого дела до него.

Все слагается в его пользу силою его мудрой осторожности и умелой постановки простой математической задачи. Из своего обособленного угла он смотрит на них с насмешливым презрением и тревожной ненавистью. Все эти, изнуренные голодом и бездельем, существа принесли в бунте своем разрушение и великую трагедию — революцию. Это они раздавили его будущее, а мир сожгли, как обрывок пакли, и частицы прошлого забыли в этой спрятанной комнате.

Бетонная площадка и лестница спуска перед окном дымятся и плавятся в солнечном блеске. Кажется, что они горят белым накалом и вот-вот взорвутся пламенем. Льет вода на раскаленные поверхности, и она шипит и жвывает пузырями и паром в огне. Это трещат и взвизгивают раковины и выщербленный

цемент на площадке под ботами рабочих. Они муравьиным хороводом снуют внизу из дверей в двери, из завкома в завком.

Почему нужен теперь завком, когда раньше его совсем не было, а завод потрясал целый мир? Какие могут быть дела у рабочих, обреченных на безделье, среди обломков минувшего величаво-организованного труда? Зачем эта заботливая торопливость, если завтрашний день — такой же, как теперь, и за ним — нить таких же бестолковых дней, как в зеркалах повторного отражения.

Курьер Якоб приходит в комнату ровно в час с маленьким латунным подносом. Он входит молча и строго, важно сутулится, и седые усы шильдами, и голубая щетина на красном черепе прозрачны как стекло. Он ставит на стол стакан с чаем, крошечные таблетки сахарину в бумажке. Отступает назад на два шага. Наклоняется, шепотью бережно подбирает соринки с пола и заботливо кладет в проволочную корзину под столом. Стены опрятно белы, и архитектурные чертежи так же строго чеканятся в дубовых рамах, как и в прошлые дни.

— Уже час, Якоб?

— Ровно час, Герман Германович.

— Очень хорошо. Можешь идти. Ко мне никого не впускать.

— Слушаю-с!

— С окна только стирать пыль, Якоб, но рам не открывать.

— Слушаю-с!

Инженер Клейст стоит у окна спиной к Якобу. Серебряный ершик сердито хрусталится, резинами передвигаются вертикальные мускулы на шее, и старый пиджак оттопыривается хвостиком от низу до лопаток.

Где-то очень далеко, за коридором, пустые комнаты конторы пели одинокими голосами, и дыпльями цыкали счеты. Там были уже новые люди, присланные сюда Совнархозом. Кто они, что они там делают — инженер Клейст не знал и не хотел знать. У него оставалась забытая всеми рабочая комната, охраняемая Якобом, где есть только одно прошлое, пересекающее настоящее, не касаясь его. А настоящее мчится по шоссе автомобилями, телегами и людьми, толчется артелями рабочих, которые сорвались с цепи и научились бестолково

кричать и ругаться (раньше это строжайше воспрещалось дирекцией).

Он смотрит на круглое туловище горного сброса, иссеченного каменными пластами, забросанного кустарниками и можжевельником. Высоко, на ребре горы, массивными глыбами, огненными от солнца, в арках и башнях, грузной киркой, опрятно и строго, в пуританской чопорности, властно растет из горы замок из дикого камня.

— Что там теперь у них, Якоб? Как это называется?

— Рабочий клуб и ком-ячейка, Герман Германович.

— Они принесли с собою новый, непонятный язык. В их языке есть что-то убийственное, как в революции. Пожалуйста, не впускать в эту комнату никого и ни в коем случае не открывать окна. Можешь идти.

Он смотрит на дом директора (ком-ячейка!), любуется его колоссальной мощностью и вздыбленным величием. Этот дом строил он, инженер Клейст.

Налево, за ребром горы, в пятнах зелени и камней, прозрачно взлетают в высь железо-бетонные трубы завода (из окна они кажутся выше гор), канатная дорога, а под трубами, за канатной дорогой — купола и аркады заводских корпусов. Их тоже строил он, инженер Клейст. Он не мог эмигрировать за границу, не разрушив своих сооружений. Его создания стали на его пути неприступнее гор, неотвратимее времени: он стал их пленником.

Эта комната с глянцевым полом сохраняет аромат прежней простоты деловой лаборатории: чертежи на стенах, чертежи на массивном дубовом бюро, благородная важность резной тяжелой мебели готического стиля. Здесь остановилось время, и минувшая жизнь сгустилась до телесной осязаемости.

## 2

### В р а г и

Была ли допущена ошибка в логических построениях инженера Клейста, или с некоторого момента жизнь перестала подчиняться законам человеческого разума, но замкнутая орбита

обособленного мира инженера Клейста непоправимо лопнула и рассыпалась, как проржавленная проволока.

Еще час назад, когда Якоб своим обычным приходом утверждал неизменность обычного течения времени, все представление о жизни инженера Клейста четко выражалось строгой графической схемой — круг и касательная. В минуты блаженного покоя, безопасно скрытый за множеством стен, он сидел за письменным столом, над старыми проектами заводских построек и, охраняя традиционную чинность своего рабочего кабинета, бессознательно рисовал карандашом на английском блок-ноте один и тот же чертеж: круг и касательную — аксиома, верная при всех комбинациях.

И вот сразу все взорвалось и разлетелось вдребезги. Аксиома вдруг оказалась нелепостью: касательная превратилась в камень, раздробивший раковину. И оттого, что это случилось просто и тихо, душу инженера Клейста смял смертельный ужас.

Он ходил в уборную и задержался там дольше обычного срока: от недоброкачественной пищи у него часто болел кишечник. И когда возвращался коридором, увидел, что дверь в его комнату открыта. Этого никогда не допускал ни он, ни Якоб.

Рабочие стояли на площадке, смотрели на каменоломни и скользом — на его окно. Это было сейчас же после ухода Якоба. Тогда он почувствовал внутри легкий электрический разряд. Была тревога, но она была мгновенна и забылась. Теперь — открытая настежь дверь и — тоже электрический разряд. Но уже — ожог и тошнотное беспокойство.

Сохраняя холодную важность и привычную уравновешенность, инженер Клейст ровным шагом вошел в комнату. Он остановился у порога и не мог сразу понять, что случилось. Несомненно, совершился внезапный грубый сдвиг в его обособленном мире. Окно было открыто, и дымилась пыль над столом и подоконником. В воздушном провале окна четко и огромно резались медью ребра гор в пятнах весенней зелени и каменных отвалов. Очень далеко, на верхней террасе разработок, тонко ломался углами и карнизами маленький домик с двумя окнами. Спирали табачного дыма и обрывки паутины прозрачно сплетались в общем полете.

Стоял у окна с трубкой во рту бритый человек в шлеме, в гимнастерке и синих обмотках. Челюсти выпирались под ушами острыми шишками, и проваливались ямки на щеках, под скулами.

— Ну, и гнус же вы развели в своей норе, товарищ технорук!

И шлемом сбивал с косяков и рам паутину и бил ползающих очумелых пауков.

— А у вас здорово надежная баррикада, товарищ технорук. Но очень уж глухая нора—тупик какой-то. Это—последнее дело...

Разбитым шагом инженер Клейст прошел к столу. Был час, когда этот человек, истерзанный лобоями, обречен был на смерть и кровавой маской гримасничал ему в лицо. А теперь он неожиданно здесь и так странно и жутко спокоен.

— Да... я совсем не открываю окна...

— Правильно, товарищ технорук: сквозняк у нас ядовитый... Большевики, к чертовой матери, всю утробу вывернули буторью и искромсали все на преисподний манер. Окаянные люди!..

— Почему же о вас не предупредил меня Якоб?

— Вашего Якоба мы отправим на резку дров в бондарный цех: холоуи — не к быту нашей жизни. Вы меня должны помнить, товарищ технорук...

— Да, я вас помню... Пусть так, но что же из этого следует?

— А вот какая чертовня. Как говорите: в наших руках — диктатура пролетариата, а бьем хозяйственную разруху без рук. Рабочие, завод, транспорт — без топлива, бремсберги разбиты, завод — свалка, а следруки крысами забились в норы. Почему — паутина? и вы, и завод — в паутине? Вот как надо ставить вопрос, товарищ технорук.

— Предположим, что я поставил и разрешил эти вопросы. Что же вам от меня угодно?

— Да вот... Наткнулся на эту вашу баррикаду, на этот тупик самый... дай, думаю, кувырну эту кубышку... Чортова привычка, товарищ технорук...

— Я никогда не веду праздных разговоров. И то, что вы говорите, я не понимаю и не хочу понимать. Будьте любезны оставить меня в покое.

Глеб шагнул к столу, ухмыльнулся одной нижней челюстью. Вынул изо рта трубку и пристально поглядел на инженера Клейста. Отразились ли пауки в его глазах, или жуткие призраки задымались около Глеба, лицо инженера Клейста покрылось вдруг густым пыльным налетом.

— Товарищ технорук, вы помните тот прекрасный вечерок, когда вы меня здорово отличили и крепко помазали? Ваша баня была не легкого пару... Ну, такая баня, если черти не запарят, — впрок... Так вот... пришел к вам в гости — лясы поточить о старине... Люблю повстречаться со старыми друзьями, товарищ технорук.

Ткнул трубку в угол рта, встряхнулся, чтобы расправить мускулы, и засмеялся.

— А теперь скажу вам загадку, товарищ технорук. Малюсенькая такая, но горячая для интереса. Было четыре дурака по весне. Накрыли окаянные белые этих дураков и приволочили в эту самую комнату. А хари у них — не хари, а рваные калоши. Вопрос: на какой предмет волочили сюда рваные калоши, и как четыре мертвых дурака обратились одним живым? Оно верно: левая загадка, а ответ — ядовитый, а?..

И опять засмеялся веселым забавником.

— Это я так, больше для смеху, товарищ технорук: давно не видались...

Возвратился к окну, высунулся до заду и крикнул натужно, нутром:

— Гой, братва!.. Жди — выхожу... Загнул загадку товарищу техноруку... будь ты трижды неладна... ей-право!.. ядовито...

И голос его ухал издалека, могуче дрожал во всем теле. А артельные крики рабочих по-гусиному гоготали ближе, без слов, одним кашлем. Шипела вода на раскаленных площадках, взрывалась пузырями и паром. Опять подошел к столу и опять пристально, с ухмылкой, посмотрел на инженера Клейста: ждал ответа. Не дождался и, не оглядываясь, военным шагом вышел из комнаты.

Инженер Клейст сидел долго, изнуренный встречей с этим человеком. В открытое окно — провал в кратерные впадины гор. Распахнутая дверь — во тьму коридора. Тошнотная боль и потрясающие толчки, идущие изнутри. Опять вошел Якоб

с почтительной важностью и остановился посреди комнаты. Он был растерян, и лицо испуганно комкалось мятой бумагой. Инженер Клейст перевел на него лихорадочные глаза и спросил, очень тихо и строго:

— Это ты, Якоб? Не скажешь ли, как это случилось, Якоб?

— Моей тут нет вины, Герман Германович... Для них — нет запрета и запора... нигде и ни в чем... Их сила, Герман Германович, и их закон...

Присутствие Якоба — приятно. В его холодной преданности есть что-то успокоительное.

— Это та самая ком-ячейка, Якоб?

— Чумалов... слесарь... Примчался с войны, а теперь — верховодом. Завертел всем, Герман Германович, и берет на аркан. Разве теперь что против них устоит? С ног сшибут, Герман Германович...

— Не устоял и ты, Якоб?

— Не устоял, Герман Германович... Прискорбно, что и ваш режим он порушил...

Промолчал инженер Клейст, будто не слышал последних слов Якоба. Спокойно, с деловитой небрежностью, закурил папиросу.

— Но ведь ты помнишь, Якоб, — их тогда было четверо... Это было жутко и жестоко... Ты помнишь — ведь в ту ночь они были расстреляны... Я хорошо знаю, что они погибли...

— Их тогда, Герман Германович, забили... затерзали до смерти...

— Да, Якоб, — это ужасный случай, который не забудешь никогда. Но нужно здесь отметить одно, Якоб: я поступал тогда вполне сознательно, без всякого постороннего воздействия. Боязнь? Страх? Мечь? Этого не было... Есть только одна сила, это — время, а время — это события... Так же сознательно я делал все возможное, чтобы спасти жизнь жены этого рабочего.

Вздрагивала голова, и никак нельзя было ее удержать. Папироса между средним и указательным пальцами прыгала и не могла найти себе места.

— Побудь со мною, Якоб... Я чувствую себя немножко нездоровым...

— Домой бы вам, Герман Германович: вам нужен покой...

— Куда домой, Якоб? за границу? А не думаешь ли ты, что, может быть, мы с тобою, старина, проводим последние часы?

— Ну как это можно допустить, Герман Германович?.. Рабочие наши, пускай, — горлодеры, но они — смирные и никогда не способны на убийную руку. Будьте спокойны, Герман Германович...

А у самого, у Якоба, тряслась голова.

И как только сказал эти слова Якоб, откинулся на спинку кресла инженер Клейст, и опять лицо его покрылось бледной пылью.

— Ты помнишь, Якоб? Этого человека я отдал на смерть, но смерть рикошетом отражена в меня. Проводи меня, Якоб...

Он встал и сутуло, с ужасом в глазах, пошел мимо Якоба. Со старческой суетливостью Якоб взял шляпу и палку инженера Клейста и засеменял вслед за ним в ночную тьму коридора.

### 3

## Расплата

По тропе, раздробленной острыми пластами камней, засыпанной щебнем, через кусты кизила, туи и можжевельника, инженер Клейст поднялся на ребро горы. Внизу, во впадине, густой дымной тенью стекала из утробы ущелья ночная тьма. Она не рассеивалась ниже, у шоссе, в бетонах завода. Сады и стены наглухо преграждали ей путь, и она набухала густым черным туманом и осевшей тишиной. Мерцали фиолетовой пеной облака ясеней и грабов, еще безлистно прозрачных, а над ними, в полете ветвей, огромными дымными факелами капельно струились в высь тополя.

Прямо, под сползающей горой — упругие массивы заводских зданий. И за ними, выше крыш и башен, мутно хрусталилось море. Очень высоко небо пылилось опалом и звездами. На той стороне залива города уже не было, а мигали в черном сбросе горы большие и маленькие капли огоньков.

Все было далеко и чуждо. Близки и слиты с душою были только железо-бетонные гиганты, построенные им, инженером



Клейстѳм. В эту минуту в мире были только они — вздыбленная мощь архитектурных машин и он, их создатель, инженер Клейст. В это страшное время, когда потухший завод грозно молчал тьмою отверстий и ржаво коченел кладбищем машин, инженер Клейст блуждающей тенью бродил по рельсовым путям и лестницам, мимо стен и башен, и молчал одним молчанием с заводом.

В этот вечер он впервые увидел в проломных пустотах завода грандиозную смерть прошлого. Его графическая формула оказалась правильной: колесо событий неудержимо катилось по намеченному пути.

Странное столкновение с рабочим, Глебом Чумаловым, показало инженеру Клейсту, что путь этот совершен, и его жизнь дошла до своего предела.

... Нужно было в свое время взорвать завод и погибнуть вместе с ним. Это был бы хороший ответный удар — по закону противодействия.

Если его встретят сейчас по дороге — он совершенно готов. В сущности, теперь нужно сделать самое незначительное — взять и прострелить ему голову: предыдущий этап уже пройден. Надо только еще немного побыть среди этих сооружений, где жизнь его отложилась в кристаллах мощной суровой архитектуры...

Культуру какого мира несет с собою рабочий Глеб Чумалов? Воскресший из крови, он неотразим и бесстрашен, и в глазах его много жутки и силы. И когда сегодня, при встрече, улыбался Глеб, в его улыбке были непонятные глубины — знание того, чего не знал он, инженер Клейст. Этим насыщен был шлем Глеба Чумалова. И лицо и шлем сливались в одно.

Упрямое, жуткое лицо — упрямый, жуткий шлем.

Этот шлем утверждал грозное настоящее. И кроме шлема и лица Глеба Чумалова не было ничего.

Выхода нет. Он, инженер Клейст, готов. Лучше, если его убьют здесь, среди построек, чем дома. Эти гиганты и он нераздельны: убить его — значит разрушить вместе с ним и все эти храмы его жизни.

Над дальними горами, за городом, небо потухало остывающим желззом, и зубцы хребтов чернели крышами великого завода.

Была четкая, струнная тишина. Свистел и кричал где-то, очень недалеко, железный блок под усталыми руками. Испуганно вскрикивали кукушки на вокзале, в мутных далах, и где-то, в той же стороне, дрожало мерцающим звоном падающее железо.

Глеб стоял на площадке вышки, паутинно сплетенной из стальных полос. Когда-то отсюда подавался уголь в вагонетках в машинное отделение: вагонетки спускались по лифту в черную пропасть колодца и по туннелям канатной тягой отправлялись по рельсам к машинным корпусам. Теперь вышка была пуста, и за парашютом, в центре, бездонной тьмою зияло хайло провала.

До боли в пальцах он сжимал железные прутья барьера и смотрел на железо-бетонные пузыри корпусов, на пятидесяти-саженные трубы, улетающие к звездам, на звенящие струны канатов с застрявшими вагонетками, и молот челюстями до скрипа в зубах.

... Завод грохотал огненным адом. Дрожала земля от бешенства машин, а воздух горящими стружками брызгал от пламенных окон, от ослепительных вспышек вращающихся печей, от бесчисленных лиловых лун и динамитных взрывов горных массивов. Там, в бухте, у пирсов, стояли океанские корабли и бездонными утробами поглощали миллионы тонн свежего цемента. И с завода на пирсы, и с пирсов на завод летающими черепахами, со свистом и сиренным воем, вереницами реяли в воздухе вагонетки. Тысячи рабочих, как полчища чертей, горели в огне, дробили горы в щебень и пыль, дни зажигали серой и каменной гарью, а ночи пожарами окон и полыхающим пламенем.

Это было в прошлом. А теперь — тишина и великое кладбище. Травой заросли бремсберги, стальные пути и дороги к заводу. Ржа покрыла коростой металл, и упругие железо-бетонные стены зданий изранены проломами и размывами горных потоков.

Инженер Клейст шел медленно, часто останавливался и смотрел на многоэтажные кубы строений, как на гробницы

минувшей эпохи. Смотрел и думал. Шел, останавливался и думал.

Глеб перегнулся через перила и пристально вглядывался в размытую тень инженера Клейста.

Вот человек, которого он с наслаждением мог бы задушить этими руками в любой час, и этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он однажды в мстительной злобе отдал его на истязания и смерть офицерской ораве. И этого дня не забыть Глебу никогда, во веки веков...

... Рабочих завода выстроили на шоссе, перед зданием конторы (осталось немного: многие скрылись, многие ушли с Красной армией). Он и еще трое товарищей не успели бежать — застряли в уличных боях. Один из толпы офицеров, с нагайкой, — по бумажке называл фамилии. Нагайкой бил поодиночке и передавал другим офицерам. И те били — били нагайками и ручками револьверов. Смутно, скользом сознания, отметил Глеб надрывные крики рабочих, — тех, что стояли в рядах. Были ли это крики протеста, избивали ли их офицеры — не мог понять Глеб и только сквозь кровавые слезы на один момент увидел, как они разбегались в разные стороны, и за ними гнались с нагайками и револьверами офицеры. И когда приволокли их, четверых, с кровавым месивом в лицах, в рабочую комнату инженера Клейста, он долго смотрел на них, бледный, с трясущейся челюстью. Что-то вперевой по-армейски говорили ему офицеры, а он, потрясенный и притворно-холодный, молчал. Смотрел пристально на Глеба и молчал, и в глазах его видел Глеб брезгливое сострадание. И потом сказал тихо, с квакающей хрипотой в горле:

— Да, это — он... И эти... Да, да... те самые...

— Больше ничего не скажете, господин Клейст?

— Дальнейший ход действий — не в моей воле, господа: это дело — уже вашего усмотрения.

Их бросили в пустой лабаз и били до глубокой ночи. В прорывах сознания чувствовал Глеб удары — и легкие, далекие, не доходящие до боли, и огромные, потрясающие, разрывающие его по частям. Но и эти удары были безбольны и странно-ненужны: точно он был замурован в бочке, и кто-то бесцельно и озорно бухал ногами в ее барабанные стенки.

А когда он очнулся, была черная тишина. Он заползал, очумелый и не добитый, по лабазу. Наткнулся на склизкие от крови тела товарищей. Они были дрябло-холодны и пахли кишками и кровью. Ползая вдоль стен, он нашел широкую отдушину и вылез наружу. Спрятанный ночью и кустами, он дополз до дома, и больше его с тех пор не видел никто.

Этого не забыть никогда, во веки веков...

Вспомнил это Глеб и днем, когда был в комнате инженера Клейста, вспомнил и сейчас, смотря на него, блуждающего обреченной тенью по широкой площадке.

— Добрый вечер, товарищ технорук!.. Чем наше кладбище — не знаменитое? Много великих кладбищ по Республике, а кто нас может перещеголять?..

Инженер Клейст остановился и окоченел, но быстро оправился и стал всматриваться не в Глеба, а в черный пролом окон машинного корпуса.

Этот человек — вездесущ. Он не преследует его, а стоит на пути и потрясает его, как кошмар. Надежные паутины его мира были разорваны, и полотно других паутин не соткать: невозможно уже уйти от шлема и силы этого человека. С какого часа взял он над ним страшную власть? В былые дни этот рабочий растворен был в массе синих масляных блуз без своего лица и голоса и незаметно, как все, выполнял положенный труд — мельчайший элемент в могучем и сложном процессе производства. Почему теперь он, инженер Клейст, властный и сильный когда-то, уже не может ничего противопоставить грубой и дикой мощи этого человека? Где начальный толчок этого сдвига: тот ли момент, когда он отдал его на уничтожение, или сегодняшний час, когда он увидел его в своем рабочем кабинете воскресшим из прошлого?

Просто, как удар: то ожидаемое, которым он жил этот день, пришло и открывается перед ним узкой бездонной пропастью.

— Поднимитесь сюда, товарищ технорук: сверху могила — глубже... Бродите вы, брожу и я... каждый день... А что толку?.. Будьте любезны подняться, товарищ технорук.

Логика событий знает только одно: беспощадный конец и неумолимое начало. Случайностей нет: случайности — это иллюзии. С тошнотной болью в области сердца, весь растворенный

в ужасе, инженер Клейст (время клубилось удушливой тьмой) долго взбирался по звонно дрожащей лестнице и в обреченности своей сохранял привычную важность и молчаливое спокойствие.

— Берегитесь, товарищ технорук: тут — бездонная утроба, будь она проклята... Дрызнешь и — вдребезги... Понастроили вы чортовых дыр... Это — ваша работа...

Инженер Клейст ответил холодно и строго:

— Мы строили на века — крепко и разумно. А вы превратили все в хаос и развалины.

— Ну, и дали ошибку, товарищ технорук: громоздили, громоздили — все для себя... непобедимую крепость... а оно не выдержало и — грохнулось. Грош цена вашему разуму... Где ваши эти нерушимые века?

Пыхая трубкой, Глеб казался огромным, чугунным в сумеречной мгле. И оттого, что он был спокоен и прост и так примитивно значителен в своих словах, инженер Клейст почувствовал, что он уже не может уйти от этого человека, и грядущие минуты растворены в одном только коротком взмахе его руки. Парализованный, инженер Клейст стоял, прямо опираясь на парапет спиной, и голова его подбрасывала шляпу редкими срывными толчками.

— А, между прочим, поглядите на завод, товарищ технорук: какой богатырь и красавец!.. Оживить это кладбище... зажечь огнем и заиграть музыкой на всех проводах и канатах... Великое чудо это, строительство!..

С привычным военным выгибом груди, вцепившись в железо барьера, Глеб долго смотрел на черные глыбы корпусов, подавленный их массивным величием и глубинным молчанием. Кости ли заскрипели под его гимнастеркой, или челюсти сорвались зубами на скрежет, инженер Клейст услышал нутряной стонущий вздох:

— Могила... братское кладбище, будь ты трижды проклято!..

Почему стоит здесь этот мосластый инженер с прыгающей шляпой? Почему он молчит так замкнуто и обреченно? В нем есть что-то общее с заводом — гнетущее и жуткое. А прошлое — это его муки, муки и смерть товарищей. Этого не забыть никогда. Смахнуть его вверх тормашками в бездонную пропасть...

Две туго натянутых канатных струны взлетают под крышу, к электромоторам. Это — змеинные языки, а голодное хайло просит жертвенной пищи.

Скользом взглянул на него Глеб и не почувствовал мстительной боли.

— Так-то, товарищ технорук!.. Здорово вы насобачились строить памятники. Когда умрете, для вас приготовлена могила: видите эту дыру?.. Спустим вас на вагонетке и упрячем под самой высокой трубой...

Теряя сознание, инженер Клейст выпрямился и оторвался от барьера. Ныли внутренности и мучительно растворялись в холодной влажной пустоте. Животный крик застрял в горле хриплым, задавленным стоном: челюсти спаялись в одну костную массу до жгучей визгливой боли в мозгу.

— Вы... вы, Чумалов... ради бога... делайте скорее, что нужно...

Глеб вплотную подошел к инженеру Клейсту и весь налился напряжением и жаром.

— Товарищ технорук... будет валять дурака!.. Головы нужны... руки нужны... Разогреть и грянуть!.. Уголь и нефть... Тепло и хлеб рабочим... Экономический подъем Республики... За горами — великие бунты дров в лесосеках... Не лошадиной силой, а механизмом завода... И тысячи — миллионы кубов... Вагоны — на территорию... воскресники... Тысячи мускулистых рук и спин...

Он вцепился в плечи инженера Клейста и тряхнул его в радостном порыве, и в его руках инженер Клейст болтулся чучелом. Шляпа свалилась с головы и ночной птицей закувыркалась вниз, во тьму.

— Шабаш, товарищ технорук! Мы вас возьмем в хорошую упряжку. Мы крепко доказали нашу силу. Ваши мозги и руки — золото. Такой строитель, как вы, — великий спец Республики...

В последней изнурительной борьбе за жизнь нутром понял инженер Клейст, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясающего события — стоял, странно пустой, обнаженный, с одним рвущимся сердцем.

Глеб ударил кулаком по железным перилам, и переплеты полос грохнули звоном и рокотом.

— Ну-с, берите мозги ваши в руки, товарищ технорук, и приступайте к работе... Не таких еще великанов понастроим. Как эти... Новый мир, товарищ технорук...

Инженер Клейст сутуло семенил и ловил дрожащей рукою воздух между собою и Глебом. Потом ослабел и размяк.

Глеб крикнул и забрякал ботами по железным настилкам.

## ПРЕДЫ

## 1

## Малый узел

У дверей кабинета предисполкома, на стуле, сидел бородатый курьер в гимнастерке и серой шапке времен империалистической войны. Волчьим поглядом из-под волчьей шерсти бровей встретил Глеба. Мохнатые пальцы по привычке оплетали латунную ручку двери. Так охранял он вход в кабинет предисполкома каждый день от 10 до 5, не сходя со стула, даже в то время, когда предисполком уезжал по делам. Были ли это люди с деловыми портфелями, или, робко вытянув шею поптичь, входили безвестные просители, — через серую шерсть волчьих бровей волчьим поглядом одинаково недоступен был немой, угрюмый страж, и каждый покорно соблюдал свою очередь или ломал ее через секретаря Исполкома.

Стояли в очереди люди во френчах, с портфелями, без портфелей, с бумажками и без бумажек, покорные и злые — знали: нельзя пройти в кабинет через лютого дядю с волчьим поглядом и волчьей шерстью в бровях.

Ремингтоны рассыпали металлическую дробь где-то рядом, за дверями, и горласто кричал с хриплым надрывом обветренный голос:

— Стыд и страх, товарищи!.. Бюрократизм и волокита засла... Разогнать вас надо к такой матери... перестрелять, как чекалок...

Глеб подошел к двери, и он и курьер молча поглядели друг в друга — один из-под шлема, другой из-под ключев волчьей шерсти.



— А ну-ка, кудлатый, убери свою руку!..

Всколыхнулись в очереди люди, зашебутили на Глеба: разве он лучше других, — лезет первым к двери? Если они покорно ждут очереди, почему же ему не разделить по всем правилам их участи?

Там, в кабинете, — тихо. Дверь плотно, надежно закрыта, и хлебом приляпаны бумажки: «Без доклада не входить». Ниже: «Предисполком принимает только по строго деловым вопросам». Еще ниже: «По экстренным делам прием вне очереди только через секретаря Исполкома».

Чортова машина! Чтобы заставить ее работать, ее надо сломать.

Глеб прошел в секретариат. Там — банная буторь: опять толпежная очередь. Машинистка стрижет стрекозиную чепуху и кашляет регистраторами. Барышни сидят за старенькими столиками над бумагами и гложут черный пайковый хлеб. К потной сралаши привыкли — наплевать. Как всегда, эта фарфоровая блондинка смотрится в зеркальце и чешет пальчиком волосы.

Не потому ли секретарь Пепло — в седых кудрях, с лицом юноши — смотрит на сизые лица и румяно улыбается? Он улыбается неудержимо, с искрой, и зубы у него ровные, сахарные, с играющими пузырьками слюны.

Знает всех Пепло, слушает человеческий содом. Знает все секретарь Пепло и курит — не торопится: все дела — однолики, они все — бескрылы.

И только горластый обветренный голос то в том, то в другом конце комнаты покрывал этот гомон вагонно-одурелой толпы:

— Крыть вас всех надо, чертей, мухотеров!.. Без хомута запрягли рабочего человека в двадцать две горы... Башку нужно рогатую, чтобы прошибить жеребую вашу бюрократию... Я вас всех разменяю на мелкую монету: не будете распинать рабочий класс...

И эти выкрики безответно глохли, а секретарь Пепло румяно улыбадся. Должно быть, — привыкли к таким скандалам: ведь машина шла полной пружиной, а бунт и бешенство граждан были надежной смазкой для механизма.

Распаренный Жук, с слезою в глазах, гулял, как одержимый, по канцелярии и горбился на шагу от насадной злобы.

Глеб сцапал его за руку и сдернул ему кепку на затылок.

— Гляди веселее, Жук! Не вой барбосом и не стреляй руками.

Жук пьяно облизал Глеба мясными глазами, вздрогнул радостью в лице, махнул рукою и осекся.

— Эх, душа Глеб, дорогой товарищ!.. До чего же мне при-  
скорбно глядеть, как скрутили рабочий класс... Житья им не  
дам, доколе буду страдать на сем свете... Мне нет дела в этих  
местах, а дело рою... Был в Совнархозе — бурда... был в Прод-  
коме — бурда... Везде — бурда... И тут, будь ты проклята, бурда...  
Вот и хожу, крою, как сукин сын...

— Жук! Бзда ты, товарищ!.. Бей делом, а язык — липовое  
оружие.

— Я?.. Чтобы—я?.. Да мать твою так... Я их всех на чистую  
воду выведу... Всех к стенке поставлю...

— Надо дать тебе какую-нибудь работу, Жук, а то ты  
бьешь холостежем... Имей в виду: подберу тебе хомут по твоему  
характеру.

— Нет, брат Глеб, дорогой товарищ, они еще меня узнают...  
Я еще им докажу 18-й год...

Погрозил кулаком потолку и пошел к выходу рыхлым шагом.

Минуя очередь, Глеб продрался к секретарю Пепло, а вслед  
ему крысились и скалились люди в толпе.

— Товарищ секретарь, прошу доложить predisполкому...

Секретарь Пепло посмотрел на него с румяной улыбкой.

— Станьте в очередь здесь и потом в очередь — там...

— Товарищ секретарь, вашу очередь — к чорту: у меня —  
дело... экстренное... Извольте немедленно доложить.

В румянном изумлении Пепло вскинул кудрями.

— Экстренное? Какое дело?.. По какому поводу?..

А из толпы обалдело кричали:

— И у меня—экстренное... экстренное... Что это за безобразие!

Секретарь смотрел на него и улыбался с искрой. И уже не  
слушал его, а слушал других. Глеб выпрямился, выгнув грудь,  
и глаза у него стали такими, как у Жука. Взмахнул кулаком  
и широкими шагами пошел к двери, путая очередь. В кори-  
доре Глеб напёр на лохматого дядю и вошел в кабинет пред-  
исполкома. Вошел и раскалился ослепительно солнечным дымом.  
Сквозь огненные снопы только алыми вспышками больно

плескались в глаза густые волны широких полотен да белели далекие грани прозрачных стен.

— В чем дело, товарищ? Почему вы врываетесь, когда нет приема? Я занят.

Не видно было Глебу, кто говорил за солнечной занавеской, но сразу заметно, что человек—не пешка, и голос у него был металлически-трубный. Глеб вышел из солнечной пыли, и все оказалось обычным и привычно близким: и письменный стол, как опрокинутый шкаф, и человек в черной коже, напирющий грудью на стол, смуглый до отлива бронзой. И другой человек, в черкеске, при кинжале и револьвере, стоит у стола и опирается рукою на стул. Пальцы вцепились в спинку до белизны, и спинка дрожит вместе с пальцами, и лицо у него подергивается жилочками у глаз, у рта, у скул. Белки, выпирающие из век, и черкесский нос—от тех молодцов, какие были в «чортовой сотне»: эти ребята на войне разделявали чудеса, и шашки их никогда не высыхали от крови.

Глеб по-военному приложил руку к шлему и сел на стул около стола, напротив предисполкома. Оба—предисполком и он—взглянули друг на друга в молчаливом упоре. Лоб предисполкома лопатой надвинут был на глаза. Он не смотрел на человека в черкеске и сразу же забыл о Глебе. И говорил четко, глухо, в стол, в свои смуглые руки с черными волосками на суставах.

— Ты это крепко запомни, Борщий: если ты в течение месяца не проведешь кампании по сбору дополнительной нормы продразверстки и провалишь сентябрьский возврат семсуды, я поставлю тебя на мушку. Я не говорю слов зря. Это ты хорошо знаешь. Как вопредисполком, ты мне ответишь за всех. Это запомни.

Борщий порывался сказать, крутил белками, и челюсти изо всех сил старались перегрызть зубы:

— Товарищ Бадьин... Я—такой же коммунист... Я протестую...

Голос—не ломкий, а сорвался на хрип. И предисполком так же глухо, холодно, грузно приглушил его слова.

— Вот я тебя, как коммуниста, и посажу на мушку, если задание не будет выполнено. Вы там, в куркульском районе, разводите склоку и поддаетесь кулацкой стихии.

— Товарищ Бадьин... ты должен выслушать... Вопрос о сложении возврата до будущего года... Ты должен знать положение... Продразверстка производится с осени четвертый раз... Землеробы подохнут с голода... {И мы такими мерами сами же разводим банды бело-зеленых... Нас перережут до последнего... изрубят, как говядину...

— Так. Пусть изрубят вас, как говядину, но задание ты должен выполнить точно и к сроку.

— Товарищ Бадьин... Я прошу поставить на повестку дня... Я докажу пленуму Исполкома...

Бадьин выпрямился и сверкнул складками кожаной куртки.

— Борщий!..

Встал и медленно повернул голову к казаку.

— Волпредисполком Борщий!..

И улыбнулся, и от этой улыбки—почудилось—треснули кости.

Борщий отступил на один шаг и выпрямился. В глазах всплеснулись капли влаги и огня. И вместо голоса захлебнулся хрипом.

— Товарищ Бадьин!.. Кампании будут проведены... Я сделаю все... Но это будет мясорубка, товарищ Бадьин...

— Не плачь. Получишь в помощь Салтанова, начальника окружной милиции.

И сел. Больше не сказал ни слова — забыл о волпредисполкоме Борщие. А он, Борщий, вояка «чортовой сотни», исковерканный, укрошенный, взглянул раз за разом на Бадьина в последних попытках к борьбе и быстро вышел из комнаты разбитыми шагами. Бадьин опять, под тяжестью лба, быком уткнулся в шерстистые руки.

— В чем дело, товарищ? Говорите короче.

— Рабочему человеку пробраться к вам, товарищ предисполком, так же туго, как взять Перекоп.

— Что вам угодно? говорите конкретно.

Сцепились глазами, отчужденные, почувывшие силу в борьбе. Каменная, холодная неподвижность предисполкома давила Глеба; а Глеб упрямо и сумбурно дробил тишину и деловой административный порядок булыжными словами.

— Вашего кудлатого дядю я в другой раз сцапаю за ноги и выброшу в окно. Такое генеральство нам — не к лицу.

Бесстрастно, с неотразимой властью и угрозой в глазах, Бадьин сказал не Глебу, а в глубину живота:

— Товарищ, за хулиганство я вас сейчас отправлю под арест. Кто вы такой?

И встал. Оперся руками на стол, и стол заскрипел и погнулся под его кулаками. И как только сказал эти слова предисполком, Глеб исковеркал лицо, с грохотом отодвинул стул и весь переломился к Бадьину. Надавил обеими руками на его плечи и заорал на всю комнату:

— Товарищ предисполком, с вами говорит рабочий завода! Будьте любезны садиться! Вы не имеете права гнать рабочих из своего кабинета.

Бадьин дернул щекою, и из-под толстых губ блеснули зубы в улыбку. Сел. Вынул из кармана пачку папирос. Закурил и подвинул Глебу.

— Я слушаю. Говорите толком и сразу, что вы хотите. Как ваша фамилия?

Сел и Глеб. Не посмотрел на папиросы, а вынул свою красноармейскую трубку.

— Ячейкой и собранием рабочие завода решили доставить дрова из лесосек за перевалом механической силой, по бремсбергу. Технорук завода даст чертежи и план работ. Два — три воскресника на все профсоюзы, и мы спустим к вагонам горы дров. Сколько до осени спустим дров — посчитайте. Дровяная повинность — это ерунда: мужики разбегутся в бандиты. А на баржах побережья не взять: баржи погнили и, к чертовой матери, разбиты волнами. Вот. Моя фамилия — Чумалов, слесарь завода, военком полка.

Бадьин протянул ему руку и опять дернул щекою, блеснув зубами в улыбку.

— Вот это — серьезное дело, которое нужно обтяпать. Скажите, Даша Чумалова — ваша жена?

Глеб, занятый трубкой, разодрал углы глаз острой глядкой в лицо Бадьина и скользом — на его руку, и с треском на швах гимнастерки, колесом сунул через трубку свою руку.

— Я — не к тому, товарищ предисполком. Я имею в виду другое. Что вы думаете о пуске завода, если возникнет вопрос в порядке очереди?

Бадьин немигающим взглядом смотрел на Глеба, и в глазах его вспыхивали золотые искорки. Отвалился на спинку кресла. Веки заиграли в судорожной дрожи.

... Глеб Чумалов, без вести пропавший муж. Даша, которая не похожа на других женщин. Даша, к которой однажды протянулась его рука. Не было бабы, которая не ломалась бы под его глазом и руками, как былинка, а тут была стальная пружина, которая больно ударила его в самое нутро. И оттого, что эта женщина, поводырь городских пролетарок, каждый день упрямо сколачивала боевые бабьи отряды и сама утверждала свое место среди мужчин, — предисполком Бадьин не в силах был подойти к ней так, как он подходил к другим женщинам. И Бадьин каждый день думал о том, с какой стороны подойти к Даше и переломить ее с одного удара.

А вот тут, рядом, глаза в глаза, человек, ставший так неожиданно между ним и этой женщиной.

— О заводе пока помолчим, товарищ Чумалов. Пусть завод — не в нашей власти. А вопрос о сооружении бремсберга я поставлю на ближайшем заседании Экоса.

Глеб в изумлении опустил трубку к коленям. Опять всунул в рот и встретил глаза предисполкома. Что было в глубине этих глаз — не мог схватить и оформить Глеб: взмахом волны прошла через них черная муть.

— То-есть как это — не в нашей власти? Ведь это — позор: завод не освещает даже своих закоулков, не говорю о квартирах рабочих. Всюду — разлом: ни дверей, ни окон, а если есть двери, так вместо замков — простая веревка или проволока. Как же вы хотите, чтобы завод не расхищался по частям или гамузом? Кто плодит такую разруху: вы или рабочие? На завод идут наряды жидкого топлива. А где эти наряды? Рабочие хотят знать, какое хайло глотает эти наряды. Видите, какая хабарда? Скажем, перемол клинкера... Несметное богатство прежней разработки сырья... А лабазы — пустые... а клепок — горы.. Организуйте подготовительные работы... Вы кричите о лодырях и бездельниках, а сами плодите дармоедов и вольтыжников. Этот ваш Совнархоз надо пришить к стенке — и ответработников и всю спецовскую шатню — за бесхозяйственность, как

злостных врагов Советской власти... Вот как надо ставить вопрос, товарищ предисполком.

— Товарищ Чумалов, мы умеем ставить вопросы не хуже вас. Надо исходить из конкретной обстановки. Помимо Госплана мы не можем решать самостоятельно вопросов, имеющих общегосударственное значение.

— Я понимаю общегосударственное значение, товарищ предисполком. Я и говорю об общегосударственном значении. Если вы варите лапшу в Экосо, почему не выдвигали там вопрос с этого боку.

— Придет время, поставим вопрос и с этого боку, товарищ Чумалов. Все зависит от перспектив новой экономической политики. Этот момент — не за горами.

— Товарищ предисполком, телефоньте к Совнархозу...

— Зачем же телефонить, когда это — бесполезно?

— Телефоньте к Совнархозу, товарищ предисполком. Мы будем говорить с ним серьезно. Я хочу постучать в его черепок на ваших глазах.

— Хорошо, будем говорить с ним о бремсберге.

Бадьян завертел ручкой телефона, и опять в глазах его, сквозь холодную насмешливую улыбку, прошла черная муть. А Глеб не глядел на него, пыхал трубкой, уминая пепел на копотном рыльце.

... Две силы — он, предисполком, и рабочий Чумалов — столкнулись и высекли искру. Что горит в глубине глаз этого человека? Зверь? Герой? Ревнивый самец?

— Всякий хозяйственник, товарищ Чумалов, тем ценнее, чем больше и крепче он ставит свою работу на то, что у него горит под пяткой. Правило: не целое, а — часть; не сказка, а — кусок хлеба. Вы знаете, что нам угрожают бандиты? Они окружили нас волчьим гнездом. Борьба с ними требует затраты тех сил, которые до зарезу нужны для восстановления хозяйства. Нужен новый метод борьбы с ними и новые диспозиции. Ваш проект о пуске завода — нелеп: вы не учитываете хозяйственной конъюнктуры. И если вы сумеете сейчас поставить снабжение города топливом, вы совершите настоящий героический подвиг.

Глеб вынул трубку и в упор посмотрел на Бадьяна. Почему этот черномазый не понимает самых простых вещей?

— Вас, товарищ предисполком, заели блохи, и вы гоняетесь за каждой с молотком. Надо дело ставить сразу на пузо: Красная армия махала тысячи верст и била по целым антантам, а ваши кусочки плодят только дармоедов. А что вы конкретно сделали для восстановления производства? Ничего. Этот вопрос надо ставить в упор и во весь обхват... сейчас же... сразу... без передышки...

Глеб широким взмахом очертил полукруг и поставил его твердым куполом перед собою.

— И это я знаю не хуже вас, товарищ Чумалов. Мы об этом говорим на каждой партконференции, на съездах советов и профсоюзов: производительные силы, экономический подъем Республики, электрификация, мелнирация и прочее. А где у вас для этого реальные возможности?

— Есть.

— Укажите их.

— Есть. Вы знаете, на что давит сейчас рабочий? А чем дышит мужик—вам известно? Мы только топтали мужицкие поля, а теперь их надо пахать. Пока не задымят трубы, мужик будет бандитом.

Предисполком усмехнулся, и в глазах его потух огонек любопытства.

— И это — не ново, товарищ Чумалов. Об этом на-днях будут говорить на X съезде партии.

— Ага, вот вам и не ново... А все-таки горит под пяткой? так?

Этот рабочий настолько же упрям, насколько наивен и близорук. Это — те демагоги, которые мешают нормальному ходу сложной работы по управлению краем. Эти одержимые мечтатели из образов будущего создают трескучую романтику настоящего, изъеденного разрухой...

Предсовнархоз вошел с портфелем, весь в желтой коже от картуза да ботфорт, с рыхлым лицом скопца, с золотым пенспэ на бабьем носу. Не здороваясь, он сел у стола, лицом к лицу с Глебом, и застыл в позе напряженного нечеловеческого спокойствия. Он не двигал ни головой ни руками, и даже глаза у него были стеклянные — глаза восковых фигур из паноптикума: все подделано под живое, а сам — чучело.

— Слушай, Шрамм: что может предпринять Совнархоз, если на-днях будет поставлен вопрос о частичном пуске цементного завода?



Шрамм будто не слышал предисполкома. На его лице не дрогнул ни один мускул, и когда сказал, губы его почти не шевелились. На вопрос Бадьина он не ответил, а с четкостью официального рапорта, медленно, без передышки отбил граммофонным голосом так:

— Совнархоз проделал за это время огромную работу: он учел и сохранил государственное имущество—от сложных машин до старой подковы. Мы ни одного гвоздя не позволяем тратить из хранилищ и не трем машин, несмотря на горы проектов и предложений, исходящих от разных предприятий и частных лиц.

— Все это—хорошо. Но теперь придется Совнархозу из скопидома стать предприимчивым хозяином. Твоему аппарату предстоит заработать в ударном порядке.

Лицо предсовнархоза оставалось попрежнему тусклым, нечеловечески напряженным и скопчески рыхлым.

— Совнархоз получает всякие задания и планы только от Промбюро.

Предисполком угрюмо и жестко скользнул по нем взглядом и всю тяжестью навалился на стол.

— Ты прячешься за спину Промбюро, чтобы охолостить Совнархоз. А ты знаешь, что у тебя делается в обоих этажах? Из писанных твоих докладов видно, что ты развернул свою работу по линии учета и переучета. У тебя—бесчисленное множество отделов, и штаты—до двухсот человек, а творческой работы—никакой. Какие у Совнархоза предположения на ближайшее будущее относительно мастерских, заводов и предприятий?

— Совнархоз стоит на той точке зрения, что нужно прежде всего сохранять народное достояние и не допускать никаких сомнительных предприятий.

— Как у тебя работает Райлес?

— Это меня не касается, или, вернее, имеет косвенное касательство. Там есть свой аппарат, который находится только под моим контролем.

— Какие же у тебя есть данные о работе Райлеса?

— Идут плановые заготовки в лесосеках.

— А доставка топлива на места?

— Совнархоз здесь—не при чем: это—дело Крайтопа.

— Ну так вот что, Шрамм. Город, предместья и транспорт должны быть насыщены топливом до зимы. Должна быть немедленно пущена электростанция завода, и сооружен бремсберг на перевал. Совнархоз должен выполнить это задание спешно, механической силой завода.

— Это дело — не мое, а Промбюро. Прикажет Промбюро — приступим к выполнению.

— Это дело наше, а не Промбюро, и мы его выполним без санкции Промбюро.

Впервые по лицу Шрамма легкой тенью прошла болезненная судорога. Но глаза попрежнему оставались стеклянными и немигающими.

— Каковы наряды на жидкое топливо на долю завода?

— Наряды поступают неправильно. По отчетным данным, до 30% утечки. Из заводских запасов по нарядам, находящихся в резервуарах нефтеперегона, с разрешения Промбюро, приходится уделять некоторую часть паровым мельницам дополнительно к их нормам. Что касается электрификации завода и сооружения бремсберга, то это не входит в план настоящего года, утвержденный Промбюро. Вопрос этот нужно предварительно передать в Госстрой и промышленный отдел для разработки и составления надлежащих смет. При чем я буду решительно возражать против этого проекта, который ведет к расхищению народных денег и народного имущества.

В глазах predisполкома вспыхнули огненные капли.

— Ты не будешь возражать: мы сумеем тебя заставить — это знай. На предстоящем заседании Экосо — твой доклад. А теперь — вопрос: известно ли тебе, что охраняемое тобою народное достояние открыто расхищается?

Лицо Шрамма налилось кровью, и глаза покрылись мутью.

— Это мне неизвестно. По результатам переучета, все состоит в наличии.

Бадьин улыбнулся так же, как улыбнулся вопредисполкому Борщю.

— Да, ты — прав: это потому, что Совнархоз стоит на точке зрения формальной охраны народного достояния.

Шрамм в страхе глядел на Бадьина и никак не мог осмыслить, что сказал ему predisполком. Глеб выбил в пепельницу

пепел из трубки. Узел первый, малый узел, завязан. Другие готовы на очереди. Встал и протянул руку Бадьину. Встретил в глазах его улыбку, и улыбка эта была без вспышек на лице.

— Товарищ predisполком, кишки порвем, поломаем кости, а свое дело сделаем.

— Действуйте, товарищ Чумалов. А вопрос о пуске завода мы обсудим в свое время.

Глеб по-военному стал перед Шраммом.

— Это ваше Промбюро я посылаю к чорту в затылок. Мы хорошо умеем выбивать пух. Весь Совнархоз вместе с вами мы пошлем чистить сортиры. Волокита и плесень родится в болоте, а болота мы тоже сумеем высушить.

Предсовнархоз посмотрел на него с изумлением. Кровь отлила от лица, и муть растаяла в глазах. Лицо опять стало нечеловечески-напряженным и спокойно-рыхлым.

— Прошу без угроз, товарищ. Мы не принимаем никаких проектов, исходящих со стороны. Те же проекты, которые поступают к нам, мы храним для истории без рассмотрения. Мы — враги всяких сомнительных предприятий и планов. Нужно отбить охоту ко всяким новым авантюрам у наших товарищей, и это будет надежная гарантия от всякого рода дезорганизаторских увлечений.

Глеб зесмеялся. Воткнул трубку в рот, взглянул на Бадьина и опять встретил улыбку, скрытую внутри глаз.

— Наши боты воняют пылью, товарищ предсовнархоз, и у них на подборах железные гвозди. А руки знают винтовки и молоты. Вы это должны чувствовать, как коммунист. Вы — коммунист, а не имеете рабочей политики. Вы не нюхали ни пороху, ни рабочего пота. Начхать мне на вашу машину... У вас там целые полки крыс. Они здорово наточили зубы на бездельных советских хлебах. У вас — шито-крыто, по часам, колесикам и чертежам, а мы насобачились нюхать и крыть хорошими барбосами.

У Шрамма опять налились мутью глаза, и он переломился в спине:

— Товарищ Бадьин, я требую...

Но Глеб уже не слушал—шагал через огненные полосы к двери. К Чибису! Никто так не нужен теперь, как товарищ Чибис.

## 2

## Глаза, которые видят по ночам

В маленьком кабинете с открытым окном (густой свет не умещался в стенах комнаты) Чибис и Глеб сели у тяжелого бюро. Чибис будто улыбался и не улыбался — лицо было за сеткой. Будто открытый, с шалостью в бровях: вот-вот сейчас зальется смехом. И будто — хитрый, навсегда замкнутый в себе человек. Дрожит, паучится радость, ткутся и тают морщинки около глаз.

— Ты можешь, товарищ Чумалов, говорить сразу, если спешное дело, а можешь и немного спустя. Я как раз имею сейчас свободную минуту. Можешь говорить, что угодно. Шуруешь здорово с заводом?

— Пока что—мозгуем, а до дела—далеко. Бьем пока горлодером.

Чибис не слушал и шурил ресницы навстречу горящему воздуху.

— Я вот смотрю на море. Отсюда оно, как мыльный пузырь: горбится, и краски этакие-такие. Видишь? Это ни чох и ни сон. Покупаться хочется или просто побыть на берегу. Так — просто: выскочить в другое измерение и — невидимкой... камешки побросать. И в лесу — хорошо. Море... Видишь, как оно зыбится и цветет? Я — здесь, а оно — там. У меня это — навсегда. Ты понимаешь, что это значит: навсегда?.. Это немножко пахнет психологией. Ты как насчет психологии?

— Вот туда, к чорту!.. Ну, раздави час и — кувырком... В чем дело?

Не улыбка, а пыль на лице Чибиса. Поднял ресницы, и пыль смахнулась с лица. И будто близко, глаза в глаза, смотрел в Глеба изнутри ясным ребячьим взглядом. Почудилось ли Глебу, или забыл о себе Чибис, — его зрачки блеснули слезой, как у ребенка, а за младенческими капельками неуловимая черная точка. Она билась, играла, прыгала в слезную капельку и отлетала назад, в глубину, исчезала и опять появлялась и опять играла. И Глеб не мог уяснить, почему эта точка так больно царапала сердце. А почувал, что в этой самой бьющейся точке вертится особенный, собственный Чибиса, чорт. Не потому ли

Чибис скрывает глаза под сеткою ресниц, чтобы ни он, Глеб, ни другие не увидели этого чорта?

Глеб взмахнул бровями и ждал, что скажет Чибис.

Капли младенческих слез, и за каплями — мятущийся чорт. Такие глаза не спят по ночам, они видят сквозь стены, а стены горят иными огнями. У Чибиса только свои слова, которые не скажутся никогда: они ночными образами роятся в клеточках мозга. Он говорит чужими, непонятными словами, и они плавятся у него в ребячью улыбку.

— Товарищ Чибис, я не знаю, какие у тебя слова, но этот сволочь Совнархоз просится на мушку.

— Вот. И Райлес. И Внешторг. И еще, и еще...

— А разве нельзя взять на мушку весь Исполком?

— Вот. Совнархоз — это гнездо, которое трудно взять голыми руками. Ты лопнешь, как дурак, со своими заводами и бремс-бергами. Тут нужно бить крепко и наверняка.

— Что ты думаешь насчет предсовнархоза, товарищ Чибис? Я его сейчас крыл у предисполкома, но попадал через мишень в Промбюро.

Чибис опять долго смотрел на море и горы, на облака, реющие в сини снежными сугробами, и в лице его опять ткалась и сдувалась паутинками младенческая улыбка.

— Ты видел, Чумалов, людей, которых расстреливают?

— Да, на войне. Сначала меня трясло: вспомнишь, как у них прыгали глаза, и внутри визжит, как у сукина сына...

— Вот. Именно, прыгают, а тело — мертвое и очень грязное. Такие умирают молча, еще при жизни. Ты кого предлагаешь в охотники за Совнархозом и Райлесом? Имей в виду, что самые умные и исполнительные работники, это — дураки. Они умеют видеть и брать...

Гимнастерка натянулась на груди Глеба и мешала ему дышать. Он встал и поперхнулся от смеха. Опять сел и положил кулак на стол, перед Чибисом.

— Цены тебе нет, товарищ Чибис...

А Чибис опять посмотрел на него сквозь сетку ресниц и опять стал замкнутым и далеким.

— Шрам — твердый коммунист, и за свой аппарат он может умереть, как деревяшка. Это — коммунист, которого выпотрошили,

а из оболочки сделали чучело, которого не боятся воробьи. Чучело упрямо и чисто от ошибок. Чучело, это — идеал, а в тряпках его скрывается всякая пакость. Дураки лучше, потому что они умеют мутить чистую воду... Ты знаешь, что такое необходимость, Чумалов? Чувствовать ее — это одно, а знать — другое. Не давай превратиться ей в фетиш, а то в мире ты будешь только один, и он обрушится на твои плечи. Земля тем неудобна, что по ней постоянно ползают ночи. Сумей необходимость обратить в собственную мысль, и ночи не будут пугать тебя призраками.

Глеб со смутной тревогой смотрел на Чибиса, и ему чудилось, что голова Чибиса растет, раздается в костях, трещит под напором мозгов, а руки не умещаются на столе и извиваются, как змеи.

— Товарищ Чибис, что ты будешь возражать против Жука? По-твоему, он — плохой дурак?

— Вот. Мы договорились до конца. Пришли его завтра ко мне. Мы пошлем его на побегушки в Совнархоз и Райлес. Ну, уходи... Возьми себе постоянный пропуск.

И отвернулся, не подавая руки. Нажал на косяке кнопку электрического звонка. У двери Глеб оглянулся и опять встретил чужое лицо. Хотелось сказать что-то важное, и никак не мог вспомнить, что сказать.

— Товарищ Чибис, ты видел Ленина?

— Это — все равно... Видел... Не видел...

Глеб усмехнулся и недоверчиво дернул шлемом.

— Брешешь, товарищ Чибис, ты видел Ленина...

## VII

# ОТЧИЙ ДОМ

### 1

#### Книжный червь

По серому карнизу, над тремя облезлыми колоннами, выпукло резались каменные слова: «Народный Дом». А за колоннами, в глубине, в вестибюле, на огромной дубовой двери в трещинах, четким квадратом белела бумага. Сергей поднялся по выщербленным ступеням и близоруко уткнулся в исписанный лист. Рука отца... Что-то старческое и очень юное в причудливом сплетении улыбалось ему в буквах. Глубоко, неясным вздохом прошла через сердце волна грустного напева о детстве... Снежно цветущий миндаль под окном, в саду, бледная молчаливая мать, которая целует его и примеривает новую рубашку... Это было давно и похоже на туманные образы сновидения. Давно не видел отца — с тех пор, как ушел из семьи навсегда.

Библиотекарша Верочка, его бывшая ученица, всегда изумленная и растерянная, нашла его в городе (только одна она может его найти). Никогда она не умела с ним говорить, а глазами и нервной дрожью только от него ждала слов. Как всегда, она могла только пролепетать:

— Это вы?.. Я, Сергей Иванович... я искала...

И в руках ее птичкой дрожала бумажка.

— Вы — от отца, Верочка?

— Иван Арсеньич... да, да... если б вы знали!..

И улыбалась и не сводила с него круглых глаз, сияющих изумлением.

— Вы все еще в библиотеке, Верочка? Еще не надоел вам мой батя своей болтовней о всяких глубоких пустяковых вещах?

И не могла ему ответить, а только струилась в него изумленной улыбкой.

В старческом, детском почерке отца он прочел:

«Сын мой, когда подумаешь, что бытие определяется сознанием, это — великая победа моей бессмертной мысли над капризами становления. Но когда почувствуешь примат бытия над сознанием — ничтожен есть в гордыне своей человек. Почему сие так, узнаешь, когда найдешь в себе мужество зайти ко мне в книжную хранину: хочу тебя видеть по обстоятельствам ничтожным, а посему и жутким (ничтожное — всегда жутко). Сижу в капище, среди книг (они шевелятся, как тараканы), улыбаюсь и читаю Марка Аврелия. Книжный червь и, волею случая, твой отец».

И когда Сергей читал эту записку, сам улыбался ласковой улыбкой.

Шел в библиотеку с тревогой и смутным предчувствием. Видел голову отца, такую же лысую, как у него, с пепельными волосами в пышном ветреном разлете, и борода торчком вперед, под прямым углом к подбородку. Что-то ребячье было в его голове, и что-то дряхлое и беспокойное в невысказанной мудрости.

Через прохладный сумеречный вестибюль, угарно смердящий мышами, в открытую половину двери видел Сергей огромную пустоту в пыльном полусвете, с далекими рядами книг на полках, и слышал рокочущие вихри мерцающих шорохов.

В этом зале когда-то был кинематограф, и пол спустился немного покато. На весь зал было всего два узких и длинных окна. Потому — и грязный полусвет, нежилой и сарайно-храмный. И тишина была тоже храмная, древняя, насыщенная тлением. И не было стен, а только — книги от пола до потолка, в струящихся параллельных рядах. Зачем так много книг? Разве можно прочесть их человеку за короткую пору его сознательной жизни? Не потому ли они так плотно сжаты на полках, что человек утратил их множества, грозящего пожрать его жизнь, жадную до солнца?



Верочка смотрела из-за вороха книг на прилавке и улыбалась в восторженном изумлении.

— Сергей Иванович... неужели же?.. Иван Арсеньич... Я сейчас...

Посреди комнаты стояла иконостасом многоэтажная полка в книгах, а рядом с нею дымился седыми волосами отец в длинной холщевой блузе, смотрел на него издали и шевелил бровями. И когда шел к нему Сергей по наклонному полу, сдерживая несущий шаг, увидел, что отец — босой, и ноги у него изуродованы шишками, покрыты пылью и струпами.

— Любишь, любишь — вижу... Проходи ко мне в алтарь и садись. У тебя такие глаза были еще в детстве — одержимые.

Говорил и смеялся смущенным шопотом. А глаза смотрели пристально, остро, в тревожном вопросе.

— А знаешь, что такое одержимость, Сережа? Это — стоицизм, то-есть неисчерпаемое любопытство к жизни. Такие люди страдают оттого, что на свете есть одна печальная необходимость, это — сон.

Сергей улыбался от дружеских слов отца и, как всегда, во время общения с ним, чувствовал себя радостно окрыленным, а его — огромным и загадочно-близким.

Отец шопотно смеялся и все смотрел на Сергея в тревожном вопросе, с любопытством человека, который проверяет решенную задачу. Вздрагивающими пальцами тербил бороду ко рту и ласково насмешничал. Сергей видел, что он хочет сообщить ему что-то важное и мучительное.

— Тебе не жутко в этой гробнице, батя?

— Судьба всех книг, Сережа, быть тюрьмой для мысли. Каждая книга, это — удавка для человеческой свободы. Не правда ли, что все эти полки похожи на железную решетку? Стремясь к бессмертию, человеческий ум создает книгу — свою надгробную плиту. Роковая обреченность, Сережа: человек, это — перманентный бунт, а бунт — это прыжок из одной тюрьмы в другую: из утробы матери — в утробу общества, в цепи обязательных регламентаций, а оттуда — в могилу. Марк Аврелий был очень неглупый мужик: он умел себя чувствовать свободным, гремя цепями, и имел мудрость смотреть сквозь стены темницы.

— А по-моему так, батя: подлинная свобода—только в творческом слиянии своей воли с диалектикой необходимости. Человек бессмертен в динамике творческого коллектива.

Отец пристально посмотрел на него, в строгой улыбке старого скептика.

— Почему ты не спросишь о своей матери? Как ты будешь чувствовать себя, если она сегодня умрет?

Сергей молча, с судорогой в лице, взглянул в глаза отца.

— Она очень плоха? Мне бы хотелось увидеть ее хоть на минуту...

— Она умирает от скорбящей любви к своим детенышам... Она умирает, Сережа...

Брови его вздрагивали от улыбки, и эта улыбка струилась тоскою.

— Но я не умру, нет—будь спокоен. Истинная жизнь, сын мой, в свободе от зависимости от приматов. Потому что мир—это только чистая относительность, а истинное счастье в растворении в миге. Не только Марк Аврелий, но и сам Лукреций Кар мог бы сделать меня своим другом...

Сергею было хорошо—спокойно и тихо на душе. В прорывах напряженных и утомительных дней, которые отравляли бессонницей его ночи,—здесь бы, в этом книжном безмолвии, блаженно раствориться в бездумии, или в думах своих хотя бы на час оставаться недостижимо одиноким. Его ночи в маленькой комнате в Доме Советов мучительны и кошмарны, насыщены головною болью, потому что нет сна в Доме Советов, и 24 часа угарны от табачного дыма и звонков телефона, а каждая ниточка мозга включена в общую сеть электрических проводов Республики. Нет дней и ночей в Доме Советов—есть маленькая комната, где мучительно чувствуется боль переутомления, сурового подвижничества и обреченности.

— Мой милый Сережа, твоя мать очень больна. Иди к ней, да, да... Если не скажешь ей ничего, то хоть взгляни на нее, как бывало—ребенком. Ты принесешь ей большое счастье.

Сергей заволновался. В неясных словах отца он чувствовал непереносную тоску, и тоска отца насыщала его слова особым значением. Всегда было так: в дни детства и юности Сергей души отца не касался—она без остатка растворялась в глубине

его глаз. Был он похож на младенца, дни свои уносил с собою в предрассветный сумрак библиотеки, изумленно и растерянно смотрел на деньги, полученные за труд, дома был как чужой, не имел своего места, смеялся конфузливо, когда говорила с ним мать, и всегда торопился. Весь дом, от кухни до спальни, насыщен был матерью, и даже ночью, в волнах сновидений, мерцало ее лицо, утомленное заботами, с припухшими влажными веками.

— Идем, батя: я хочу ее видеть сейчас.

— Да, да, Сережа... Ты меня очень обрадовал... очень... Но вот что... Если тебя встретит брат Дмитрий, какие у тебя будут глаза и жесты? Твой брат, твой брат... Ты не спрашивай меня о нем, я его боюсь больше, чем тебя. Впрочем, я никого и ничего не боюсь, потому что я, милый мой, заражен любопытством, а это, как тебе известно, не что иное, как мудрость. Жуть, Сережа, не в глубинах, а только в простых элементах движений — в мимолетном взгляде, в жесте, в крике... В этом, друг мой, распятие человека... этим он проклят...

## 2

### У постели матери

Фруктовый сад за забором был в буром дыму: голые сучья и охапки ветвей корчились и прозрачно сплетались в упругие клубки. Только миндаль горел и волновался густыми роями белых цветов. Этот сад насадил своими руками отец и он, Сергей, когда еще был мальчиком. Шел мимо забора, засматривал в щели и видел знакомые деревья, запущенные дорожки и ту беседку из драни, в рыжих космах дикого винограда, которую он, Сергей, сколотил еще гимназистом. И каменный дом с мезонином был родным и далеким, как воспоминание о детстве.

— Давно ли ты жил тут и рос, Сережа?.. Ты узнаешь свой чердак?..

Старик смеялся, хватал и отбрасывал руку Сергея, семенил босыми ногами в дыпках, и Сергей видел, что отец рад ему, растроган и конфузится своей радости. И вдруг почему-то сразу и впервые заметил Сергей, как нечистооплотно опустился отец, и какая в его глазах ясная и углубленная пустота.

— Ваша революция — одна из самых веселых революций в истории, Сережа...

Сад паутинно искрился солнцем и опьянялся солоделою прелью весенней земли, набухающих почек и порхающего цветения миндалей. Вон оно, то окно на мезонине, где он провел свое детство и школьные годы...

В конце дорожки, засыпанной прошлогодними листьями, под снежною пеной миндального дерева (издали она кажется радужной), стоял высокий одорукий человек с бритым черепом. Белая рубашка, казацки шаровары и открытая смуглая грудь. Большими черными пятнами резались костистые глазницы и непомерно длинный нос клювом над маленькой верхней губой.

— Я чувствую, батя, что встреча с Дмитрием не даст нам ничего доброго. Мы с ним когда-то расстались друзьями, а теперь встретимся, пожалуй, как враги.

Одорукий глядел на них издали острым птичьим взглядом и длинное худое лицо его смеялось улыбкой черепа. Он приветственно вскинул единственную правую руку и зыкнул кавалерийским распевом:

— Ага, рыцарю красного образа под мирным родительским кровом — моя душа и сердце!.. Ха-ха, Сережа!.. Ха-ха, милый друг!..

Срывался на радостный хохот вдали, под цветущим миндалем, и слова его звенели фальшивым надломом. Он не пошел навстречу Сергею, а твердо и упрямо врос в землю желтыми гетрами.

Сергей ответно помахал ему свободной рукою и с нервной дрожью и угаром в глазах стал подниматься по ступеням крыльца.

В маленькой комнате матери, попрежнему темной от спущенных штор, загроможденной одеждой, комодами и ящиками, пахло тем же теплым, душным запахом долголетнего уюта, как и в прошлые дни. И теперь еще, когда Сергей думал о матери, этот запах он чувствовал нудно, до галлюцинаций.

И если бы не было домашнего запаха, — не было бы той тишины, которая отстойно дремала в стародавних стенах, впитавших в себя всю историю его жизни. Только мебель и скарб были свалены по углам недавним квартирным уплотнением.

Из пухлой белизны подушки смотрел на Сергея пергаментный череп с черными косидами, прилипшими к яминам щек. Он на цыпочках, в предсмертном полумраке, подошел к постели, долго вглядывался в лицо матери, чужое, никогда не виданное раньше. Взял ее руку и почувствовал струнный трепет, стекающий с косточек в его мускулы.

И эта рука в трепете любви, и этот череп в черных косидах — чужие и близкие и родные до слез. Вдыхая в себя неумирающий запах былого гнезда, Сергей не знал, что делать с собою среди нагроможденных вещей, не знал, что делать с этой угасающей рукою.

Мать молчала и, немая, пристально смотрела на него мутной глубиной умирающих глаз.

А он, Сергей, сам молчал и с внутренней дрожью ждал шопота матери. Не голоса, не крика, а шопота. И не было шопота, а были только глаза, в слипшихся ресницах.

... Дмитрий стоял близко около Сергея и играл насмешливым огоньком, горящим в зрачках. Весь был налит жизнью, широк костью, для которой не хватало кожи, и — хищный в излучинах бровей и изгибе хрящеватого клюва.

Струнная дрожь оборвалась, и рука матери упала на постель.

Отец улыбался, не угашая ясного взгляда.

— Как странно, что вы — мои дети. И как странно, что вы оба — чужие... чужие и мне и себе...

Дмитрий насмешливо и отчужденно играл огоньками в глазах.

— Как видишь, Сережа, отец попрежнему балаганит, как старик Диоген в бочке. Он питается только мухами и своими словами. Он безгрешен, как воробей, и я его очень люблю...

Сергей выдержал взгляд брата и спросил у него нелюдимо:

— Где ты был до сих пор? В эти годы о тебе не было слышно.

— Не скажу. Я все равно или совру тебе, или скажу не то, что нужно. Полковник с германского фронта, инвалид, а теперь — гражданин без определенных занятий.

Дмитрий быстро взял руку матери и поцеловал, и этот поцелуй потряс больную, как удар. С немьм ужасом смотрела она на него и не могла оторвать глаз от его лица.

Он заиграл огоньками в зрачках и сжал плечо Сергею.

— Я давно не видал тебя, Сережа... с юных лет... Давай поцелуемся, что ли...

Сергей со смутной трезвой отвернулся и отошел от него к отцу.

Дмитрий срывно засмеялся, браво повернулся налево кругом и вышел, блеснув бритым сизым затылком.

По широкому лбу отца, от носа к вискам, черными прутиками полоснули над бровями две глубокие морщины. Дрожащею рукою он затеребил бороду и все норовил положить ее в рот, но она вырывалась.

Бледный, с осовелыми глазами и жалкой улыбкой, он припал спиною к стене.

— Что с тобою, батя?

— Будь стойчески тверд и не поддавайся соблазнам, Сережа. Но иногда и стойк бывает рабом своих чувств. Умей изучать людей из-за щита... из-за щита, Сережа.

Мать с предсмертным безумием поднялась на локоть и опять упала — растаяла в подушке. И в глазах ее была покорность, тишина и ужас.

Потрясенный, Сергей медленно вышел из комнаты на крыльцо и, ускоряя шаги, пошел по аллее к калитке.

На улице, у забора, он столкнулся с Дмитрием. Брат держал руку в кармане казачьих шаровар и смотрел на него прищуренным острым взглядом.

— Мое почтение, Сережа! Мы еще увидимся... Не правда ли? Мы скоро увидимся, мы увидимся при другой обстановке, Сережа... И тогда поговорим с тобой всласть... Мое почтение!..

Он чопорно поклонился и оскалил зубы. А глаза не смеялись: они кололи Сергея острой прищуркой.

## VIII ГОРЯЧИЕ ДНИ

### 1

#### Рабочая кровь

Дни горели не солнцем: небо было в овчинку, а для груди не хватало воздуха, и город, и горы, и люди, и пристани хлестали ветром в глаза и кувыркались в каменных вихрях.

Только в сердце трепыхались дни, и сердце билось полотном кумача. С заданным шлемом бежал Глеб в Совпроф, в Партком (немедленно созвать общегородское партийное собрание!), в Учпрофсоюз (товарищи, толкайте подачу цистерн к нефтеперегону!), в заводууправление, в машинные корпуса завода — там Брынза, там дизеля, готовые к работе.

Жидкий с размаху шлепал Глеба по спине и горел от восторга.

— Чумалыч, черт тебя дерит!.. Запрягай свою силу в завод вместо машин, ты можешь раскатать его на сто процентов. Надо командировать тебя в Европу, чтоб грохнул там хорошую бучу..

— Есть! Кроем Европу и бучу...

— Главное, не забывай, Чумалыч, что ты прежде всего — коммунист... Грош цена нашему строительству, если не будет в нем красного кузнечного огня. Помни об этом и гляди круто вперед.

— Да уж на что круче режем, товарищ Жидкий... Крутить не привыкать стать — как бы не перекрутить... вот в чем чертовня...

— Люблю тебя, Чумалыч, до зарезу.

И у самого Глеба раздувались ноздри от возбуждения.

Бежал к Лухаве. Но, по обыкновению, не было Лухавы в Совпрофе: он не мог сидеть в стенах совпрофской комнаты. Каждый день с утра до ночи бегал по союзам, по предприятиям и на месте входил во все мелочи производства и жизни рабочих, устраивал экстренные заседания, улаживал конфликты, крыл матом лодырей и записывал на красную доску героев труда. Сам носился по учреждениям, по фабрикам и заводам, по хозорганам, продорганам, пухом взбивал бумаги, приказывал, требовал, зажигал, нагонял страх, вызывал бури восторгов. И никогда не был измучен, не знал переутомления, только в глазах неугасимо горели огоньки лихорадки.

Вот чем вошел он в души рабочих.

Глеб оставлял записки:

Толкнуть Учпрофсож.

Прищемить Совнархоз за саботаж и волокиту.

Брякнуть по башкам завком Нефтеперегона.

И Лухава в искрах бронзовой кожи, в огне глаз летел и туда и туда, и волосы его издали пыхали черными языками пламени.

На заводе электромонтеры приступили к работам по ремонту электросистемы. В рабочих жильях ввернули лампочки (из заводских хранилищ), и их пузыри заблестели выпуклой улыбкой отраженных окон, а с ними вместе взволнованно улыбались и бабы и дети, и голодная пыль таяла на лицах рабочих в радостном предчувствии.

В слесарном цехе не клепали зажигалок. Там шла иная работа: в вихре железного скрежета, свиста, шипенья, звона опять воскресали к жизни детали машин. Из цеха в машинные корпуса и опять по двору в цех, навстречу друг другу, в синих блузах, отливающих медью, шагали рабочие. Не было только Лошака и Громады: им — другая забота — завком. И в завкоме, в подвале под заводоуправлением, в комнатах, насыщенных цементом и махоркой («дюбек, от которого чорт убег»), — толпился народ — топотали ботами из завкома в завком, из дверей в двери, и стены и стекла дрожали от криков и бычьего хохота.



... Завком. Усиленные пайки. Распределение сил. Бремсберг. Металлический вихрь в слесарном цехе. Жидкое топливо. Завтра динамо в работе, а ночью завод откроет глаза...

Глеб (он — уполномоченный от рабочих при заводууправлении) бегал, брызгая каплями пота, хохотал, сам хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил и не мог перегнуть своего сердца.

Часто забегал к Брынзе, и Брынза встречал его криками во весь размах машинного отделения:

— Хо-хо, командарм!.. Дело идет... Машины готовы давно... Топлива, топлива, командарм!.. Только — топливо и больше ничего... Раз ты выскочил из преисподней, мы завертим карусель — я так и знал... Твоя башка — такая же машина, как мой дизеля. Топливо, нефть и бензин... только топливо... Если ты не достанешь его за эти два дня, я взорвусь вместе с дизелями... А когда взлечу на воздух, утащу тебя за ноги...

А между машин возились и крикали, ковырялись и бренчали металлом его помощники, похожие на него. Он подмигивал и кивал в их сторону кепкой и радостно скалил зубы.

— Видишь? Братва заработала всеми поджилками. Забыты, друг, пустоболт и чехарда этих годов... Вот что значит сила машин. Пока живы машины — не убежать от них никуда. Тоска по машине сильнее тоски по зазнобе...

И опять кричал на весь корпус, как бешеный:

— Топлива, топлива!.. десять цистерн!.. Для первого разу — довольно. Десять цистерн... или я тебя изуродую вдрызг, командарм...

Вместе с инженером Клейстом, с техниками и рабочими каменоломен шагали по ущелью, по площадкам разработок, заросшим травой. Важный, молчаливый, с провалами в глазах, инженер Клейст исследовал старые бремсберги. Двое техников из старых служац, по привычке к былым традициям, шли на два шага позади инженера Клейста и бросались к нему с рабочей готовностью по первому некому кивку головы. Он не смотрел на Глеба и будто его не замечал около себя, но Глеб видел, что инженер Клейст знает только его и только его силу несет на своей голове и плечах. И когда говорил с техниками, чуял Глеб, что говорил только с ним, с Глебом, и только от него ждал слов, которых он не может побороть.

Решили: исправить магистраль и от верхней площадки работок поднять линию бремсберга до перевала, на высоту 800 метров.

И как-то в своем кабинете (уже окно было открыто на обе рамы) инженер Клейст сказал после работы над материальными сметами:

— Если будет гарантия, что сметы будут полностью проведены и рабочие руки обеспечены, мы сможем с успехом выполнить работы в течение месяца.

Глеб нагнулся к его лицу и тяжело хлопнул ладонью по бумагам.

— Товарищ технорук, работа должна быть выполнена в четыре рабочих дня. Пять тысяч рабочих — к вашим услугам. Материалы по первому требованию — через заводоуправление. Будет саботаж — буду рвать в пыль: мы не такие рвали бастилии. Не месяц, а только четыре дня, товарищ технорук. Это зарубите твердо и чертыхайте на этот придел.

Инженер Клейст пристально взглянул на него и впервые бледно улыбнулся.

Бондарный цех сейчас — просто ненужный сарай: стеклянная крыша побита камнями — шалость ребят. На переплетах рам, на уцелевших стеклах лежат палки, клепки, обломки обручей и всякая дрянь. А верстаки, трансмиссии, диски оскаленных пил в ржавой коросте покрыты инеем — пыль с гор и шоссе, работа могильщика-ветра. И лазурный, всюду затуманенный свет: не от этого ли верстаки, пилы, недоделанные бочки три года назад были сини и прозрачны, как лед?

И сюда забежал Глеб, остановился при входе. Раньше здесь золотые стружки горели огненными спиралями, и бондаря, сами в стружках и искрах опилок, были пьяны и веселы от винного запаха дерева и сиренного пения пил.

Глеб не пошел дальше: здесь заморозишь мозги. Будет день — придет черед и этому месту: опять запылают стружки, опять полетят брызги опилок, опять пилы вспомнят свои молодые песни...

Хотел выйти — работа, работа... но остановился, и на щеках запрыгал смех. Савчук. Сидел он спиной к Глебу за своим старым верстаком, оглядывал его, играл ногой со станком,

пробовал прочность, бил кулаком, а он скрипел, кашлял, как дряхлый старик.

— Га-га, харчишь, идолова душа?.. А ну, расправляй свои кости и глотку, беззубый!.. Не забыл еще? чужь?.. га-га!..

Зашагал босвявкой к пилам и гладил льдистые диски широкой лапой, а они звенели ему далекими вздохами, будто сквозь сон.

— Га-га, девчатки!.. Рябые стали, неженихатые... А ну, какие будут ваши песни?.. Выждидай: скоро придут женихи — будем плодить с вами бочары. То бочары — не бабам на капусту, а бочары за моря, во все края земли... Они понесут не капусту, а цемент на стройку... Га-га, неженихатые!..

Чортов Савчук! Дегина — с медведя, и никак его не учолупнешь ни матом, ни лаской, а здесь, в этом проклятом сарае, он причитает и шепчет, как шкет, который втюрился в девку. Чортов Савчук, на него ли это похоже, на лохматого, у которого ноги как у битюга, а кулаки — с целую вагонетку?..

А засмеяться не мог Глеб: нельзя мешать Савчуку. Когда пробуждаются здоровые силы и наливаются кровью — нельзя накладывать руку: это — самый важный и глубокий миг в жизни человека...

Глеб тихо вышел из цеха и, когда опять ошпарило его солнце, шлепнул ладонью по шлему и задохнулся от хохота.

— Будь ты прочлят, чортов Савчук!.. Вот уморил, окаянный!..

... Днем, когда камни и рельсы плавилась на солнце, а пустынный завод дрожал в огне солнечных струй, — с утробными вздохами, бросая в небо охапки пара, паровоз толкал к заводу длинный состав чумазных цистерн с бензином и нефтью. Навстречу, из ворот, в длинных блузах, горланя и махая руками, вышли рабочие.

## 2

### Прыжок через смерть

В Исполкоме была получена экстренная телефонограмма, что вопреки предположению Борщия избил нагайкой начальника окружной милиции Салтанова, посланного в помощь Борщию по сбору продразверстки, а Салтанов стрелял в Борщия. Сообщалось, что Салтанов с отрядом красноармейцев производил облавы на

казаков и городовиков, выгребал зерно из амбаров, выводил последнюю животину из катухов. А потом, когда подводы под конвоем красноармейцев двигались к волисполкому, оркестр музыкантов трубил Интернационал, а за возами шли хлеборобские бабы, бились головами о телеги и выли вместе с коровами и овцами. И вот под музыку произошла в волисполкоме свалка между Борщием и Салтановым.

Бадьян читал телефонограмму с обычным спокойствием каменного лица, а секретарь Пепло, ожидавший приказаний у стола, влажно и румяно улыбался.

— Вот дураки!.. Наскочил чорт на дьявола. Распорядитесь, товарищ Пепло, чтобы сейчас же подали фартон. Я сам поеду и разберу дело.

— Слушаю-с.

— Кстати, протелефонируйте в Партком, товарищу Чумаловой, чтобы она немедленно явилась сюда. Она запрашивала о подводе в ту же станицу — я ее отвезу.

— Слушаю-с... Сообщить, что вы поедете вдвоем с товарищем Чумаловой?..

Секретарь Пепло вздрагивающими веками смотрел на Бадьяна и румяно улыбался.

Предисполком поднял глаза на Пепло, и секретарь отступил на шаг от стола, а улыбка не блекла и не высыхала на лице.

— Слушаю-с...

Бадьян сидел, грузный, налитый чугуном, опираясь грудью на край стола, и голова его уходила в плечи, будто была тяжелее тела.

И как только ушел секретарь, встал, вскинул руками вверх и в стороны и прошелся по комнате. И уже не было металлической тяжести ни в плечах, ни в голове: был строен, широк костью, с упругими мускулами и упрямым поставом головы.

А в женотделе Мехова догнала в коридоре Дашу и под руку проводила ее до выхода.

— Вот что, Даша: не послать ли вместо тебя кого-нибудь из делегатов? Ты едешь в командировки каждую неделю, а те только балуются дома. Теперь очень участились нападения по дорогам. Надо тебя побережь: другой такой не сразу найдешь. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я все время боюсь за тебя...

— Товарищ Мехова, тебе стыдно так барахолить словами. Я — не маленькая девочка, и свои дела размышляю. Какие же мы будем, к чорту, женотделки, коли у нас душа в пятки уходит от страха?

Поля тревожно взглянула на нее и остановилась. А Даша ласково трепанула ее руку и быстро вышла на улицу, взмахивая самодельным портфелем (там — все: и бумаги, и хлеб).

У подъезда Исполкома блестел черным глянец фэтон, и бордатый кучер на облучке сморкался от скуки и вытирал нос широкой полою.

На бульваре, загаженном мусором и измызганном людьми и животными, валялись в пыли двое мальчишек, в изодранных балахончиках, с сизыми лицами, надутыми водянкой. Пыль грязным дымом клубилась над ними и таяла в бурых ветвях акаций.

Даша остановилась у фэтона, поглядела на бульвар, потом в открытое окно кабинета предисполкома, потом опять — на бульвар.

Чьи это детишки? Что они здесь делают, беспризорные? Что смотрит милиция, и почему так слепа и безрука Деткомиссия? Или сама беспризорна, как эти несчастные дети?

Через мостовую подошла к ограде бульвара и долго смотрела на возню чумазных чертят.

— Ребятки, кто хочет хлеба? Ведь я знаю, что у вас кишки пусты. Идите сюда.

Мальчики насторожились собачатами — испугались. А тетка улыбалась им ласково, по-домашнему, и была совсем не страшной. Но на голове была красная повязка, а в руке — кусок хлеба. Повязка наводила страх (они давно знают, какая сила в этой повязке), но хлеб был свежий и издали опьянял влажным запахом солода.

— Да, да... иди, а ты — в приют...

Один из мальчат встряхнулся в лохмотьях и чучелом забультыхался наутек. Даша засмеялась и разломилла хлеб пополам.

— Да идите же, поросята... не поведу в приют... Нате вам по куску... Вот трусливая какая шкетня!..

Тетка такая веселая и ласковая (если б не красная повязка!), и хлеб был золотой и вкусный, как мед.

Мальчики, переглядываясь, трусливо и воровато подошли к ней и издали протянули руки. Дала одному, дала другому. Хотела погладить по кудлатым волосам второго. Он заорал и с ужасом в глазах пырснул вдоль по бульвару.

Нюрка — в детдоме, а чем она счастливее этих голых зверят? Однажды Даша увидела, как Нюрка вместе с другими ребятами копошилась в свалке, на задворках столовой нарпита. Ей тогда почудилось, что Нюрка уже умерла, что она, Даша, — уже не мать ей, что Нюрка брошена на голод и муки по ее, Дашиной, вине. И случайные ее ласки в детдоме — не ласки матери, а пустоцвет. И она от самой свалки до детдома несла Нюрку на руках, а сердце рвалось от боли.

Бадьин стоял у фэтона, тускло поблескивал черной кожей и пристально смотрел на нее из-под костистого лба.

— Товарищ Чумалова, садись — едем.

И сам, не ожидая ее, сел в фэтон, и экипаж заколыхался под ним всеми рессорами. Даша села рядом с ним и почувствовала, как его бедро упруго придавило ее своей тяжестью.

Бадьин уже не видел ее — был замкнут, холоден и суров, как обычно.

— На автомобиле не проседшь. В горах даже на этой трясогузке придется пробираться черепашным шагом. Ты не боишься бандитов? Я ничего не беру с собою, кроме нагана. Может быть, взять конных красноармейцев?

Даша взглянула на него — не боится ли сам Бадьин? Но ничего не увидела: лицо было попрежнему неподвижным и твердым — бронзовое лицо.

— Как хочешь, товарищ Бадьин. Коли боишься — требуй. А я привыкла ездить в командировку без провожатых.

— Трогай, товарищ Егоров!

А товарищ Егоров испуганно раз за разом взглянул на предисполкома, порывался что-то сказать, но не осилил. Крякнул, высморчался и заиграл вожжами.

И пока ехали по городским мостовым, молчали, и Даше было необычно приятно и весело качаться в удобной и мягкой качели.

На улице увидела Сергея. Он закивал ей красной лысиной, и кудри его тряхнулись рыжими стружками. А Жук, как

увидел их в фэртоне, так и остановился, пораженный, мутный лицом.

Бадьин брезгливо скривил толстые губы в усмешку.

— Не выношу этого типа...

— Товарища Жука? Вот так... Товарищ Жук — хороший токарь и заботный коммунист. Товарищ Жук не любит наших генералов и бюрократию... и очень беспокоится...

— Товарищ Жук — просто лодырь и склочник. Таких надо обязательно гнать из партии.

— Нет, товарищ Бадьин: товарищ Жук — хороший, и он говорит правду. А когда он избочивает — вы все сердитесь. Разве это — дело? И разве не правда, что вы все, ответработники, видите рабочий класс только из своего кабинета?

— Ты ошибаешься. Кабинет ответработников — ближе к рабочему классу, чем такие сутяги, как, например, твой хороший товарищ Жук, потому что через этот кабинет проходит все, начиная от сложных государственных вопросов, кончая мелочами быта. В кабинете же ответработника я подружился и с твоим мужем.

Он засмеялся, и смех его был не обычный смех, а барабанные слогги: и смех и слова были одно. И этот смех Бадьина всегда смутно тревожил Дашу.

Город уже был позади. Ехали долиной: слева — пологие взгорья в виноградниках, справа — лес, еще голый и сизый, паутинный и туманный от лопнувших почек, и всюду — стволы, толпой бегущие в глубину, в сумеречные пустоты. Они — живые: передние рядами уходят назад, а задние — идут вперед вместе с Дашей, и кажется, что лес кружится, волнуется, выполняет какую-то свою огромную работу, скрытую от человеческих глаз.

— Ну, как ты сейчас насчет семейного гнезда? С одной стороны — супружеские обязанности: общая постель и грязное белье. А с другой — партийная работа. Потом у вас, кажется, есть потомство? Придется выбирать: или женотдел, или — домашние заботы. Муж, вероятно, уже требует особых гарантий. Он у тебя — парень с большим кулаком.

Даша отодвинулась в угол: вперевой сердцу от головы до ног волной прошла через нее тревога.

— Мой муж — сам по себе, а я — сама по себе, товарищ Бадьин. Мы — коммунисты первым делом, а не ерники...

Бадьин опять засмеялся барабанными слогами и положил руку на ноги Даши.

— Ты говоришь, как все коммунистки, а постель-то все-таки остается постелью. Впрочем, у тебя это звучит несколько правдоподобнее: у тебя это бьет из нутра. Я уже знаю, как с тобой трудно найти общий язык.

Даша сбросила с колена его руку и подобралась к самому краешку фартона.

— У коммунистов, товарищ Бадьин, завсегда должен быть общий язык при общем нашем деле...

Бадьин опять стал замкнутым и чугунно тяжелым. Он отодвинулся от Даши, и она поймала в его глазах угольки, которые больно обожгли ее.

— Садись свободнее — не съем.

А сказал — исковеркал губы обидной усмешкой.

— Я не боюсь твоих зубов, товарищ Бадьин: мы же с тобой хорошо знаем друг друга...

И до ущелья, по-утреннему сумеречного от скал и лесных зарослей, в гремучих ручейках и кучах разноцветного щебня, они молчали и смотрели в разные стороны. Но Даша чувствовала, как вздрагивал от крови Бадьин и глушил сердце срывным кашлем. Знала, что борется с собою Бадьин и не имеет силы сейчас броситься на нее с насилем. И знала, что он — не укрощен: в глазах его, когда он близко от Даши, бунтует пьяный зверь. Если он не бросится на нее в этот миг, то найдет этот миг, когда будет сильнее ее. И чувствовала, что сама дрожит кровью от ожидания и не может побороть тревоги и опаски за свою силу. Если бы это случилось сейчас, она не смогла бы бороться с его бычьими взбешенными мускулами: зыбкое бултыханье фартона по ухабной дороге ущелья выбивало из-под ее тела надежную точку опоры.

Ущелье тянулось на три версты, за ним — укатанная дорога по широкой загорной долине, и там, в предгорьях, в садах и ветряках — станица.

Горы громоздились в утесах и крутых бурых склонах до самого неба. И склоны и скалы горели на солнце огнем:



обвалы в извивах складок и кучи камней и щебня пересыпались пылающими углями, а ребра гор стекали от вершин расплавленным металлом. Внизу, над лесом и зарослями кустарников, дрожала и волновалась маревом дымная мгла. И небо над горами и лесом — голубая река, и облака — белые льдины. А лес — низинный, сброшенный с круч, непроходный, где перегноем и прелью застойно ползает ночь в трущобах и дебрях, во вздохах и шорохах и смутных предчувствиях.

Дорогу впереди не видать: она ломается в скалах и камнях и вправо, и влево, и вниз, и вверх. Глянешь вперед — лес в путаных веревках лиан, в охапках плюща и кустарников, в глыбах камней — дикое место. А доехали — и лес, и мшистые камни, и скалы, облитые слезами почвенных вод, отползали и вправо, и влево, проваливались в обрывы и карабкались на пластатые утесы. Уф, какая страшная высота! Даша не увидела их гребешков наверху, зажмурилась и скорчилась маленькой девочкой. А там — другие предрассветные ущелья, в жуткой рокошущей тишине, где таятся дремучие тайны и разбойничьи логовища...

Товарищ Егоров изогнулся на облучке и хлеснул бородою плечо. Глаза его в густой шерсти бровей и бороды были налиты слезью.

— Товарищ predisполком, зря не погнали провожатой силой конницу... На каюк покроет дикая шайка. Тут мешочников не щадят кажин день, не то ли что... Ошибку дали, товарищ predisполком...

Даша вспомнила, где она видела такие глаза. Много таких глаз, налитых слезью, ползали и барахтались в подвале контрразведки.

Бадьин, замкнутый, большой, налитый кровью, вздрагивающий от ее животных толчков, с телом твердым, как камень, сидел глубоко в подушках фэтона, бесстрашный и спокойный, но в глазах его, из-под тяжелого лба, далеко, за темным перламутром роговиц, вместе с толчками крови, вспыхивало волнение. Опасность ли пьянила его, или угар от близости Даши? И как это может бояться каких-то бродячих бандитов товарищ Егоров, когда товарищ Бадьин так неотразимо силен и смел? Было душно и больно от каменной тяжести Бадьина (Даша сидела

неподвижно), и было приятно, что этот стальной человек — надежная опора в лихой час.

Бадьин усмехнулся и в упор посмотрел в бороду Егорова.

— Трусость — опаснее бандитов, товарищ Егоров. Знай свое дело и держи крепче вожжи и кнут в руках. Дорога — не так плоха.

Егоров ссутулился и заробел, как от удара. Он уже не чмокал на лошадей, а только дергал вожжами, крутил голову по сторонам и захлебывался от обильной слюны.

Проехали еще с версту. И Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, что он изо всех сил борется со своим волнением и скрытыми порывами. Он глубоко вздохнул и всею тушею придавил ее к углу фаятона. Одна рука обхватила ее за плечи, а другая — около живота.

— Товарищ Бадьин... Ты не смеешь, товарищ Бадьин... Убери руки... Это — позорно...

Он улыбался пьяной усмешкой, и ноздри его раздувались на смуглом губатом лице до бледных вспышек.

— Наоборот, я очень смею... и не вижу в этом никакого позора... Мы — хорошая и сильная пара, и нам не к лицу притворяться и болтать фальшивые фразы... Брось!.. Ты же знаешь, что я никогда не уступаю в борьбе... И то, что я хочу сделать, я сделаю... а в борьбе я пользуюсь всеми средствами...

Даша закорчилась в судорогах, чтобы освободиться от его рук, но при первых же ее движениях Бадьин стиснул ее до удушья и крика, рванул к себе, и она на мгновение увидела его огромную черную голову и взбешенное мохлястое лицо. Потом это лицо придушило ее сосущими поцелуями и угарным запахом мужской испарины.

И вдруг почувствовала, что кровь его через руки, губы и ноздри толчками переливается в ее тело, и в ответ на эти бурные толчки истомой прошла по ее жилам волна бабьей слабости, смутного наслаждения и страха. Было только одно сердце, и сердце замирало и не держалось в груди. И еще было: яростно биться, бить, ломать его руки, вцепиться в горло и душить его, лишь бы освободиться от этих железных нечеловеческих рук...

Их дернуло вперед и подбросило на фаятоне. Грохнул и полыхнул к небу лес, и обвалом лязгнули скалы.

Даша увидела, как курлыкнул Егоров, заболтался из стороны в сторону на облучке и мешком кувырнулся на бок, на переднее колесо. В то же мгновение Бадьин оторвался от Даши, прыгнул вперед и взмахнул вожжами. Лошади забились и забесновались в дышлах.

— Стой!.. Руки вверх!.. Попались, цаповы души... сукины сыны!..

Из-за скал и из черных пустот зарослей с винтовками в руках карабкались черкески и мохнатые папахи.

Даша видела только эти папахи и глаза в папахах. Заметила хищные прыжки этих глаз, налитых огнем. И еще заметила: близко, около нее, спотыкаясь, кувырнулся к лошадям бело-брысый казак без шапки, брызгал слюною и выл от хохота, и верхняя губа его дрожала у самых ноздрей, а под губой — не десны, а красные складки и шишки и редкие рыжие зубы, маленькие, тоненькие, как гвоздики.

И в этом мгновении Даша успела только крикнуть одной короткой судорогой в горле:

— Гони!..

И спрыгнула с фэтона прямо на казака и упала вместе с ним на щебень, в придорожную ямину.

Сразу же ее раздавила невыносимая тяжесть, точно на нее навалилась большая толпа, заплясала по ней каблуками, закричала и втиснула ее в узкую щель. И одно ощущала — остро-кислотный запах мокрой шерсти и портянок. Били ее — не помнит, была ли стрельба и погоня — не донеслось до слуха. Точно ее бросили в воду, в кипящую воронку, и она не чувствовала ничего, кроме грохочущей глубины и тяжести.

И когда очнулась — стояла у скалы, и целая шайка, сбита в мясной комок, реготала в нее, дыша удушливым смрадом мокрой шерсти. Ее рвали, крутили руки и драли за волосы.

— Баба!.. Бисова стерва, баба!.. Баба... сука, бодай ее в утробу!..

Фэтона не было, и только далеко, в ущелье, топотали лошади, будто камни катились по отвалам в каменоломнях. И как только услышала Даша этот далекий топот, сразу пришла в себя — встряхнулись мозги и сердце: товарищ Бадьин — там и... далеко, на дороге... товарищ Бадьин — невредимый...

Через дорогу, против Даши, с задранной ногой на скалу (нога босая, в опорке), в ворохе кучерского кафтана, лежал Егоров, а на самой дороге — растоптанная шапка. Волосы, ухо и клоч бороды обляпаны кровавым студнем.

За ребром утеса фыркала и брыкалась лошадь и гремела удилами. Туда и оттуда перебегали в одиночку казаки с потными обалделыми лицами.

— Веди сюда!.. Какого там чорта они голову морочат?..

Одна усатая папаха сналету остановилась около утеса и вытянулась, с ладонью у шапки и локтем наотлет.

— Баба, господин полковник... Хай, повисють ее на ясени и — байдуже. Она, бисова душа, Лымаренку раком поставила... Разрешить, господин полковник...

— Веди, не разговаривай, чорт тебя возьми!.. Вместо нее я вас перевешаю, трупов, вашими же руками... Только на баб ловкачи, мерзавцы...

Оравой, пугаясь в винтовках, рыча, поволокли ее куклой (не шла, а болталась на руках) через камни, ямины, по траве и поставили прямо перед лошадей, а лошадь бешено хранила, выкатила глаза и шарахнулась вбок. Почувствовала Даша влажный горячий запах конского пота и еще почувствовала, как чьи-то суковатые руки жадно елозили по ее бедрам и между ногами. Дребезжали винтовками и реготали.

— Да баба ж, господи полковник!.. Разрешить раздавить комара!..

Даша стояла прямо и всем лицом смотрела на полковника. А полковник, колыхаясь на лошади, тоже смотрел на нее и бычился. Он был в черкеске, с серебряным поясом в висюльках, в серебряных погонах, в плоской мерлушковой шапке-кубанке. Грязный лицом, давно небритый, с длинными черными усами в клочьях, и клочья эти покрывали и губы и подбородок. А нос — курносый, с глянцевым шариком, и выпуклые глаза не то смеются, не то хулиганят.

— Отставить ее!.. Два шага — назад!..

И потому, что стало ей легко и вольно, а воздух сразу перестал пахнуть мокрой шерстью, поняла, что между этим офицером на коне и шайкой она — одна. И все смотрела пристально в лицо полковника (повязка у ней была сорвана и затоптана

в сутолоке). Изю всех сил боролась с неудержимой дрожью в коленках — всею шириною ступней упиралась в землю.

— Стриженная... Коммунистка?

— Да. Работница.

— Кто ехал с тобою на фэртоне?

— А — товарищ Бадьин, предисполком.

— Предисполком? Это — по-каковски?

— А по-русски, по-каковски же?..

— Это ты врешь. Русский язык не такой. Этот ваш жаргон — не то жидовский, не то воровской.

— У нас, в Советской России, воры не плодятся: мы их жестоко стреляем.

Назади кто-то сорвался на лошадиный смех.

— Вот, бодай ее, бисова баба... Стрегочет, скаженная, сорокой...

— А вот я ее повисю на суку, так пострегочет с другой дыры...

А Даша и полковник не отрывали глаз друг от друга.

— А у вас все такие коммунисты, как этот ваш губернатор? В опасные моменты бросать своих товарищей полагаются?

— Этого никогда не бывает. Это я сама сделала...

Полковник трепанул усами, и скулы у него вздрогнули и набухли. Он улыбался.

— Ага, сама... Это что же — с расчетом на нашу глупость?

— А то ваше дело, как понимать... Сделала и — на!..

Полковник жвыкал нагайкой и глядел на нее с улыбкой калмыцкого идола.

А Даша все время чувствовала необычайную легкость. Грудь ее дышала ровно, спокойно, и голова была точно пустая — ни мыслей, ни жалости к себе, ни страха. Будто она никогда не была так свободна и молода, как сейчас. И удивлялась: почему это так тянет ее к себе вон та одинокая сосенка на скале, у самой вершины горы (ой, как высоко!..)? Почему она впервые видит такой густой воздух над склонами гор, и почему он — в лиловых переливах? И не сосенка здесь важное, и не воздух, а что-то другое, родное, глубокое, крылатое, чему она не может дать имени...

— Ты говоришь откровенно и смело, стриженная. И держишь себя достаточно весело... Такой случай у меня — первый. Ваши коммунисты, когда они мне попадают в руки, извиваются, как глисты... Может быть, ты рассчитываешь, что я тебя отпущу, как женщину? И не думай: я сейчас тебя повешу. Не расстреляю, а именно повешу.

— А мне все равно... Я на то и шла...

Скулы полковника набухали и вздрагивали, а усы были живые, как пауки.

— Я — ваш непримиримый враг, и каждого коммуниста уничтожаю без всякой пощады. Но должен признать, что ты пока держишь себя неплохо. А вот — я сейчас погляжу, как ты пойдешь под петлю...

Не отрывая от нее глаз, поднял к голове нагайку.

— Байстрюк...

Из шайки вразвалку вышел бородатый казак в черной лохматой папахе. Борода не скрывала губ: они были красные, а глаза — зеленые. И весь он был покорный, немой и тяжелый.

Он взял Дашу под руку, и рука его была тоже тяжелая и рыхлая. И не рука ее вела, а она несла руку, и эта рука казалась ей чудовищной: пройдет минута, и она упадет под тяжестью этой руки.

Сосенка на горе, в густом огненном воздухе (ой, как высоко!..). Так хорошо и пьяно пахнет весной, и листочки распускаются на деревьях светлячками и пересыпаются радугой. И ручеек играет погремушками в камнях. Он тоже в радугах. А тяжелая рука невыносимо тянет вниз. Голова такая свежая у Даши, и нет мыслей, а вместо мыслей — лиловые переливы воздуха. И все так четко, прозрачно и крылато. И оттого, что давила рука мертвым телом, и манила к себе сосенка на вершине, что-то хотела вспомнить Даша и никак не могла: что-то нужно вспомнить очень важное, неотложное, полное огромного смысла. Какой воздух хороший — весна!.. А сосенка вся в полете — нагнулась над пропастью и расправила крылья (ой, как высоко!..). Да, да... в этом было все... Товарищ Бадбин живой, товарищ Бадбин — очень замечательный работник... А она, Даша, — былинка: была — и нет ее...

Рядом с нею сопел и сморкался лохматый дядя. И не видела дядю, а только видела воздух и густые лиловые глубины.

И веревка шоркнула где-то далеко, за шеей — совсем не коснулась сознания — и не было больно.

Да, да... Глеб... Ведь это было так давно... Милый, глупый Глеб!.. Такой он большой и родной, а такой глупый... Вот он промелькнул, и — не жалко. Ой, как далеко!.. Лиловые глубины и сосенка, и огненный дождь в весенних деревьях...

Опять скользом через сознание шоркнула веревка, и опять — тяжелая рука мертвым телом навалилась на плечо.

Ну, да. Она шла обратно под небом: впереди — бурый пластатый утес, в капели, а за ним — дымные заросли леса, а за лесом, в воздушной глубине, до самого неба — зеленая гора.

Полковник опять посмотрел на нее быком, и усы мокрыми тряпками лежали на губах и подбородке.

Кроме нее и этого человека на коне никого не было.

— Молодец, стриженная!.. Этот номер у тебя вышел недурно... Особенно здорово, что ты женщина... Можешь итти... Тебя не тронет никакая собака.

Он с размаху ударил нагайкой коня. Екнула селезенка, и лошадь в два прыжка исчезла в кустах.

### 3

#### Цыпленок дутый...

Даша не помнила, как она вышла из ущелья. Не помнила, встречала ли кого по дороге, или шла одна, и как шла — трусливым зайцем, или плелась с последними силами в ногах. Помнила только одно ярко и радостно: сереньких птичек-хохлаток на дороге. Идет — серенькие птички. Упорхнут, а там — опять птички-хохлатки. Поднимут на нее хохолок, пикнут и — упорхнут. Может быть, этого не было в ущелье, а только сейчас: вон они, серенькие птички-хохлатки...

И как только распахнулась перед нею широким размахом предгорная ширь, с пологими увалами и долинами, сразу почувствовала, что она — одна среди этих холмистых далей, что эти голые дымные дали с горящей пепельной дорогой волнуются

первобытной жутью, ползут к ней слепой, необъятной пустыней и растворяют ее в невидимую пылинку.

Назади одна на другой громоздились горы, в обрывах, скалах и зеленых склонах, и чернели широкими провалами ущелья, мохнатые от дремучих лесов.

Тогда — в ущелье — не было ничего, а теперь, среди безлюдного, безголосного холмогорья, в квадратах пашен и зеленой, с пепельной дорогой, разорванной верблюжьими спинами взгорий, она стала беспомощной, одинокой, обреченной, брошенной в бездонную земную пустоту.

Ущелье... Непереносно тяжелая рука... Да, да — сосенка на далекой вершине...

Даша бежала, слепая от страха, с одним сердцем, захлебнувшимся кровью, без воздуха в горле, с обожженными легкими.

Вдали, за волнами холмов, на высоком взгорье, клубилась садами станица, а над ворохами садов белела столбом колокольня с одним черным глазом наверху. И там, за станицей, за взгорьями, облачно дымились гряда горных хребтов.

Выбиваясь из сил, Даша взбежала на холм. Станица туманилась далью и была нелюдимо чужой и угрюмой: она была слепая, но видела степными глазами, как волчица: она видела Дашу и здесь, и в ущелье. Это она, бородатая, папашная, наложила на нее мертвую руку и бросила ее в безлюдную трясиновую глушь. Она — слепая, лохматая, земляная, а глаза ее налиты звериною кровью.

Даша споткнулась о камень и упала грудью в дорожную пыль. Очнувшись от боли в коленке и, похрамывая, отошла в сторону и села на траву, около пашни.

Синее небо, и высоко, над головою, узорчатым инеем облака, а сквозь них голубеет опять небо. И дымные волнистые дали, и тишина — глубже и необъятнее далей. И будто этой тишиной в недрах своих дышит земля.

И вправо, и влево — молоденькая придорожная трава, прозрачная, с золотой пылью, и огоньками горят всюду желтые цветочки одуванчика — маленькие, недавние, как дыплята. Они шевелятся и бегут к ней издалека, такие хорошенькие и родненькие...



И как только увидела Даша эти цветочки, всколыхнулось нежностью сердце. Она задохнулась, забилась всей грудью, вскрикнула и захлебнулась слезами. Потом сразу же успокоилась — замолчала, но встать не могла — не было сил. И все смотрела на одуванчики и слушала без дум земную тишину.

И никак не могла понять, тишина ли это звенела в ушах тоненькой ниточкой, или пел жаворонок. Посмотрела на прозрачные перышки облаков — и там переливались далекие струны. Может быть, это поют облака, а может быть, смеются огневые одуванчики...

Галопом вынырнули из-за холма и загрохотали копытами конные красноармейцы с винтовками за плечами. Впереди во весь опор мчался смуглый человек в черной коже. Даша дрогнула и вскочила на ноги.

Товарищ Бадьин!

Красноармейцы издали кричали вразнобой, скалили зубы и махали руками.

Даша тоже закричала и побежала навстречу Бадьину.

Предисполком осадил коня и на бегу соскочил с седла.

— Даша!..

Она обеими руками схватила руку Бадьина, смеялась и плакала.

Их окружили красноармейцы и впереводку кричали, не поймешь что.

Один из верховых долго молча смотрел на нее (скуластый, большеротый, с глазами глубоко подо лбом), потом так же молча слез с лошади и положил руку на ее плечо.

— Товарищ?.. Вот — конь... Садись... Давай подсажу...

Даша засмеялась, поймала руку красноармейца и потрепала так же, как руку Бадьина.

— Спасибо, товарищ... Я и не знаю, какие вы все — хорошие... Из-за меня вы потревожились целым полком... Товарищ Бадьин дюже горячий...

Красноармейцы стояли, терлись лошадиными боками, смотрели на нее изумленными глазами и смеялись. А большеротый посадил ее на седло, оскалил зубы до самых ушей, так же молча сдернул стремя с ноги другого красноармейца и прыжком кувырнулся на круп лошади.

Бадьин ехал рядом с Дашей и всю дорогу заботливо поддерживал ее на балках и кручах, пробовал подпруги, узду и поводья. Даша видела эту его заботу и улыбалась ему ласковой улыбкой.

— Ну, так что же было с тобой? рассказывай...

— Да нет же, товарищ Бадьин... Ну, покочевряжились и бросили... С бабами им, что ли, дрызгаться?.. Отшили и—все...

И опять засмеялась.

А Бадьин пытливо смотрел на нее знающими глазами и мягко улыбался (такой улыбки еще никто не видал у предисполкома). И до самой станицы ехал рядом с нею нога об ногу и все заботливо трогал седло — крепко ли сидит на нем Даша.

У волисполкома, на площади, перед церковью, стояли табором телеги и лошади в отпряжку, мотали хвостами и вертели рога-тыми башками коровы и овцы. Базарно толпились и орали казаки, выли и выкликали бабы. Мальчишки в папахах и без папах гоняли коники и играли в чехарду. И где-то близко — не то на дворе исполкома, не то в толпе — пьяный голос хрипло надрывался и плакал.

Цып-ле-нок дутый,

На-гой, ра-зу-тый...

Не хватало голоса на выкрики. Он стонал, задыхался, а все-таки пел, жилился, хрипел одни и те же слова, как одержимый.

Борщий в черкеске с кинжалом метал азиатскими белками, сидел за столом и старательно скрипел пером по бумаге. Он поднял голову, зыркнул белками на Дашу, и лицо его, вояки «чортовой сотни», не дрогнуло ни одной жилкой. И только промывчал быковато:

— Ага, счастье твое, что на этот раз смерть оказалась с норовом...

Бадьин грузным шагом, как у себя в Исполкоме, подошел к столу и опять стал замкнутым и холодным.

— Товарищ Борщий, потребуй сюда Салтанова.

Борщий упруго и по-женски стройно подошел к двери.

— Товарищ Салтанов, требует предисполком.

И опять с прежней грацией возвратился на место.

И как только вошел Салтанов и стал у стола, Бадьин холодно, сквозь зубы, сказал, пристально глядя на него исподлобья:

— Товарищ Салтанов, ты отстранен от исполнения порученного тебе задания и арестован. Завтра вместе с Борщием отправитесь в город. Там я немедленно передам дело в ревтрибунал.

Салтанов приложил ладонь к картузу, вытянулся и, пристально глядя на Бадьина выпученными смеющимися глазами, сделал два шага назад.

— Я выполнил строго и точно все распоряжения, которые получил в губисполкоме.

Бадьин отвернулся и молча взглянул на шапку Борщия.

— Товарищ Борщий, ликвидируй всю эту музыку так, чтобы использовать этот факт в нашу пользу. Враждебное настроение должно быть сломлено коренным образом. Когда возвратишься из города, сразу подними все пласты с самого низу. Пойдем на площадь.

И когда шли трое — Бадьин, Борщий и Даша — к возам, казаки в папах, мужики и бабы глядели на них провалившимися слепыми глазами. Возы стояли здесь целые сутки, и целые сутки, не отходя от них, толпились мужики и ночью сидели у костров, как дыгане.

Бадьин вспрыгнул на телегу и оглядел толпу с холодной ясностью в глазах.

— Граждане-казаки и крестьяне!..

Бабы забились и закликали около возов и заглушили его слова. И будто взбешенные бабьим воем и визгом, мужики заорали, замахали руками, и лица их (целые вороха, как арбузы) надувались и лопались глазами и ртами.

Борщий тоже прыгнул на телегу, взмахнул рукою и крикнул по-армейски, оглушительно и дико:

— Да молчить же, бисовы хлопцы!.. Слухай, шо буде балакать выщий предисполком... Не регочить же, граждане, бо нема ще горилки... А коли вона буде — тоди рак в барабан заграе..

И оскалил зубы. И этот окрик Борщия (о, Борщий—свой, станишный казак!) волною прошел по толпе и оборвал бучу. В передних рядах блеснули через бороды зубы.

— Граждане - казаки! За незаконные действия начальник окружной милиции мною арестован. Запрягайте лошадей и отправляйтесь со своим добром по домам. Дополнительная норма

разверстки, которая наложена на вас, по распоряжению власти, для Красной армии, для ваших же сынов, которые бьются с панами и генералами, будет с вас снята. Я вам это говорю прямо. Не о войне теперь — наша забота... Мы не хотим, чтобы поля поливались кровью... Наша забота о народном хозяйстве... Но не наша вина, а наша беда, коли паны и генералы ни на час не дают нам спокойного вздоха... Не о крови — забота, а о земле. Не о людях для боя, а о работниках для полей, о худобе, о мирном труде... Не продразверстка — она отменяется, она не будет, вы о ней не услышите больше!.. — а амбары, полные хлеба, распашка всех ваших угодий... Многополье... товары для станиц и деревень...

Бадьин говорил о продналоге, о кооперации, о демобилизации Красной армии, о железе, о мануфактуре, о бакалее. И тут же крикнул о товарище Ленине, который всю свою жизнь отдал мужику и рабочему.

Толпа шуровила, хлюпала, сопела, сбивалась в стадную гущу у ног предов. Бадьин оборвался, вскинул рукой и еще хотел что-то сказать, но толпа заорала, закликала, закопошилась в свалке мужиками и бабами. Кучами, пучками и вразлет забултыхали руками, лезли на воза с лицами, залитыми радостной кровью.

И как только успокоились и отхлынули банные лица, и закрипели возы, Борщий оскалил зубы.

— Так что прошу, товарищ Бадьин, освободить из-под ареста товарища Салтанова. Побесились и — баста. Вперед будем умнес.

Бадьин опять замкнулся и стал чужим и холодным.

— Товарищ Борщий, всякая склока и ошибки ответработников должны служить уроком не только для них самих, но и для других товарищей. Будет сделано так, как я сказал. Сдай дела надежному товарищу. Завтра ты выедешь со мною в город.

Около них, качаясь на согнутых ногах, пьяненький казак в бороденке рукавичкой, с мясными глазами в слезах, размахивая шапкой и надрываясь до хрипоты, выкрикивал, как малохольной:

Цыпленок ду-тый,  
Нагой, разу-тый  
Пошел на площадь погулять...  
Его поймали,  
Арестовали...

Борщий остановился перед ним, молча, в упор, не мигая, стал смотреть на него глазами вояки из «чортовой сотни».

Мужичонка забормотал непонятную чепуху, завихлялся, споткнулся и упал на землю. Схватил раза два черными раздутыми пальцами воздух и в страхе забубнил:

— Ну, ну, ну... Отаман... Усполюком... Вы — наши отцы, мы — мертвецы... сукины дети... Ну, ну, ну...

И лег в покорной готовности ко всякому лиху.

День и вечер Даша была у женщин. Был с ней и Бадьин. Он говорил с бабами, и она говорила. А баб было много на радостный день. И Даша успешно выполнила задание. Уф, со станичными бабами работа — самое проклятое дело!..

И никогда Даша не видела Бадьина таким, как в этот вечер. Когда она встречалась с ним взглядом, вспыхивали в памяти золотые одуванчики при дороге. И в этих глазах видела Даша немой восторг и неугасающий огонь любви к ней. И до самого сна не отходил от нее ни на шаг, пристальный от заботливой ласки.

А в комнате для гостей в исполкоме Даша (как это случилось — не знает) провела вместе с ним ночь на одной постели, и впервые за эти годы в эти ночные часы пережила от его бурной крови незабываемую бабью страсть.

## IX БРЕМСБЕРГ

### 1

#### Массы

...Чувствовал не каждого отдельного человека Глеб, а внутреннюю лавину мускульного движения масс за собою и впереди себя. Купаясь в поту, он по-бычьей выворачивал киркою цементный сланец и шпат. И не сознаньем, а нутром купался Глеб в этой животной силе: она взрывалась не в нем, а волнами плескалась в него через грохот земли — через камни и рельсы — от этой огромной толпы, муравьиной гирляндой со стопами и криками идущей в кирках и молотах снизу, от труб и корпусов завода, от каменных отвалов, из дымной глубины — вверх к обелискам электропередачи.

Белые клубастые облака перекатываются в сини, и по зелени гор искрами мерцают и порхают роями первые весенние цветы. И опаловым дымом полыхают кустарники в камнях и расщелинах. Здесь — и вправо и влево — горы гигантской кратерной чашей стекающие вниз, там — море, небесноглубеющее в безбрежности и взлетающее выше гор миражным горизонтом. И между горами и морем воздушные глубины волнуются от солнечных вихрей.

Не это важно — важно вот это: прибойные шквалы труда муравьино собранных масс. Вот они, перед ним, и их нельзя счесть и ощупать каждого в отдельности, нельзя поглядеть каждому в лицо. И эти несметные толпы — тоже живые цветы. Красные колышутся повязки: это — женщины, как горные маки. Играют белые, синие, коричневые рубахи и куртки.

Вот оно то, о чем думал так недавно Глеб, что он хотел создать в тоске по труду...

Технорук, инженер Клейст, сухой и мосластый, опираясь на толстую палку, сам лично руководит массовыми работами, и степенные техники и юркие десятники постоянно дежурят около него, надрываясь от усталости, и требуют указаний. А он, сутулый и важный, спокойно и холодно бросает мимо них неслышную команду.

Инженер Клейст — преданный спец Советской Республики... Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста...

Он останавливается недалеко от Глеба, сосредоточенный в себе, и несколько раз внимательно озирает весь размах горных работ, и в глазах его Глеб видит гордость и вспышки волнения.

Глеб заламывает шлем на затылок, смахивает брызги пота с лица и весело скалит зубы.

— Ну, что, товарищ технорук?.. Помните, вы говорили, что эта махина — на месяц труда? А глядите — мы грохаем только третьим разом... Ядовитые люди, а?

Инженер Клейст натужно улыбнулся и, сохраняя привычную важность, разрывая деловое напряжение, сухо сказал:

— Да, да. С таким размахом работы можно делать чудеса. Но это — неэкономная трата сил: здесь нет планомерности и организованного разделения труда. Энтузиазм как ливень — он непродолжителен и вреден.

— Знаменитый факт, товарищ технорук... Энтузиазмом мы бьем целые горы. В разрухе только с этого и нужно начинать. А когда оживим всю эту чертовщину, вот тогда будем планомерно учиться процессу производства.

Инженер Клейст встретил играющий смех в глазах Глеба и забко дрогнул. Опираясь на палку, пошел в гору, к горящим обелискам электропередачи.

Нестерпимо пахло солнцем — каменным накалом и жженой травой. Во рту и глазах горело пылью.

В горах звонили колокола.

Хорошо. Все — огромно и беспредельно. Солнце — живое, как человек. Оно — близко, и бурно насыщает кровью каждую клеточку тела, и кровь — живая, поющая солнцем.

Масса — тысячи рук, сплетенных в тысячах взмахов, в реве лопат и молотов, тысячи тел в чешуйчатом могучем движении

одного тела... Живая человеческая машина, сотрясающая педра камней...

В высь! Железный путь к солнечным вершинам...

Четкие линии рельс струятся по ребрам шпал в пропасть, на дно разработок, и вверх, в паутинные челюсти электропередачи, к колесам в голубых обелисках. Пройдет час — напрягутся железные струны канатов и лягут на солнце раскаленными нитями, и медными трубами запоют вагонетки — и вверх, и вниз — и вверх, и вниз...

Кучерявая, глазастая Поля Мехова, опираясь на лопату, утомленно карабкалась в гору. Вскрикивала, спотыкалась, ломалась былинкой и смеялась.

Лухава стоял на каменном устое, между обелисками, в черной блузе без пояса, с открытой грудью, в сизом пламени волос. Вот-вот он призывно выбросит руки вперед и крикнет...

Поля смеялась от изнеможения и солнца, смеялась лопатка в ее руках, играя камнями.

— Ой, как же я устала, Чумалов!.. Поддержи меня, слабую женщину...

Бросила руку ему на плечо и оперлась грудью на грудь. И дышала со стоном — не успевала дышать. Задыхалась и вскрикивала от смеха.

Глеб опирался на кайлу, она — на его грудь, и оба смеялись друг другу в лицо, без слов — одною кровью. Слышал, как мягко, через полный налив ее груди, толкалось и обнимало его Полюно сердце, и в пьяном переливе ее глаз и влажном оскале зубов он видел бабью ее готовность отдаться во власть его силе. И в каждом ударе ее сердца через полный налив груди, и в игре ее глаз, и в оскале зубов он слышал нутром дразнящие вскрики: — Ну?.. ну?..

Сильным упором ног, с кайлой на плече, шла мимо Даша. За нею — маковая толпа женщины в смехе и криках (бабы в толпе — это птицы в полете). Они шли к электропередаче для штопки путей.

— Вот она, моя Дашка... поводырь! А ведь когда-то была только славная жинка...

Он схватил ее на перепутье в обнимку и прижал к себе. Она засмеялась, вырвалась и отряхнулась курицей.



— Берегись, товарищ Мехова: он изломает тебя одним махом... Я уж его испытала... Коли что — зови меня на помощь...

И глаза ее смотрели не так, как прежде: уже не было в них холодного блеска — трепетала в них теплая ласковая струйка удивления и радости. И пошла, не оглядываясь, с кайлою на плече, в цветущей гуще бабьего смешливого перебива.

— Моя Дашка — молодчина... прямо — золото баба, это надо признаться!..

— Она тебя очень любит и гордится тобою, Чумалов. Даша — настоящая большевичка, и я ее очень люблю.

В глазах Меховой играли ручейки.

... Это никогда не потухнет в памяти. Вот и теперь смотрел на Дашу и волновался, и в сердце полыхнула волна нежности к ней. Она в тот вечер говорила не так, как десяток дней назад. Неумело и скупо рассказала ему о своей передрыге в ущелье. Говорила и поглядывала на него пытливо исподлобья. И при свете электрической лампочки лицо ее и глаза дрожали изумлением, неясным большим вопросом и восторгом. И как только сказала Даша о том, как она прыгнула с фазтона, и как повел ее бородатый дядя на удавку (просто сказала, с усмешкой), Глеб сам стал дрожать от этого трепетного света ее глаз и от обычно-простых ее неуклюжих слов. Не страх за Дашу, не злоба на Бадьина, не ревность, а мутная боль, мутная вина перед нею, удивление перед ее обречением потрясли его. И одно он глубоко, навсегда почувствовал тогда: от этого часа никогда он не скажет ей ни слова упрека и не подойдет к ней ни с обидным мужним вопросом, ни с кулаком, ни с назойливой лаской. И хотел бы, да не сможет. Дни, прожитые с ней, от встречи до этой минуты, отравились стыдом и собственным его бессилием перед нею. Вошло это в него сразу, без раздумья, от одного ее неуклюжего слова, без ужаса перед тем, что случилось, без крика и самохвальства. Слушал ее, молчал, вздрагивал и не отрывал от ее лица своих глаз. А потом подошел к ней (а руки — в карманах) — подошел близко, а ее не коснулся.

— Дашок!.. Все мы — дураки и мерзавцы. Не тебя, а нас надо перевешать. Молодчина, Дашок!.. и на меня, сукина сына, не сердися...

И опять отошел и лег на кровать.

И во тьме, когда лежали отлетом — он на кровати, она — на полу, — Даша заворошила тряпьем и ласково подала голос:

— Глеб... ты спишь?

— Молодец, Дашок... прямо одно слово — молодчага!.. А думаю о твоей веревке — дрожу, и лопается сердце.

А она засмеялась в одеялку, хотела что-то сказать, но спотыкалась. Не утерпела и опять засмеялась.

— Ну, а если я, Глеб, скажу тебе, что я спала тогда с Бадьиным? Ты мне должен устроить скандал. Ведь ты же не раз хотел мне закинуть ногу на шею.

И Глеб удивился: не тронула его Даша этой шуткой, в которой он слышал тревогу и смутную правду. Ударила словом, а не было больно. Сгорела ли ревность за эти горячие дни, или Даша стала дороже и больше жены — в сердце его только волновалась нежность к ней, как к новому другу, которого он не имел раньше никогда.

— Башка у меня сейчас — чистая жаровня, Дашок... Думаю о веревке и твоей переделке — и у меня болят все печонки... Ну, если было — пушай было. Мы — сукины дети, и ты меня можешь крыть почему зря... Надо цапать теперь человека с другого боку. Пушай... будет час — научимся добираться и до самого человеческого нутра... А теперь только болят печонки, Дашок...

И опять засмеялась Даша в своем уголке в одеялку.

— Ну, спи... Я не знаю... Будто жизнь начинает заворачивать назад, к молодым моим дням, только заворачивать другой дорогой...

Полежала немного, повозилась и опять подала голос:

— Глеб?.. Ты спишь?

И не успел ответить Глеб, как встряхнулась она на своей постельке, забумкала по полу голыми пятками и кувырнулась к нему под одеялку.

... Савчук в головке строительных рабочих пришивал рельсы шипами к шпалам, — грохал молотом в пьяном припадке

взбешенного трудом человека. Кровью набухало лицо, кровью горели белки, и толстые жилы на руках и на шее узловатыми веревками оплели мускулы под кожей, набухшей от натуги и пота.

Глеб вскинул кайлу на плечо и пошел от Меховой в передние ряды.

— Бей, Савчук, чортов бондарь!.. Крой не кайлой, а утробой!..

— Бьем, идолы души!.. Коли растравил, иди в головке, подлый друг... Найдем огня и для завода...

— О-гой, товарищи!.. Берем горы на ход, чтобы горы заорали — урра!..

Он взмахнул кайлою, и от рева у него вздулись жилы на шее. И масса взорвалась кирками, лопатами и молотами, и в гуле и стоне заволновалась, ошестинилась, как армия оружием:

— ...рра-а!.. рра-а!..

И с высоты видел Глеб, как могучий, потрясающий рев и грохот прибойной волной живоотно катился вниз, на дно горы. Там люди были маленькие, как муравьи. Они тоже махали там руками и инструментами и, вероятно, тоже кричали.

Мехова во весь размах глаз смотрела на Глеба.

Последние рельсы клепали и крепили к шпалам. Канаты лежали змеями на блоках и струнно гудели металлом. Колеса крылато насыщались электрическим полетом.

Красноармейцы, опираясь на винтовки, держали караул в седловине перевала. Над ними и мимо них стекали вниз зеленой пеной кустарники и туя. Винтовки и шлемы — ядрены и чутки, и зорко смотрели товарищи красноармейцы на камни и в дремучие провалы по ту сторону гор.

Разбитый, с дрожью в конечностях, с набухшим от крови лицом, выбыл из строя Сергей. Он отошел к Меховой и свалился около нее на камни.

— Ну что, милый интеллигент?.. Не скажете ли вы, что не всегда сладки корни коммунистического труда?

И Мехова ласково потянула его за рукав.

А улыбка его засветилась весело, по-ребячьи, и с носа и подбородка огненными капельками скатился на руки пот. Он взял руку Поли и пожал по-дружески крепко.

## 2

## Ставка на кровь

Работа к концу всегда напряженно-пьяна: последние удары — всегда разяще метки и размашисто сильны. И когда с электропередачи врезался в массы тревожный крик Лухавы, передние ряды смешались в испуге и изумлении.

Лопался воздух далеко, за вершинами, и осколками падал на землю. Но за грохотом работы сначала не было слышно выстрелов. Красноармейцы суетились у перевала: прыгали в перебежке, ложились в камнях и стреляли торопливо, вразброд, без команды.

Лухава взмахивал руками и кричал надсадно, до хрипоты: — Товарищи!.. спокойствие!.. Все — на своих местах!.. Нападение бандитов из-за хребта... Работы не прерывать!.. Не допускать паники!..

Стрельба взрывала воздух, и он осколками падал на землю.

Работы внезапно остановились, и тысячи людей от вершины до дна забуровили лавиной. В центре началась паника: лопнули скрепы, и толпа неудержимым потоком понеслась вниз, падая, кувыркаясь, сбиваясь в густые кучи. Бежали и вправо и влево, и отдельные группы и одинокие фигуры, ложились, катились снопами, опять подымались, останавливались и опять бежали.

Глеб вскарабкался на пластатую скалу и замахал кайлою.

— Стой!.. на месте, чортовы люди!.. Товарищи-коммунисты — ко мне!.. Бей кайлой глухого и труса!..

И головной отряд рабочих профстроа хлынул по шпалам и по камням к Глебу, а за ними в одиночку и артелями бежали другие. И вниз по одному, и хором завывали голоса:

— Сто-ой!.. сто-ой!..

Люди и вправо и влево катились вниз, кувыркались и брызгами разлетались в стороны, в кустарники и скалы.

Грохотали выстрелы, будто лопались камни в горах.

Глеб бросил кайлу и прыгнул со скалы.

— Сбегай вниз, Савчук, и ты, Громада, и ты, Дашка!.. Ставь на места! Бери за жабры... в хвост и в гриву чортово стадо!..

И Савчук, и Громада, и Даша, и еще, и еще—каменьями запрыгали вниз.

— Товарищи-коммунисты — ко мне!.. Бери винтовки, товарищи... на электропередаче... Живее шагай!.. Шуганем городом, товарищи...

И сам первый побежал за винтовкой. За ним побежали артелью коммунисты, а за ними — беспартийные рабочие.

На устоях работали металлисты и электрики — работали спокойно и молча, только в глазах угарно мерцали угольки тревоги.

Разбирали винтовки и патроны, щелкали затворами, давили и буторили друг друга, скалили зубы и кричали. Рубахи — мокрые на спинах. Умывались потом, стряхивали капли пальцами и вытирались рукавами. Беспартийные рвались к винтовкам, а их отшивали. Митька-забойщик, гармонист, с синим бритым черепом, свирепо задышался и выл:

— Не махай, махалка!.. Не задавайся на три копейки!.. Я, может, ждал этого хвакта однажды сорок разов... Пешка!..

Размахивая руками, он пробрался вперед и вцепился в винтовку, оскалив широкие зубы и подмигивая одним глазом.

— Вот она, матаня!.. Крою, товарищ Чумалов!.. Крою, черти пустопузые!..

Врассыпную, гремя затворами, перебегали тут и там рабочие, смешно приседая и ползая на четверках.

Удушливой гарью перехватывал горло каменный воздух. Пахло солнцем и женой травой. Поля карабкалась по камням около Глеба. Он чувствовал ее мягкое плечо и острый запах женского пота.

— Ну, зачем пошла? Такая игрушка стоит мозгов...

— А почему же мне не пойти? Почему ты можешь пойти, а я — нет?

— Я знаю, как ходят в этом разе. У тебя еще ноги приросли к юбке.

Поля звонко захохотала игруньей-девочкой.

Впереди, в разных местах, перебегали красноармейцы и рабочие, останавливались и стреляли с коленки. Очень далеко — в море ли, за горами ли — пели сирены.

— Ведь это — пули, Глеб... Я уж давно их не слышала...

Глеб шел с винтовкой наизготовку, с ним рядом — Поля, тоже с винтовкой. На лице у нее были только одни глаза. Длинные кудри горели золотыми стружками на солнце.

Уж не рабочий был Глеб с винтовкой в руках, а опять боевой красноармеец-военком. Коротко и четко дал дело отряду — зайти с левого фланга, в тыл бандитам, и выбить их из лесочка на лысину склона, под удар красноармейцев на перевале. Сам на виду у обоих отрядов, с вершины будет руководить боем.

— Слышишь, Глеб? Они — рядом: стреляют из-за вершины. Они шли наверняка — вызвать панику, а потом разрушить бремсберг.

Глеб не ответил. Он браво взбирался на крутизну, часто останавливался и оглядывался на бремсберг. Мехова не отставала от него. Юбку подняла выше колен.

— Гляди: круто ущемила братва... Ставят загоном на место... Давно бы надо такую переделку, чтобы выгнать всех крыс из утробы... Ничего: еще придется порядком побанить братву...

На лице Поля были только одни глаза.

Куполом горела вершина, и железный треножник — геодезический знак — ярко горел красной ржавчиной на макушке.

Вползли на острую грань горы, где за ребром, широким отложьем, в рощах и перелесках, в лощинах и взгорьях, воздушно катились дымные дали, к другим сизолиловым хребтам, к тучам, ко льдам, осевшим на горизонте.

Легли у треножника. Легли и — сразу не стало высоты. Не было высоты и грани — под руками были плиты и щебень. Пахло жженой травой и серным накалом цементняка.

— Я ничего не вижу, Глеб... Где они?

Поля поднялась на колени и потянулась к треножнику.

Тинькнула железным жвыком натянутая струнка.

Глеб рваком дернул Полю за юбку. Мягко хруснула и лопнула на боку гнилая скрепка. Поля засмеялась и села около Глеба.

— Крючок оборвал... битюг!..

— А ты сиди лягушкой... Пришьют — не узнаешь. Я чувел терпеть не могу...

И выпучил на нее набухшие белки. Сказал, а сам пополз за треножник.

От вершины, вправо, в глыбах развалин, — стена из голубых и желтых пластов. Развалины древних стен и кучи рассыпанной кладки. И в них и между ними — бурые охапки кустарников — туи, кизила и шиповника.

Глеб вытянул шею и распластался на брюхе.

В кучах камней, мызгая в щелях развалин, с ружьем наизготовку, хищно крался загарный казак без папахи. Когда приседал и прислонялся к камням — таял, рассыпался в невидимку.

— Я его сейчас застрелю, Глеб... Я не выдержу...

Дрожали руки у Поли, а на лице были только глаза.

— Только бахни — пришью на месте... Лежи!..

Поля оскалила зубы.

Глеб пополз по камням к кучам развалин, скрываясь в кустарниках. А потом увидела Поля, как Глеб побежал горбуном в расщелинах глыб. Стал неслышный и серый: камни тоже окрасили его в невидимку.

Казак остановился, дернул испуганно головой и вскинул винтовку. Присел и опять рассыпался.

Сердце ли билось у Поли, или далеко, в лесу, бухали выстрелы, — дрожала гора, и в недрах ее, глубоко, взрывались породы.

Успел убежать, или заметил и ждет? Подпустил — или убьет Глеба?

Зубы дробно стучали у Поли. Сжимала до боли челюсти, а зубы все-таки стучали, и мускулы скрипели под ушами. Вскочить. Побежать. Закричать до надрыва и слепо стрелять, бить, с гарью, с огнем.

Выстрела она не слышала, только гулко полыхнул на нее воздух и ринулся с вершины в пропасть, и осколки скалы зазвенели разбитыми плитами. И в звоне камней звериным оскалом зарычал хриплый голос и задохнулся рвотой. Это — не Глеб: так Глеб не может кричать. Хрипели и захлебывались звери, и плиты звенели разбитым стеклом.

Поля, с винтовкой, широкими взмахами ног побежала в утесы, — туда, где был Глеб. Не было его следов, но они горели под ее ногами. Гармонные пласты взорвались перед нею щебнем, и пыль вспыхнула пламенем. Брызги камней прыснули ей в лицо и обожгли щеку и лоб.

У скалы, ломая кустарники, извивались в волчьей схватке Глеб и казак. Под ногами Поля дребезгом звякнула брошенная винтовка. Выгибая спину, Глеб выворачивал лопатки и, с распухшим от напряжения лицом, рвал винтовку из рук казака.

С безумными, выдавленными глазами, обмазанный пеной и слюной, казак по-медвежьи, вертушкой крутил винтовку, и видно было, как мускулы его натягивались и прыжились буграми под чекменем. Он задыхался и хрипел в натужливой матершине, тащил за собою Глеба под откос — в каменную бездну, изрезанную ребрами и ступенями пластов. Пули вонзались позади них в плиты и щебень и взрывали их дымом и брызгами.

И в то время, когда Мехова нацелила прикладом в голову казака, Глеб правой рукой обхватил его шею и прищемил его голову лицом к ложу винтовки, а другою сковал его руку выше кисти и сломал наотлет. Казак заскрежетал от боли и ярости, взвизгнул и забился в руках Глеба в последних порывах. До дрожи во всем теле Глеб стянул ту же узел на шее. И нутром поняла Поля: пройдет еще миг, и Глеб надорвется, и оба они грохнутся в пропасть. Теряя сознание, Поля с размаху ударила прикладом в бок казаку. Он обмяк и замычал оглушенной скотиной.

— Не могу!.. Каюк!.. Иду до сдачи... Ваша взяла...

Рука Глеба соскользнула с шеи казака и сковала другую его руку. Дремучими кровавыми глазами пойманного зверя казак смотрел на Глеба, и в них чернела смертельная ненависть и жуть. Из носа и рта тягучей слизью стекала вместе с слюною кровавая жижа. Выворачивая белки и дергая сожженной башкой, он захлебнулся слюною и кровью и, дыша затравленным зверем, опять промычал хрипло, утробой:

— Да пусти ж!.. Я ж ничего не могу... Каюк!..

Поля стиснула плечо Глеба и рванула назад.

— Скорее убирайся отсюда, Глеб!.. Разве не видишь — мишень?..

Глеб взглянул на нее через плечо непонимающими глазами и выпустил руки казака. Грудь надувалась, рвала гимнастерку и подбрасывала плечи к ушам. Шлепнул ладонью по кобуре: но револьвера не было.

Истерзанный борьбою, казак хрипло брызгал липкой кровавой слизью. Вздрогнул, оскалил кровавые зубы и змеиным изгибом прыгнул к обрыву.



— И-их, бисовы души, подлюки, взяли казака на кочерыжку!..  
Ловите казака в полете!..

Взвизгнул, как на джигитовке, и с разбегу кувырком полетел в пропасть.

Глеб подбежал к утесу и на мгновение увидел, как тело казака кувыркалось далеко внизу по камням, шлепалось о выступы плит, вертелось в воздухе, опять шлепалось и отшибом швырялось в разные стороны.

Рука Поля опять дернула его от обрыва назад.

И сразу же услышал Глеб стеклянные взрывы плит в скале в брызгах щебня и пыли. Нагнувшись над землей, побежал за кучи камней, а Поля шла спокойно и молча, как слепая.

С свирепыми белками Глеб прыгнул обратно к Поле и взмахнул кулаком:

— Бахну вот... убью, как гадюку, чортова кукла!..

Поля молча смотрела на него, как слепая. Потом вздрогнула и ударила его винтовкой по руке.

— Убери руку, болван!.. Собери свое оружие — растерял по дороге...

И пошла на старое место к треножнику на вершине.

... Из лесочка бежали врассыпную люди, спотыкались, стреляли, падали, кувыркались... Грохот выстрелов, пыль, огонь и рев за вершиной, где скрывалась цепь красноармейцев. Поля лежала на животе и тоже стреляла. Винтовка больно била в плечо, а она, в бурном восторге, щелкала затвором, целилась и била по заячьим, прыгающим фигуркам вдали.

И смутно помнила, как мимо нее пробежал через вершину Глеб, и глухими вздохами рычала из-за горы его боевая команда.

### 3

## Электрический зум

Струнно пели колеса на электропередаче, и чугунные их спицы взмахивали черными крыльями в разных наклонениях и пересечениях. Стальные канаты паутинно наматывались

и разматывалась на желобах пузатых ободий. Электромонтеры, рабочие и комсомольцы, в головке с бронзовым Лухавой и инженером Клейстом, в немом очаровании смотрели на электрический полет колес и слушали воскресшую музыку машин.

Лавина человеческих масс, стекающая вниз на версту глубиной, по шпатам и сланцам, изгрызанным ветрами и ливнями, по ребрам плит и отекам брекчин, кипела, волновалась, ревела бурливым чревом, умноженным на тысячи, колыхалась в судорогах сплетенных мускулов, и спазмы этих мускульных волн потрясали толпы, как тело гигантской сколопендры. От самой электропередачи до дна, где громоздились пирамиды каменных отвалов, водопад толп полосовался на два потока, и в середине пепельно-огненной дорогой натягивались до звона на бесчисленных ладах четыре горящих струны.

И между этими людскими потоками, далеко внизу, ползла по струнам, вцепившись в змеиную нить каната на ролах, играющих флейтами, кубическая, усеченная снизу, черепаха.

— ... рра-а!.. рра-а!..

И будто не рев это был тысячных толп, а вой бури в кратерном раструбе горных взлетов.

Нестройной толпой сходил по ступенчатым пластам с перепада отряд рабочих с винтовками. Красноармейцы попрежнему зоркими птицами занимали свои прежние места. Впереди отряда шли Глеб и Мехова. За ними несли на ружьях тело товарища.

Отряд спустился к машинам и побросал винтовки. Лица рабочих были пьяны и заляпаны потною грязью. Тело товарища, с кровавым шматком вместо головы, положили на бетонную площадку в ногах толпы. И стадом, напирая друг на друга, с разноголосым криком, толпа бросилась к отряду и захлестнула его баннным хороводом. Взрываясь хохотом и рычаньем, толпа смяла рабочих, схватила и проглотила Глеба. Болтая руками и ногами, он чучелом взлетел в воздухе и опять упал в гущу толпы. Подхваченный ревом и хохотом, опять взлетел над головами... и опять... и опять...

Около трупа — другая толпа, молчаливая, строгая, с болью и страданьем в лицах. Уже в этой залитой кровью голове нельзя было узнать Митьку-гармониста с бритой башкой, который нахрапом зацапал винтовку и затесался в отряд коммунистов.

Тут же, в месиве толпы, комсомолки перевязывали раны товарищам.

— Побанилась, братва, а рожки краше поросся... Землю роют, черти не нашего бога...

— Хо-хо... пахари!.. Всех покроем вдрызг, к чортовой матери... Горы коровой завоюют...

И один голос захлебывался от радости:

— Шкуру спущу!.. Подай еще тыщу генералов — вдрызг раком поставлю. Братики мои разноматые, портошные и беспортошные!.. Пой Интернационал... Крышка!.. Бабы, безусловные мамочки, до чего же я зарез имею до женской организации... Подай мне сюда весь женотдел — распластаю, оближу и высосу...

Подходили новые толпы, кричали ура. Опять качали Глеба. Застывали около трупa и мычали от боли.

Мехова толкалась в толпе и все кричала до надрыва:

— Товарищи!.. Товарищи!..

И на лице ее были только одни глаза.

К Глебу подошел инженер Клейст и, с судорогой на щеке, сохраняя привычную важность, молча пожал ему руку.

А Даша прошла мимо Глеба, положила на плечо ему руку и посмотрела на него влажными глазами, и в них не потухала новая радость и удивление.

— Глеб!..

— Дашок!..

Но она не остановилась и утонула в потоке толпы.

Вот оно, самое главное — массы... грохот труда... крылатый полет колес... Ночью завод открыл глаза электрическими лунами, и потухшие льдистые лампочки в квартирах рабочих зажгли свои путанные нити. Завод. Он уже дрогнул, уже подземно гудит в недрах его скрытая сила, и глядит он окнами с тоскою, как человек. И массы, которые разбудили горы, умершие в одичании и плесени. Бремсберг, гремющий живым железом. Вон там, из трубных жерл, закрубятся черные облака, и воздушные черепахи залетают на пирсы и сюда, на высоты, пожирать сланец в каменоломнях. Козы... зажигалки... мышинный писк подпилков...

Лухава стоял около машин, что-то кричал вниз и размахивал руками.

Грохнуло железом и звякнуло в колесах. Они дрогнули и остановились.

Глеб сбежал по ступеням вниз, под машины. Большая, покрытая серебристой пылью тления, стояла вровень с площадкой вагонетка-платформа, и пахло от нее плесенью дна.

Он опять вбежал наверх и, с привычкой к военной команде, крикнул в толпу:

— А ну, несите труп товарища на вагонетку. С честью спустим вниз. Пущай глядят... все, которые там... до конца...

Труп подхватили много рук. Осторожно и молча спустили по ступеням и положили на вагонетку.

— Товарищи!.. Ребятки!.. Кайлу-то его... винтовочку-то его... Рядом, товарищи!.. бок-о-бок, товарищи!..

Глеб вышел на устои, стал между голубыми обелисками и широко взмахнул рукою.

— Ход вниз!.. Веселее!..

И вагонетка под шум колес поплыла вниз по рельсам, как птица, воздушно и плавно.

Глеб опять широко взмахнул руками над головою.

— Товарищи, слушай!.. Жертва труда... общим упором... не плач и рыдание... победа рабочих рук... завод... то дело — за нами... загремит огнем и машинами... великое строительство рабочей Республики... сами... своим животом и мозгами... кровь и страданье борьбы... то наше оружие в победе над миром... Грянем, братва!..

И он первый запел, размахивая руками. Подхватили дальше, нестройно, ревом... ниже, глубже... разрывались горы от рева, за клубился, завьюжился воздух... Дрожали горы от землетрясения. А вагонетка плыла и колыхалась в воздухе, как малая птица в буре и потрясающем громе...

## Х

# ВНУТРЕННИЕ ПРОСЛОЙКИ

### 1

#### Тихие минуты

Из заводской столовой, через усталую толпу, усталые, Даша и Глеб вышли на шоссе и свернули на одичалую дорожку в кустах, опутанных космами дикого винограда и гирляндами жирной, неумирающей зелени плюща. И только нырнули в молодую поросль дубов и грабов, по-весеннему сизых и слепых, по-весеннему прозрачных и дрожащих от нутряного шопота, — догнала их Поля Мехова.

— Товарищи, хочу проводить вас до вашей норы. Хочется отдохнуть около вас... в тишине...

Оба — и Даша и Глеб — взглянули друг в друга. Что-то вспыхнуло в глазах у него и у ней. Вопрос? Удивление? Досада? Не сказалось ни в движении, ни в слове.

Даша протянула руку и подхватила Полю под локоть.

— Ты у нас, товарищ Мехова, не бывала ни разу. Живем вместе в работе, а как живем сами с собою — не знаем...

Поля тряхнула кудрями и запуталась ими в лапчатой ветке. Вскрикнула, остановилась и засмеялась. Взяла пальцами шелудивый, в плесени, сучок, поглядела на него в пытливой радости и понюхала.

— Как у вас хорошо здесь! Я давно не видала леса. Пахнет прелью и мокрой землей. А этот горький и сладкий запах — это почки и древесный сок. Как это было давно! точно от детства... Здесь, в этих зарослях и ущельях, будто чувствуешь себя не изнутри, а со стороны... а потому немного больно

и грустно. Там, в горах, на работе, не было грустно, а вот сейчас от этого дубка и весеннего запаха — колыхнулось... Должно быть, мне нельзя уходить в природу от дела... Возьму под руку твоего мужа, Даша: у него силы столько, что хватит налить нас обеих... Мы же — слабые женщины...

Она болтала как девочка, играла с ветками, смеялась, нервно вздрагивала, торопилась от волнения, хотела сказать что-то большое: может быть, заплакать хотела, может быть — пожаловаться, может быть — отдаться омуту собственных чувств... Перебежала к Глебу, взяла его под руку и через Глеба посмотрела на Дашу.

— Ты не ревнуйшь, Даша?

А Даша усмехнулась и тоже взглянула на Полю — взглянула хорошей подругой.

— Тебе, товарищ Мехова, хочется, чтобы я оттрепала тебя за волосы? Коли тебе так втемяшился этот медведь, можешь не сомневаться в его силе...

— О, я знаю его силу!.. Чего стоит одна схватка с казаком на горе...

И Глеб почувствовал, как рука Поли прижала его руку к теплой мякоти своей полно налитой груди. Здесь — Дашка, здесь — кучерявая Поля: обе женщины волнами проходят через сердце и встречаются в нем горячим наплеском. Тут — Дашка, такая большая и такая близкая, которую трудно понять и осилить. А Поля — огонь и слабый ребенок, и она дрожит от тревоги и постоянных порывов. Он прижал локтями руки обеих женщин и тоже засмеялся.

— Ну, вот садитесь обе... на руки!.. дотащу до самого дому...

Даша толкнула его в бок и задрала голову в горластом выкрике:

— Уф, не хвались, на рать идучи, вояка!..

— Туда к чорту... Садитесь!.. Стали женотделками, так воображаете, что не такие же бабы?.. Садитесь!..

У Поли шаловливо вспыхнули глаза и смехом задрожали ресницы.

— Садись, Даша, — пусть попыхтит... Сегодня ему здорово досталось: на бахвальстве он далеко не уедет.

— Бых, чекалки курносые!.. Садись... на!..

Он раскинул руки, пригнулся и подхватил и Дашу и Полю под бедра. Обе в один мах с криком и смехом обняли его за шею, и их руки переплелись локтями и пальцами. Щелкнули у Глеба кости в коленках, и шея и лицо напрыжились кровью. Не убавляя шага, он твердо шоркал ботами по щебню и нес обеих женщин, как малых смехотушек-девчонок.

Первой прыгнула Даша, задыхаясь от смеха, а Поля замедлила и украдкой прижалась к нему грудью и кудрями.

— А-а... то-то!.. Вот вам—не хвались, идучи... свистульки!..

Обе — бабы, и у обеих — мягкие, налитые груди. Но Даша — иная, своя, а Поля — иная, чужая.

Солнце уже догорало: оно тухло в ущербе за дальними хребтами, и небо над головами было густое, жирное, в сини, а над солнцем, в опаловой мгле, — огненное. Горы очень близко сползали с вершин застывшими потоками железа и меди в изломах и террасах разработок. А вправо, из-за пологого отложья, по крутому ребру, желтой распаханной бороздой резался бремсберг.

Со дна ущелий вверх, по кратерным впадинам, плыли фиолетовые вечерние тени, покрытые пеплом. А горящие полосы и пятна на ребрах и склонах еще жарко пылали и звенели камнями. И здесь, в сизых паутинных кустах, в пустотах, с дорожкой, заросшей травой, низинная предвечерняя тишина наливалась густо, как вода. Она струилась из земли, из дремучих зарослей леса, из оврага с ручейком в погребушках. Мокрые камни на дне — живые, как черепахи, и вода плещется там, черная, с синими вспышками. Эта долинная мгла, насыщенная хмелем весенней земли и травы и еще нерожденных листьев в беременных почках, вздыхает земной глубиной, корнями и воздушными недрами. И только в прозрачной путанице ветвей оранжевыми факлами пылают вершины бетонных труб. И Уютная Колония невыносимо ослепляет глаза пожарным раскалом в стеклах. Это — наверху, а внизу, по взгорью, домики и казармы дымились и таяли в сумерках.

Эти две женщины (Даша — иная, своя; Поля — иная, чужая) близки, они двумя волнами проходят через сердце и в сердце встречаются горячим наплеском. Какая волна отхлынет первой

из сердца? Или обе волны пройдут одна через одну и уйдут в разные стороны навсегда, без возврата?

— Да... то, что пережито сегодня, не забыть никогда...

И в размахе ресниц Поли увидел Глеб скрытое значение сказанных слов. Понял, что там на вершине, на краю пропасти, под пулями, между ним и Полей кровью завязан, помимо их воли, новый волнующий узел.

Глеб промолчал, будто не слышал, что сказала Поля. А Даша шла немного впереди и ломала черные ветки.

— Какой воздух хороший, товарищи... словно мед!.. Скоро все будет в зелени и цветах.

Зачем отошла от них Даша? Нарочно? Почуяла их тайную связь? Может быть, она одна хотела купаться в этом предвечернем воздухе, пьяном весной?

— Ты хорошо сказала, Даша: мы — близки только в работе, а по-человечески, по-нутру — оторваны, чужды друг другу. Это — одно из наших тяжелых противоречий. Мы — только работники. А стоит по-человечески близко коснуться друг друга панически слепнем и замыкаемся. И ничего мы так не боимся, как своих чувств. Стоит только взглянуть каждому в глаза: они — холодны, мертвы, металлические какие-то. Мы — всегда — под замком: днем запираем на ключ наше нутро, а ночью — комнату.

— Ты говоришь, как нежная барышня, товарищ Мехова. Это — правда: нам некогда заниматься душевными делами. Люди подождут, товарищ Мехова, а дело, когда проворонишь, улетит из-под носа, и его не поймашь.

— Ну вот... так говорят многие... А ведь от одиночества страдает большинство, но говорить об этом все боятся, потому что боятся насмешки, презрительного взгляда и упрека в идеологической неустойчивости. А при чем здесь идеологическая неустойчивость? Просто — больно...

Даша уходила все дальше от них и все ломала кончики веток, и ветки чиркали по-птичьи. Глеб с неуклюжей лаской потрепал взъерошенные кудри Поли.

— Ты напрасно поешь свои серенады, товарищ Мехова. Дашку я крыл всякими атаками — и с флангов и в лоб, а она меня все-таки клала на обе лопатки.



Даша курлыкнула от смеха и издали сверкнула зубами.

— Глеб похож на тебя, товарищ Мехова: он — такой же мягкотелый и сейчас не прочь разыграть из себя жениха.

Поднимались по дорожке в улочку. Солнце было как кровь на далеких хребтах, и они, зубатые и черные, грызли его, как огненный блин. Город под горами четко полосовался прямыми низкими улицами от набережной вверх, по склонам, и глыбами камней скатывался в ущелья. Между пристанями и молами море дымилось перламутром, и смахивались раз за разом пленки с поверхности — черные и рыжие. Корпуса и башни завода громоздились в глубоком молчании, как нетающие льдины.

— Я переживаю сейчас мучительные вопросы, товарищи. Новая экономическая политика... Мы вступаем в полосу тяжелых противоречий, и все делают вид, что их не замечают. Я все время в тревоге и жду чего-то страшного.

— Что такое, товарищ Мехова? Тебе нужно починиться: у тебя подгнили подпорки. Пойдем, я тебя угощу кипятком с сахарином, а потом Глеб тебя проводит до дому.

Поля взглянула на Дашу испуганными и растерянными глазами и быстро пошла по дорожке к пролому.

Даша долго смотрела ей вслед, и лицо ее вздрагивало от ласковой насмешливой улыбки.

— Хорошая девка... умница... А какая у ней треснула пружинка?.. Хочешь, проводи ее, Глеб: ты ее здорово зацарапал за сердце...

— Дашок!.. Не хочу в камору, будь она проклята. Пойдем на гору — посидим и подышим.

— Ну, да!.. И я то же говорю... Пойдем на бассейн...

Глеб удивился: сейчас вот, впервые, Даша взяла его за руку, кисть в кисть, и пошла рядом с ним, как милая подруга. Шла и молчала, а Глеб чувствовал, что она волновалась. Рвалась сказать ему слово, а какое слово — невдогадку: может быть, такое слово, которое говорилось только в первые дни их любви, а может быть, такое, которое не говорилось еще никогда. И Глеб молчал — ждал этого Дашиного слова.

Мимо палисадников и домиков шли в гору по щебню, по зубцам горных пластов. Бассейн был высоко над Уютной Колонией, и вода отсюда подавалась по магистрали вниз

до рабочего поселка, а дальше распределялась по службам, по лабораториям, по цехам и корпусам.

Они обошли каменные отвалы и штольню с железной заржавленной дверью на замке, и эта заржавленная дверь и заваленный камнями ход в нутро горы были зловещи, как тайна древнего капища.

Широкая длинная площадка из бетона — ровная и легкая на шаг, колокольню-звонная и поющая нутряными струнами.

Внизу, под горой, ступенились к трубам красные крыши казарм, за ними — корпуса и вышки завода, а еще ниже — фиолетовый залив в спиралях зыби у берегов, и за молами море пучилось необъятным пузырем, с горизонтом выше труб и далеких хребтов, и эти далекие горизонты нельзя уже было отделить от неба.

По дорожкам от завода к Уютной Колонии группами и в одиночку шли рабочие. А по бурому отеку горы, далеко за стеною, бежала по узенькой бледной дорожке маленькая девочка и размахивала руками.

Даша села на гладкий бетон и обхватила колени отекшими от работы руками.

— Товарищ Мехова шагает... Она — странная, товарищ Мехова: то не согнешь ее никакими клещами, то вся дрожит как лозинка. Боюсь я, чтоб с ней чего не случилось. Ты разве не чувствуешь, как она до тебя цепляется? Ведь ты же ее не отшибешь, коли она схватит тебя за нутро?

Глеб, пораженный, лег около нее и ничего не увидел в ее лице, кроме затаенной улыбки. Что с нею? Берет ли она его на испытку, или в этих ее словах скрывается особый, неведомый ему смысл? Он не знал, как ответить на этот ее вопрос, и не знал — сердиться ему или смеяться. Она угадала, чем дышит его кровь, и уловила в его нечаянных взглядах, в улыбках и движениях отражения Поли — нетухнувшие искорки ее бровей и ресниц. Две волны встретились наплеском и прошли одна через одну и через удары его сердца.

— Ну, Дашок... Ты ныряешь по всяким заковыркам. А закидываешь удочки далеко, на глубокое место...

Даша вскинула голову и усмехнулась (овва, усмехнулась по-бабьи!), но на него не взглянула.

— А я разве сказала тебе загадку? Я только говорила прямым неукрытым словом: это—твое дело. Ведь ты же был независимый, коли имел дело с бабами. А разве и я и Мехова — не равноправные бабы?

— Вот туда к чорту!.. Ты меня просто затуркала: не знаешь, чем тебя крыть!..

— Ой, Глеб, какой ты нехитрый!.. Нехитрый и скрытный. Непрямой и слабый. Разве я била тебя упреком за твои бабьи дела? И ты думаешь, я буду брать у тебя мандат на мои бабьи поступки, коли б на то была моя охота?

Ее слова били больно по сердцу, и она была такой неотразимой, такой новой и крепко сбитой в своей правде, что он не мог уже взять ее голыми руками, и на ее слова у него не было слов. И тогда уже, в первый раз (проклятое ущелье!), он сразу почувствовал, что и он, Глеб, стал иным — не тем, каким был вчера, точно внутри у него сгорела старая кровь, и в мозгах произошла передвижка. И нестерпимой болью, через ужас, его душа метнулась тогда незабываемым порывом любви к ней — не к бабе, а к человеку, роднее которого нет никого. Что было бы с ним, если бы она погибла в тот день, когда он не думал о ней, а думал и горел заводом, машинами и цехами?

Вот она вся здесь, и вся она вышла из прежней. Ну да: она таила себя такую и в прежние годы, но глаза его были слепы, и весь он был до этих дней только дикий самец.

И как это вышло в ту ночь молодо и бурно! Не он потащил ее к себе на кровать, — не ломал ее и не путал ее рук, — она сама пришла нагой девчонкой и схватила его сильной обнимкой...

Под бетонной площадкой, в глубине, сверчками играла вода и пела далекими струнами, и что-то большое и живое вздыхало в пустоте, под бетоном. И казалось, что эти вздохи и струны плывут и колышутся в лесу и над лесом и струятся из низинных фиолетовых сумерек.

Все было воздушно, глубоко и необъятно. И горы были уже не хребты, в камнях и скалах, но густой копотный дым, а море, в безбрежном вздыблении — не море, а лазурная бездна, и они здесь на взгорье, над заводом и вместе с заводом — на осколке планеты, под бездной и над бездной, в неощутимом полете в бесконечность.

Глеб положил голову на колени Даши и увидел над собою ее лицо и лиловое небо, и лицо ее с огнистым пушком на щеках было тоже лиловое, а в глазах — удивление и созревшая, невысказанная мысль.

Боль волнами обливала нутро... Она, его Даша... жена... И в этой боли было одно: Дашу нельзя убить — она стала сильнее его руки и недостижима навеки.

— Здесь, на верхотуре, под небом, хорошо лежать у тебя на коленях, Даша. Мы с тобою еще никогда не были такими закадычными друзьями, как в этот вечерний час... Расскажи же мне, как ты без меня сбивала свои мозги и кости и в каких была переделках...

Воздух вспыхнул молнией, и лиловая мгла пеплом запылилась до неба.

Глеб поднялся на локте, долго смотрел на корпуса, на взгорья и лощины в садах: везде большими и маленькими звездами роились огни, летали и рассыпались созвездиями. Волна восторга плеснулась кровью в груди, и он задохнулся от волнения: что это — слезы или радость застряли судорогой в горле?

— Вот оно, Дашок... Это — наши руки и мозги... Хорошо бороться и строить свою судьбу... Эх, Дашок... то — все наше... мы!.. Пушай... Я буду лежать у тебя на коленках, а ты говори... Теперь ничего не страшно, и твои страхи я буду слушать, как сказку...

Даша опять положила руки на его грудь. Она сама волновалась, и Глеб слышал, как глухими толчками билось ее сердце.

— Ну, и что ж... теперь можно трепануть тебя и словами... Ты не стал теперь такой недотрога... Уф, какую же ты лупил горячку, Глеб!.. Какой же ты был дурачина!..

## 2

### Рождение в силу

И в этот лиловый вечер рассказала она о себе так.

... Отлежался Глеб от побоев на чердаке, у мышей и пауков, и ушел однажды ночью в горы; там, в ущельях и дебрях, засели зеленые.

Знала, что отрывается от нее Глеб, может быть, навсегда, и сама отрывалась от него, как от мертвого. Не провожала его за двери — провожала во тьме комнаты. Рыдала без стонов и крика и не могла отлипнуть от него, любимого, взявшего в себя ее душу. И когда он сторожко, невидимкой, провалился в ночь — не зажгла она огня, и сама, невидимая во тьме, с дочкой Нюркой, прометалась в незабываемой муке до утренних проталин в окне. И с этой слезной мукой вросла в немужнюю кровать, с Нюркой у сердца, и дни и ночи мутно, туманным месивом, жухли за кисейной занавеской.

И дрогнула она от этой полужизни без дней и ночей так же внезапно, как и замерла в ней.

С грохотом, с армейским гиканьем, с винтовками и револьверами, готовыми к взрыву, вломились к ней офицеры, окружили ее топотной кучей и сразу из нескольких глоток:

— Где муж?..

Дрогнула впервые, потому что дрогнули стены, и пол заколебался под ногами. И оттого, что она дрогнула сердцем, заплакала и закорчилась на руках Нюрка.

— Говори, где твой муж. Мы знаем, что он был здесь. Ты не строй, пожалуйста, невинных глаз и не изображай цацу...

— А я знаю, где муж? Вы же знаете лучше... Вы утащили моего мужа, а что с ним сделали — не сказали. Что ж вы пришли ко мне с поиском?

И не плакала. Только синяя была, и глаза светились насквозь, как стекляшки. А плакала Нюрка, и она крепко прижимала ее к сердцу.

Один из всех, молодой, почти мальчик, весь в острых углах и занозах, вставал и садился, курил и бросал папиросы, не сводил с нее глаз и говорил слово за словом одно и то же:

— Ну, ты не ври так нахально... Ты знаешь... знаешь, молодка... очень хорошо знаешь... Ты от меня не отвертисься...

И сразу оборвал ударом кулака о стол.

— Ты сейчас будешь арестована, и мы тебя немедленно расстреляем за мужа. Говори, а очков не втирай!..

А она стояла, прежняя, и говорила:

— А где ж я знаю? Ваша власть — убивайте. Вы же его утащили — вы и скажите мне: где он? Вы же видите: я — одна. Зачем вы меня мучаете?

Помолчал офицер и опять пристально взглянул на Дашу. Увидел ли муку в ее глазах, горящих насквозь, или в Нюркиных криках услышал невнятный укор, — рывком встал со стула.

— Произвести тщательный обыск. Обращать внимание на всякую мелочь.

Посадил ее между двумя бородатыми дядями, и до утра рылись во всех углах, щелках, закутах и тряпках.

— Утек во-время, сволочь...

Потом, перед утром, потные и измятые напрасной работой, потащили ее с Нюркой на завод, на дачи. И там, в подвале, в грудах людей, чужих, угарных и включенных предсмертной горячкой, просидела она с Нюркой нелюдимо до полудня. Кто-то из этих людей — не один, а много — говорил с ней, а о чем говорил — ни слова не помнит.

А в полдень вывели из подвала, и тот же офицер, в углах и занозах, опять посмотрел на нее пристально.

— Ну, так где же твой муж, молодка? Ты не отпирайся... все равно не выпустим отсюда до тех пор, пока не скажешь. Если он в надежном месте, так чем же ты страдаешь? Не запирайся, чорт тебя подери, это — бесполезно.

А она опять так же без слез, готовая упасть от изнеможения, говорила:

— Как я могу знать, коли вы сами взяли его. Это вы скажите, как вы его домучили до смерти...

И кто-то позади ее гавкнул собакой:

— Да брось ты ее к чорту, полковник... Разве не видишь, что она очумела от страха?

А полковник брызнул глазами и зашипел от заноз:

— Ты знаешь, босячка, что за твое упрямство мы должны тебя расстрелять вместо мужа? Все равно, не удастся тебе до конца разыграть дурочку.

— Ну, и стреляйте... ну, и что ж... ну, и что ж...

И не она, а кто-то другой задрожал стрункой внутри:

— Вы же его растерзали, и нет же его... Растерзайте и меня... И меня и Нюрку... и меня и Нюрку...

И когда очнулась — будто солнце облило ее молоком, — нашла себя на гладком, горящем пылью, шоссе. Впереди — завод, а вон, дальше, на взгорье — рабочий поселок, и видна издали красная крыша, где осталась пустой от ночи ее комната.

Ну, и опять стала одна. Сдружилась с Мотей Савчук и с Мотей проводила домашние дни. А дни и ночи уже не были мутью: дни цвели солнцем, а ночи — звездами. И когда сидела на своем крылечке, смотрела на звезды, слушала, как звенели колокольчиками ручки в ущелье, и думала о Глебе: где он? жив ли? придет ли к ней когда-нибудь из безвестности?

Днем, когда таяли в мареве горы до самых вершин, сидела Даша, как всегда, на крылечке и штопала тряпки, а Нюрка играла с котенком рядом, на цементной площадке дворика. Музыканили на гребенках цикады, и далеко, над морем, за аркадами завода, вспыхивали в воздухе чайки.

Шел мимо уса́тый солдат в обмотках (разве мало ходит солдат мимо ее ограды?). Подошел к ограде, прислонился грудью к переплетам (разве мало солдат подходили к ней, голодные от безбабья?). И тут необычно, украдкой, строго позвал ее:

— Даша, не скачи кошкой — сиди. Вести от Глеба. Гляди — упала бумажка. Ночью вползу — не пужайся.

И ушел. Только заметила: шматками пакли — усы, шматками пакли — брови.

Хотела курицей слететь с крылечка к забору, но опять обернулся солдат — шматки пакли упали на глаза. Поняла — надо было ждать, когда уйдет развалистым шагом под гору. И с сердцем, которое визжало от крови, с глазами, в которых день кружился в красном вихре, с последним усилием воли, ласково поманила Нюрку:

— Иди сюда, к маме, Нюсенька... Скорее, скорее!.. Подними вон ту бумажку, принеси ее маме... Вот так... Иди к маме на ручки с бумажкой... Скорее, скорее!..

И Нюрка дыпчком клюнула бумажку и дыпчком заковыляла к Даше.

— Мама, на!.. мама, на!..

Легла на коленях у матери и заболтала ножонками.

...А красный вихрь кружился в глазах, и сердце готово было лопнуть от крови.

И такие слова прочитала в бумажке, и слова были написаны Глебом (разве так может писать кто-нибудь, кроме Глеба?):

«Даша, я — жив и здоров. Ты почему зря береги себя и Нюрочку. Это сейчас сожги, а Усатый Ефим тебе расскажет, что и как».

Глеб, милый, родной! Коли ты — живой, и здоровый, и бодрый до жизни — так и она, Даша, сильна и до жизни — гораздо...

А ночью пришел Усатый Ефим, пахнущий горами и лесом, а Даше чудилось, что не лесом он пахнет, а Глебом. Во тьме комнаты, у окна (только по небу капали звезды), сидела Даша рядом с Усатым Ефимом и дрожала от радости и любви к Глебу. А Усатый хриплым махорочным шопотом, с револьвером в руках, сразу же начал выворачивать из нутра такие слова, которые Даша едва могла осилить.

— Ты вывози, Даша, с первого разу. Первый удар: Глеб поволок свои ноги через белые силы до Красной армии. Не лопнет кишка — догромыхает. Попадет в капкан — капут-алаур... Но не о нем разговор...

Даша дрожала и бормотала рваные слова:

— А може... так, може... скажи мне, товарищ Ефим... Так он же сгинет от такой бродячей судьбы?.. Так он же — один... он же средь людного зверя — один...

— Не о нем разговор для второго удара. Второй же удар — слово для тебя — Глебово: держися и жилься. Такое зыбучее время... Я буду всегда у тебя на виду. Ты же будешь наша зеленая баба: это — от меня и от Глеба единой душой. Вникай. Исполни не Глебу, а всей зеленой братве. Пушай наша банда тебе на течение время — за мужа. Помни. Я буду везде ударом — на всяких местах. Ты ж гарнизуй зеленых всех вдов в хорошую свору. Иди сама по продовольственной части в заводской кооператив. Мы это устукаем разом. Ну, а больше — аминь. Не ходи до дверей, а только шмыгни щеколдой.

— А как же... а как же дочка моя?.. Нюрочка как же?..

— Брось на руки доброй бабе. Нюрка от тебя воробцом не уфукнет. Говори еще одно слово, что хочешь сказать...



Все дрожала Даша и все не могла твердо, упором на всю грудь, вымолвить нужного слова, а сказала только так:

— Товарищ Ефим, може, Глеб сейчас идет один в ночи... и смерть у него — на отмашку... Коли Глеб — так, и я иду на так... По дороге пошел мой Глеб, по той же дороге по-шагаю и я...

Ефим икнул в усмешке во мраке, и рука его ласково трепанула ее по коленке.

И ушел так же неслышно, как будто его не было вовсе, будто темной ночной тенью прошел через мысли во сне.

И еще раз дрогнула Даша, но это было потом, в истоке долгих упрямых ее дней.

Дочку Нюрку сдала на руки Моте за дачку с пайка. Хорошая баба Мотя, хорошая подруга, и хорошая была у ней рука до Нюрки.

Стала работать в кооперативе на раздаче хлеба в пекарне. Приходили днями неизвестные люди (эти дни и люди сжигали сердце горчей кровью) и по бумажкам брали краюхи хлеба мешками для «рабочих на горных стройках».

И баб, «зеленых вдов», было до полдюжины. Половина из них — мешочницы — крыли мужей почем зря и сошлись с другими и скоро забыли о прежних. А три остальные, безработные, кормились стиркой белья на офицеров, а ночью принимали англичан и солдат за натуру. Сбила их в малую кучу Даша и дала им работу: в город ходить, в горы ходить на передачу зеленым одежды, обуви и всяких бумаг от разных нужных людей.

То были: Фимка (девка-невеста, а брат Петро — в зеленых), нежным видом под барышню; Домаха — широкая костью и рыжая кожей, с тремя вперемежку ревушими лягушатами, и Лизавета — бездетная молодка, высокая грудью и жаркая румянцем (даром, что голодное время). Фимка — покорная, никогда от нее нет отказу ни мужику по бабьему делу, ни бабе по части дележки продуктом. Домаха — только зла и готова по первому поводу мстить всем за свою лихоту. А Лизавета — замкнута и, на людях, днем — недоступна. Вот кого сбила в кулак Даша: только с ними она проводила свой отдых.

Приходил глухими ночами Усатый Ефим, бил револьвером по коленке.

— Знай, товарищи бабы, один верный удар: мольчи и — капут-алаур. Откуси свой язык зубами... Самое проклятое мясо — человеческий хвост... Накрыли, примером, и схпнали — язык откуси и выплюнь, а глазами не цапай другого, а схвай их в утробу. Вникай. Язык не поднимет горы, а слизнуть может целые горы...

Вот кто был первый их верный учитель.

Так было времени — год. И год этот крепко сколотил Дашу опытом, хитростью и силой: откуда что взялось!.. И бабы вросли в ее силу, и стала она их атаманом.

А на исходе первого года дрогнула Даша еще раз. С этих пор надежно завязались у ней брови на переносье, и глаза огранились кристаллом.

Утром, когда Даша была за прилавком у хлеба, перед хвостатую толпою, — а утро было ядреное, синее, огнем и запахом — осень, — растолкали людей офицеры с ружьями и вытащили ее из хлебной закуты. Люди шарахнулись брызгами, в ужасе разбежались по домам. А ее посадили на грузовик, в кучу офицеров, и умчали на дачу, — туда, где она была с Нюркой, — и бросили в тот же подвал. И опять грудями в свалку лежали и сидели там люди, и опять все были ей чужие, все провалившиеся в собственную беду.

Но уж иная была Даша, чем прежде. Знала, что много у нее было риску, и была готова ко всякому часу. Думала много, как быть ей с собою, как не допустить себя до слабости. Через все могла пройти — через муки и, может быть, смерть, — а в сердце ныло непереносно одно: не пройти через Нюрку.

Огляделась в плесенной цементной мгле и увидела усы и брови шматками пакли. Не узнают и скользят по другим. Поняла — нельзя узнаваться. И еще увидела: лежит раскосмаченная, дрожит от рыданий Фимка, а рядом с ней сидит ее братишка Петро, и щеки его мальчишечьи шерстятся пухом, как пылью. Гладит он ее по волосам, по спине и что-то шепчет ласково, а лицо — будто с похмелья.

Тут впервые узнала она ужас человеческих мук.

Потащили сначала Усатого, а вслед за ним — ее. Привели. Усатого нет. Тот же молодой полковник в занозах посмотрел на нее — сразу признал.

— А, опять ты угодила к нам в гости?.. Ну, теперь ты отсюда не уйдешь. Ну-ка, как ты кормила зеленых? Что ж ты врала, что не знаешь, где твой муж?

Дурочкой лупоглазила Даша на полковника и дурочкой отвечала:

— Почему я знаю, где мой муж? Вы же его отняли у меня. А теперь наворачиваете про меня зеленых...

— Это мы сейчас проверим. Отвести ее в кухню и покорить хорошенько.

Уволокли ее в другой, малый подвал, где не пол, а грязное смрадное месиво и вонь трупной гнили. Увидела в грязной жиже лепехи кровавого студня. И голый, весь в гнусной грязи, лежит человек, возит головою по жиже и обливается кровью. А двое дюжих казаков хрипят и рычат и жвывают шомполами.

Кто-то — не помнит — обжег ее огнем по спине и плечу нагайкой, и ожоги взорвались звериным ревом:

— Рраз, рраз!.. Вот тебе, сволочь!.. То же будет — гляди — сейчас и с тобою... Покажи этой стерве красавца... Узнаешь эту скотину?

А у ней ничего уже не было, кроме тошнотного сердца. Собрала все силы из души, чтобы не упасть.

— Что же вы мучаете?.. За что?.. Да откуда же я знаю этого дядю?..

— Прибавь еще дяде жаркого...

И опять жвывали Ефима шомполами, а он лежал, крутил головою и молчал. И почуяла Даша великую жертву и жуть в этом молчании Усатого. А почуяла — надо только одно: молчать, натянуть до треска все жилы и к ребрам притиснуть сердце.

— А ну, говори, чортова кукла, какие ты шашни имела с этим прохвостом? Говори — и мы его больше не тронем, а ты отошьешься до дому...

— Ну, никаких же я шашней не знаю... Я осталась с малой дочкой без мужа... Ну, пошто же вы мучаете?..

И опять насквозь прожег невыносимый огонь. Не удержалась, разорвалось сердце, и закричала пронзительным визгом:

— Да что же я вам сделала? Ну, зачем же вы меня бьете?

— Говори... Скажи только слово — и ты будешь на свободе...

И как только услышала эти слова Даша, поняла: не знают эти люди ничего из ее дел. А взяли ее так, по старой заметке. Не взяли других баб, а взяли ее. А Фимку? Фимка — другое: за брата. Должно быть, ненароком схватили в ее хате. Поняла это Даша, и кровь опять вошла в свою жилу.

— Оставьте меня мучить... Я работаю и никому не мешаю...

— Еще поддай дяде лапши, так его, этак... Бей!.. Сильней, чтоб захрюкал и поел киселя.

Тело Усатого уже мертво лежало в грязи и вздрагивало остывающей судорогой. А казаки утомленно, распаренные потом, шлепали по кровавому мясу, и от шомполов чвыкали шматки и брызги.

Мимо Даши кувырнулось в кровавый кисель со стоном ужаса тело братишки Фимки, Петра. Обляпанный грязью, с животным страхом в глазах, он вскочил на ноги, поскользнулся, упал, опять вскочил и побежал по болоту, шваркая ляпухами месива. За ним с шомполами запрыгали два казака. Петро заревел не горлом, а всем телом. Увернулся от них и опять, слепой и обреченный, побежал в оборот. Но наперескок ему прыгнул казак, крикнул и со всего плеча шлепнул его шомполом по коленкам. Петро завыл по-собачьи и брюхом брякнулся в грязь.

Остылыми глазами глядела Даша на пытку товарищей и, немая, тронутая умом, не могла оторвать от них взгляда. Смотрела и не видела ничего, кроме крови, которая кипела, клокотала, как взбаламученное море. И в воздухе была кровь, и кровь была в мозгу, и за пыльными дырами окон.

Очнулась в той светлой комнате, где сидел и курил подковник, морщась от заноз.

— Ну, что, молодка, понравилась наша кухня? А теперь говори, что знаешь...

— А ничего же я не знаю... ничего не знаю...

— И того парня не знаешь, и ту девку?

— Фимку я знаю и Петра... я их знала дитятками...

Двое офицеров, таких же юных, как он, зашептали ему в ухо. Он сначала нахмурился, а потом дернул щекою.

— Теперь, полковник, отдайте ее нам: мы ее продезинфицируем немножко.

И прямо в лицо ей, гримасничая, ударили страшными словами, и эти слова были больше нагайки.

Она бросилась в угол комнаты и замахала руками.

— Не надо!.. Не надо!.. Я не дамся до смерти... Ой, не надо!..

Полковник поднял руку и усмехнулся.

— Ну, хорошо... Этого не будет, если ты будешь говорить правду. Подойди сюда и рассказывай.

— Что я вам расскажу, коли ничего не знаю?.. И что вам от меня нужно?.. Как вам не стыдно? вы же молодые...

Полковник откинулся на спинку стула и ехидно прищурился.

Оба офицера подхватили ее под мышки и уволокли в другую комнату. Повалили ее на пол, бесстыдно оголили и изнасиловали.

... До полуночи лежала, полумертвая, в подвале, с голыми ногами и грудью. Как бросили, так и осталась. Подползала к ней Фимка, вся в стогах, без слов, стучаясь головою об ее грудь, и опять уползала. Два раза мерещилась Нюрка: топочет к ней ножками и пляшет пьяный гопак. И Даша тянулась к ней, кричала от страха и отвращения:

— Не надо!.. Ой, не надо же, Нюрочка... не надо!..

Ползла к ней, как Фимка, и молила в отчаянии, не зная о чем. И потом, до последнего часа, не вспоминалась и не виделась Нюрка: будто не было Нюрки, будто Нюрка была потухшим образом потухшего сна.

После полуночи — тоже помнит как сквозь сон, — она очнулась от грохота грузовика. Сидела на полу деревянного короба, и с нею лежали и сидели другие. Узнала не сразу: Фимка, братишка Петро и Ефим Усатый. А вокруг стояли офицеры и казаки с винтовками в руках. Все молчали и сыро встряхивались, как трупы.

И только одно ярко осталось в памяти — разноцветные искры звезд, и звезды были очень близко, на взмах руки.

И не было страшно. Знала, что — смерть: остановится машина, швырнут их с деревянного короба, отведут на кося, к морю, и се не будет. Знала это, и сердце было — не сердце, а кусок льда. И не было ужаса. Был только нестерпимый холод в сердце. И так просто было и неподвижно в душе, будто не явь это была, а обычный, скудный движением сон, в который

не веришь, когда видишь, и знаешь, что эти образы скоро погаснут. И Нюрка то забывалась, будто совсем ее не было никогда, то вдруг волной пролетала через нее, с растопыренными ручонками и с одним коротким: — ай!.. Потрясала ее эта волна, как удар нагайкой в подвале, и опять исчезала и забывалась, как давно угасший сон.

Тряслись мертвецами лежавшие товарищи: и Усатый Ефим (он на машину был брошен как труп), и Фимка, и Петро. И не было ей жалко никого, а только сердце было — не сердце, а нетающий кусок льда.

И когда остановилась машина, — неживая была Даша, будто вместе с машиной перестала жить и она. А сдернули ее на землю — стала и стояла так же неподвижно, как и лежала. Стала около нее и Фимка и вся дрожала в ознобе, хватала ее за платье и прижималась к ней, как ребенок. Усатый Ефим лежал мертвецом у их ног. Петро же дурачком топтался на месте, исковерканный поркой, крутил башкой (лицо черное от крови), мычал, курлыкал и плевал раз за разом.

И только одно торопливо, сердито — не она, а кто-то помимо нее — прошептала на ухо Фимке:

— Молчи и молчи... молчи и молчи... слепая, немая... молчи...

Почудилось: навалилась большая толпа и отбросила ее в сторону.

Это четверо казаков толкнули ружьями Фимку и Петра.

Они засеменяли, покорно и молча, не оглядываясь. И только, когда отошли немного, закричала и забилась птицей Фимка. Рванулась назад и замахала руками.

— Даша, моя родненькая Даша!.. Что они со мною делают, Даша!..

Ее подтолкнули и оглушили матом, а она взвизгнула, забилась и упала на песок. Ее дернули за руки и опять поставили на ноги. Прошла молча еще несколько шагов. Остановилась и озабоченно крикнула:

— Даша... что же я исделала?.. Я ж забыла шаль на ахта-набиле...

И опять смял ее лошадиный мат и отбросил вперед.

И там, впереди, на песчаной косе, тающей в море тусклым раскалом, где море без отблесков поющей черной пашней.

уходило во тьму, видела Даша только мутные тени, и тени эти будто пьяно плясали на одном месте.

И опять метнулся визгливый крик Фимки:

— Не хочу, не хочу!.. Свома глазами хочу взглянуть на мою на молодую смерть...

И вплоть до залпа не переставала кричать:

— Уйдите, уйдите!.. Хочу!.. Свома глазами хочу!..

А когда грохнули выстрелы, Даше казалось, что море кричало и пело криками Фимки.

Вплотную к Даше подошла упругая тень.

— В последний раз: укажи, кто орудует вместе с зелеными. Я даю тебе слово немедленно отпустить тебя домой. Или—вот... видишь? сейчас же будешь там...

И так же, как раньше, дурочкой ответила Даша:

— Я же — баба, не могу же я знать, который — зеленый, который — не зеленый. Есть у меня дочка Нюрка, и я работаю... надо ж кормиться...

И заплакала. Правда, заплакала, но не она, а птичкой заби-лась в сердце дочка маленькая Нюрка.

— Хорошо... Забирай этого гуся. Оттащи к тем за руки и за ноги.

Поволокли Усатого Ефима, и слышала Даша не залп, а только один выстрел.

И опять подошел упругий офицер.

— Даю полминуты...

— Ну, что ж я могу сказать?.. Ну, стреляйте... стреляйте же!

И чувствовала—пройдет еще мгновение, упадет она на песок и забьется, как Фимка, — таяло и лопалось сердце — и закричит на весь свет.

И потом сразу кувыркнулась в воздухе и ударилась головою о железо.

Опять бултыхалась и барабанила машина, и опять вверху, очень близко, на взмах руки, звенели золотыми каплями звезды, а над горами огненным туманом горело небо.

Не втолкнули в подвал, а ввели в ту же комнату. И тот же полковник в занозах, не глядя на нее, отчетливо и лениво сказал:

— За тебя поручился инженер Клейст. Мы верим не тебе, а инженеру Клейсту.

... Хорошая баба Мотя и хорошая подруга (а ведь у ней тогда сгорали дыпчата от мора)...

— Можешь итти. Но знай: попадешься — уж домой больше не воротиться. И еще знай: здесь с тобой не было ничего, и твои глаза не видели ничего. А если твой язык сбрехнет что-нибудь не под час — с тобою будет то же, что с этими собаками. Ну, убирай свои ноги — марш!

И уже больше не дрогнула Даша, потому что крепко и навсегда захлеснулся узелок бровей на переносье.

Никому ничего не сказала, а слова научилась говорить кстати и к делу. Дома была только по ночам, и комната зашелудивела, и углы зацвели паутиной и пылью. Появили и засохли цветки на оконце, сбледнело лицо, и глаза стали холодными и прозрачными. Пропадала у Моти, у хорошей подруги, у приветной домашней бабы. Подружилась с Савчуком, подружилась с Громадой и подолгу сидела на дворах завода с горбатым Лошаком. Готовились незаметно к встрече Красной армии. И Лошака, и Громаду, и Савчука запутала в свое тайное дело. Раньше они спали по ночам, а днем смотрели на горы. Теперь по ночам глаза их стали несонными, а днем они притворялись слепыми.

С немым вопросом в глазах приходили солдаты. Поглядеть со стороны — дурака валять приходили, поиграться со вдовой молодой приходили. Придут раз — два, потом пропадают, а вместо них — новые. А куда пропадали прежние — ничего не могли сказать людям граненые глаза Даши.

И тут впервые, по свободной воле, без измены душою Глебу, узнала Даша других мужиков. И когда вспоминала об этом — не каялась. Будто это тоже входило в ее опасную работу, под глазами и пулей контр-разведки. Привяжется к ней этакий дядя с угарными глазами, не уходит в горы. Скажет из сердца:

— Не могу уйти без тебя, Даша... Не хочу быть диким зверем в лесу... Приласкай меня для последнего часу... Через тебя не страшны никакие страхи...

Правда, были минуты, когда хмелела, но это была ее жертва. Чем эта жертва была больше ее жизни? А этот миг насыщал человека силой и бесстрашием.

В порту стояли английские корабли — грузили несметные толпы бегущих с севера богатых и знатных.



И откуда-то, далеко, из-за гор глухим подземным громом рокотала земля, и по ночам от этого необъятного грома огнем капали с неба звезды.

... И в весеннее горячее утро, в солнечных нитях, когда море нельзя отделить от неба, а воздух — от цветущих деревьев, — по разгромленному мусору, по трупам лошадей и людей, сквозь смрад панической смерти белой орды — прошла Даша в красной повязке в город, искать коммунистов. Шла одна, когда обыватели и рабочие, еще ошалелые, не решались выходить из конур. Шла Даша, и глаза ее и повязка горели в солнечных нитях и в сини неба и моря: глаза изнутри — янтарем, а повязка — алой кровью.

Попадались навстречу конные красноармейцы с красными бантами на гимнастерках, и эти банты издали цвели пышными маками. Смотрела на них и смеялась, а они взмахивали руками тоже смеялись и кричали:

— Ура — красной повязке!.. Женщине красной — ура!..

Глеб, раздавленный, лежал неподвижно на коленях Даши и долго не мог выдать из груди слова. Вот она, его Даша... Сидит около него, как родная жена, тот же голос, и лицо и руки те же, и так же бьется, как раньше, ее сердце. Но нет той Даши, которая была три года назад: та Даша ушла от него навсегда.

И волна невыразимой любви к ней потрясла его болью. Он обхватил ее дрожащими руками и, задыхаясь, борясь со слезами, застонал от ярости, бессилия и нежности к ней.

— Даша, голубка!.. Если бы был я здесь в эти дни!.. Ты тогда выносила одна... Если б я знал!.. А сейчас мое сердце лопается, Даша... Ты лежала с чужими... Даша!.. Я хочу тебя бить и мучить... зачем ты мне это сказала, Даша?.. А моей руки нет на тебя... Она отсохла и — будь она проклята!.. Но сама... сама ты... с солдатами... Разве я могу это понять?.. Даша!.. Пушай... Я не могу писать тебе законов... И ближе тебя у меня нет никого... Ты — живая... Ты пошла сама, и у тебя своя дорога борьбы... Даша, голубка, родная!..

— Глеб... ты — хороший... Глупый ты, Глеб, а — хороший!..

И до ночи сидели в обнимку, как не сидели никогда от первых дней их женитьбы.

# XI

## УЩЕМЛЕНИЕ

### 1

#### Хозяйские руки

Глеб до рассвета ходил по квартирам и лично руководил работой отряда. По улицам, на мостовой, стояли с винтовками за плечами зоркие немые фигуры рабочих. В улицах, ушедших в себя и во тьму, грохот тяжелых бот ночь сгущал жутью. А с неба уже воздух пылился голубым рассветом, и звезды дрожали близко весенней капелью.

Жук — в карауле. Не тот был Жук — шатун, соглядатай, балагур-обличитель, сутулый смутьян, — стоял перед Глебом налитый угрозой солдат. И когда подошел к нему Глеб, не забулькотил, как всегда, а твердо держал винтовку упором между носками обуви. Из открытых дверей особняка с зеркальными окнами мяукали истерические вскрики женщины.

— Кто здесь работает, Жук?

— Шуруют почем зря, друг... Чуешь, как раскололась баба!.. Савчук, твоя жинка, Сережа и двое чекистов. Шагни к ним — погляди, как разворачивают буржуазию... двадцать два удара!..

— Ну, как твоя работа, Жук, в Совнархозе? Много выловил блох?

— Хо-хо, друг... Сходи в гости к Чибису... Я бы сей день всех к стенке поставил. До чего же все сукины дети и глотыри!.. А Шрамма я все-таки к стенке поставлю — не я буду... Они поморили с голоду всю братву в лесосеках и жирели, как крысы в лабах. До чего же мне прискорбно, как охомутали

рабочий класс!.. Жди друг: такое грохнем — небу будет жарко, а всех стервятников пронесет кровью...

В стеклянном коридоре, в рассветном сумраке, стоял красноармеец с винтовкой, и в открытую дверь, в больших хлопьях теней, видно было, как корчилась раскосмаченная женщина на диване и рыдала, ломая руки.

Шоркала тяжелая торопливая работа: крикала, передвигаясь, мебель, пухло падали пузатые узлы, топотали и хрипели боты...

Глеб вошел, по военной привычке, смело — последним растоптал своими ботами культурный уют. Не взглянул на женщину, распятую на диване, а она, полураздетая, с лицом из студенистого месива, в ужасе глядела на людей с винтовками и на людей, которые очищали комоды, гардеробы и сундуки. Должно быть, не чувствовала около себя маленькой голенастой девочки, с любопытством глазевшей на чужих дядей, так внезапно и громко упавших из ночи.

Человек в подтяжках и туфлях, в золотом пенсне на носу, с длинной бородой винтом, стоял растерянный, но одиноко важный, у большого письменного стола и с судорожной усмешкой пожимал плечами.

Даша умелой рукой, как хозяйка, заботливо и внимательно отбирала все, что находила попроще, наиболее необходимое из белья, одежды и домашних вещей, и складывала на разостланные простыни и в дорожные корзины.

— Это — для детских домов... для детишек... для домов матмлада... Хо-хо, материя!.. Вот богато напхали материи. Тут сколько одето будет детей!..

Савчук по-бычьи ворочал шкафы и комоды, и пятки его грязно бледнели от натуги, а лицо наливалось кровью.

— Вот, идоловы души, нагрохали скрыни всяким добром. Наши свинопасы клепали зажигалки и терли мешками горбы, а подлые люди в этих скрынях жирели, как дикачи. Го-го, такая музыка — не балабайка, а портовая баржа (он ворочал роля): кому же на ней балабайкать, как не быкам?..

Сергей стоял с винтовкой в руках и не знал, что делать. В этом доме он бывал когда-то, в дни юности. Чирский — известный адвокат. В прошлые годы был дружен с отцом.

Социалист. Член Государственной Думы всех созывов. Член Учредительного Собрания по списку № 7.

Сергей не глядел на него и боролся с волнением: боялся — вдруг подойдет к нему Чирский, протянет руку и заговорит с ним, как с близким человеком. Он делал вид, что не узнает его, и, до боли сжав зубы, старался быть твердым, — таким, как товарищи, но чувствовал, что ноги его дрожат от предчувствия неизбежного скандала.

И то, что он считал ужасным и непоправимым, случилось просто и незаметно. Чирский смотрел на него в упор и кривил рот в брезгливую улыбку, — смотрел и все ловил момент зацепиться за него словом.

— Сергей Иванович, и вы также занимаетесь такими непотребными вещами, как этот налет? На нашем с вами языке это называлось когда-то разбоем. Отсюда вы пойдете, вероятно, к вашему отцу, Ивану Арсеньичу, и тоже будете производить подобную операцию. Там вы, очевидно, оставите папаше немного больше, чем здесь. Тут вы сдираете последние подштанники. Не гарантируете ли вы себе неприкосновенность наследства? Может быть, и здесь, по старой дружбе, сделаете снисхождение?

А женщина, разрывая плач, протягивала к нему руки, и по щекам ее искорками ползли слезы и дрожали на подушечках дряблого подбородка.

— Сергей Иванович... голубчик!.. Ведь вы были когда-то близки нам... Что вы делаете? Неужели это вы, Сергей Иванович?..

Стараясь быть невозмутимым и суровым, Сергей сжал до хруста в суставах винтовку и резко, со звоном в мозгу, сказал, глядя мимо Чирского:

— Да, мой отец подвергнется той же участи, что и вы. Так же, как и вы, он будет выдворен из дома и больше в него не возвратится.

И когда он сказал эти слова, стало вдруг легко, и человек, стоявший у стола, показался смешным в своем прошлом чванстве и важности.

— Так, так... Вы научились быть достаточно свирепым... Поздравляю!..

Даша нашла большую, жирную куклу с большими глазами и желтой шерстью на голове. Улыбнулась и шагнула к девочке.

— Какая замечательная кукла!.. Возьми ее, крошка: она по тебе скучала, как потерялась... Уф, какие вы обе славные с куклой!..

Девочка спрыгнула с дивана и обеими ручонками вцепилась в куклу. Даша улыбалась и гладила ее по голове.

Женщина в ужасе рванулась к девочке и схватила ее за руку.

— Нина... не смей!.. иди сюда... Ты видишь, они не стыдятся брать у тебя последнюю рубашонку... Брось им!.. иди сюда!..

А девочка, цепко прижимая к груди куклу, бросилась на диван и закрыла ее своим тельцем.

— Моя кукла... моя!.. Мамочка!..

Даша стянула узелок на бровях.

— Мадам, как вам не стыдно!..

Савчук сопел и ворчал. Выносил из спальни постели, кучи одежды и бросал на пол. Вытирал пот и волком глядел на людей и вещи.

— Вот идоловы души, сколь напхали!.. То — работа, хуже бондарного цеха... Будь оно проклято, сподручней работать на бремсберге...

Даша подошла к Глебу и деловито доложила:

— Все переписывается, Глеб... Изъято все, что надо... Из белья и одежки оставлено на смену... Я решаю изъять картины и редкие вещи: часы, посуду, игрушки, книги (уф, этих книг, как черепиц на крыше!). Книги мы утром припечатаем Наробразом. И все, и этот роляль — в детские дома и клубы.

Глеб был холоден и командирски замкнут.

— Так, добре. Все остальное, кроме белья, оставить на месте. Караул в два человека. Кончайте.

— Так. И я соображала то же. Ожидаем подводы.

И отошла с лицом строгой хозяйки.

Глеб подошел к Сергею и отвел его в сторону.

— Где дом твоего старика? Пойду к нему в гости.

И не мог понять Сергей: была ли насмешка в словах Глеба, или дружеская шутка. Подавил в себе тревогу и смущенье и вскинул винтовку за плечо.

— Я могу пойти с тобою, товарищ Чумалов: отсюда недалеко.

— Нет, тебе не годится. Старику будет тяжело. Мы же не мучить идем, а делать дело.

Сергей крепко пожал руку Глеба и отвернулся.

В звездном рассвете голубели дома. С гор сугробами валились лавины тумана, и над заливом дымилась фиолетовая марь. Капелью звенели утренние воробьи. И в стальном сумраке гор и очень далеко и очень близко блуждали, гасли и опять зажигались таинственные факелы.

Вперерез Глебу, по верхней улице, размеренно шоркая шагом, походным порядком, в щетине штыков, плотными рядами шли красноармейцы. Шли они, должно быть, многими колоннами: необъятный шорох движения рокотал всюду — и над городом, и в пролетах домов, и по камням мостовой. Хрустальным перезвоном катились телеги. Красная армия, поход, боевая работа... Ведь это было так недавно! Родные ряды. Шлем Глеба еще не остыл от огня и походов. Они идут, и штыки лязгают, сплетаясь в стройном движении. Они идут, а он здесь — вот он. Почему он — здесь, когда его место свободно в этих рядах? Военком полка. Жжет голову шлем не остывшим еще жаром боевого огня...

Широким шагом, задыхаясь от волнения, он торопился к штыкастым рядам, чтобы коснуться их упругого стройного потока и отдать им привет красного солдата. Но ряды оборвались и растаяли за углом, и только двое красноармейцев один за другим, молча трепыхая сумками и размахивая винтовками, догоняли товарищей.

## 2

### Человек на подножном корму

Глеб вошел в открытую калитку сада и увидел не то, что видел в других домах. Мехова стояла перед кучей одежды и тряпья и улыбалась. Громада и Лошак один за другим выносили охапками вещи и книги. Из открытых дверей веселый старик кричал и смеялся.

— Все, все... и это и это... Вся эта дрянь приобреталась человеком для того, чтобы жизнь свою свести к одной точке. Обычно собирание жизни в одну точку происходит, друзья, до того момента, пока не наступает смерть, то-есть такое состояние, которое отрицает все три измерения. Это и есть тот идеал, который измеряется абсолютной нормой — нулем. Не правда ли, друзья, как это любопытно, занимательно и весело?..

Мехова издали смотрела на Глеба странно большими глазами, и в улыбке ее и в глазах он увидел изумление и хмель.

— Погляди, Глеб, на этого удивительного чудака. Это — отец нашего Сергея. Человек, который может сказать больше, чем обыкновенные люди. Если бы ты видел, с каким восторгом он встретил нас и с какой радостью разорлет он свое гнездо!..

А сама вздрагивала от утренней свежести и вызывающе ласкала его глазами.

Мимо Глеба военной походкой прошел однорукий человек с орлиным носом и непомерно маленькой верхней губой. На ходу он остро вонзился в лицо Глеба и упруго пошагал к калитке.

Глеб остановился от жгучего укола.

— Гражданин, прошу возвратиться.

Однорукий быстро сделал кругом марш и так же упруго и с тем же острым взглядом зашагал обратно к Глебу.

— Вы — кто такой? Ваше социальное положение?

Однорукий, не меняя выражения и военной выправки, стоял перед Глебом в напряженной готовности.

— Дмитрий Ивагин, бывший полковник, а теперь гражданин Советской Республики. Старший сын этого веселого старца и единственный брат члена РКП, Сергея Ивагина. Нужны документы?

— Оставьте при себе документы. Ваша комната будет обыскана, прошу остаться.

— Мой угол — в квартире отца. Все уже вдребезги очищено. Но мои карманы остались неприкосновенны. Вам угодно?

И в холодных уколах глаз неуловимо играла насмешка. Глеб мутным взглядом выдержал острее зрачков Дмитрия Ивагина и крепко сжал челюсти.

— Мне не нужно ваших карманов. Можете идти.

Ивагин щелкнул каблуками и опять сделал кругом марш.

Юрко семенил по комнате старик с бородою под прямым углом к подбородку, суетился и весь горел восторгом и крикливыми порывами.

— Истинная свобода, друзья, — в полном отрицании геометрических образов и их вещественных воплощений. Коммунисты тем сильны и мудры, что они опрокинули всю Эвклидову геометрию. Я их приемлю и люблю за их веселую революцию против незыблемости всяких форм, облеченных в фетиши. Друзья мои, не оставляйте ничего: это будет непоследовательно, а для меня — жутко. Быть привязанным хотя бы одним обрывком гнилой нитки к стенам куба, призмы, треугольника — это больший ужас, чем быть заваленным горами хлама...

Лошак ворочал белками на пропитанном гарью лице (так могут пугать белками только горбуны) и не отрывался от работы. Собрал в охапку кучу одежды, поглядел на старика, подумал и взорвался утробным басом:

— Отец, выходи на волю. Погоним тебя на подножный корм. Ставь дело на попа и ищи себе нору на выгоне. Не булькоти на бедность — не колдуй на тень...

Старик смеялся и в восторге размахивал руками.

— Вот, вот... Ваша свирепость — неосознанная человечность, друзья. Человек — на подножном корму... Что может быть совершеннее этого состояния? Земля, небо, бесконечность... Вот, вот... Но почему, друзья, не пришел с вами мой сын, Сергей? Я хотел бы видеть его в роли моего торжественного лектора...

Громада собирал по шкафам, сундукам и углам тряпье, книги, ковры и крутил головою: надоело слушать болтовню старика.

— Папаша не дискустируйте в [барабан и так и дале... Предлагаю использовать себя на трудовом фронте, и как очень набучено у вас всякого материалу, но ворочать приходится нам с Лошаком...

Такой уж человек Громада: сам маленький, а фамилия большая, и слова выворачивает большие.

Глеб подошел к старику и протянул ему руку.

— Ну, как, — здорово вас почистили, старичок? Сын ваш, Сергей, тоже шурует порядком...



— Хорошо... очень хорошо... Напрасно не пришел Сергей, напрасно... Я бы хотел поглядеть на него, хотел бы...

— Вы можете остаться у себя: эта комната — ваша. Можете не беспокоиться. Вы — наш культурный работник. Вам оставят все, что вы желаете взять.

Старик в страхе посмотрел на Глеба. Нервно затеребил пальцами бороду.

— Нет, нет!.. Все, все!.. Это — очень хорошо, прекрасно!

Громада крутил головою и, дохлый, с брезгливым сожалением смотрел на этого суетливого, восторженного мудреца.

— Башка — круговоротом, товарищ Чумалов, от этой проклятой идеологии...

Лошак ворочал белками и мычал утробным басом без слов.

Глеб глядел на старика и нутром вздрагивал от смеха, клочущего в кадыке.

— Хорошо, папаша: можете жить, как вам угодно. Я и не знал, что у Сергея такой занятный старичок...

Он опять пожал ему руку и быстро пошел к выходу.

### 3

#### На выгон

По ту сторону залива, над заводом, горы были бурые, с черными провалами ущелий. Небо на зените — синее и глубокое, а над горами — огненное, и зубцы хребта четко резались ослепительной линией, будто грани их плавилась металлом. Только с седловин перевалов жирными облаками, горящими изнутри, водопадно клубились, переваливаясь через высоты, снежные лавины тумана.

Громоздился завод внизу, над заливом, далекими сказочными дворцами. Голубели упруго трубы и стройно и тонко взлетали навстречу ползущим сугробам. Море небесно наливалось под горами и смахивало с поверхности светлые и черные пленки.

А на другой стороне, за городом, горы сияли в вершинах сиреневым накалом, туманились внизу утренней тенью, и город грудой каменных свалок, в сизых облаках садов, огромным оползнем грудился по склонам до самого моря, кувыряясь в воде разорванными клочками отражений.

На главной улице, во всю ширину булыжной мостовой, на несколько кварталов, густо будоражились базарным гомоном человеческие толпы. Женские выкрики и истерический плач полосовали каменные дали улиц. Гомон и стоны сбивали толпу в стадное месиво и разрывали ее в панические хороводы и вихри. А нутро ворочалось в судорогах страха и обреченности. Мужчины покорно-тупо стояли, сбитые в разноликий сброд, моргали, улыбались в бледной растерянности. Женщины, с узелками и коробками, с детьми на руках, с детьми рука в руку, сидели на пожитках, кричали без слов, плакали, неподвижно и молча стояли, лежали с безумными глазами. В некоторых местах корчились слабонервные, и над ними будоражной толчеей в ужасе копошились люди.

Чирский стоял на виду, немного наотлет от толпы, в нижней рубашке и подтяжках, без шляпы, в туфлях, и с мертвой улыбкой смотрел рассеянным взглядом на дома, будто впервые их видел, на толпу, которой он не мог вынести. Жена сидела на узлу, растрепанная, полураздетая, и смотрела в одну точку красномясым лицом в подушечках. А девочка танцевала между отцом и матерью, выкрикивала в лад ногам и крепко прижимала обеими руками большую куклу.

Обозы — пухлые груды белых узлов — гусиной грядой уподзали вперед, и было видно, как на подъеме улицы они выгибались из ямины длинным ворохом среди лошадиных голов.

На втором возу от толпы комсомолец с открытой грудью и шершавой башкой дрягал ногами и нажаривал на гитаре польку. А где-то далеко, впереди, простудно хрипела и стонала вместе со стонами толпы беспардонная гармония.

Отряд особого назначения стоял по тротуарам с винтовками у ноги, на сажень друг от друга. Усталые, угрюмые от бессонной ночи и тяжелой работы, коммунисты смотрели на толпу и не видели ее. В переулках топотали и гомонили другие толпы — мещане, хлынувшие поглазеть на необычайное зрелище.

Мещанки не ищут чужого смеха: мещанки чувствительны сердцем, — они липки к похоронам и слезам, а в свадьбе прельщает не пляс, а печаль и слезы невесты. Такова уж жизнь мещанки, что чужие слезы понятнее ей и желаннее смеха.

Вот и здесь сердцем почуяли медянки запах обильных слез и бежали с окраин, из собственных домиков, из квартир национализированных домов, чтобы пережить желанную боль от стонov и воплей ущемленных почетных и почтенных семей. Жадно и скорбно искали почерневшими глазами рыдающих женщин, словно прилипали к ним горящими взглядами, и орошали рыхлые лица жирными слезами.

Где-то очень далеко запела команда, и в переклик ей перелетели в другой конец другие голоса. Конвой вскинул винтовки на плечи. Толпа грохнула и потряслась нутряным вздохом, заволновалась и забарахталась базаром. Рыдания, истерические визги, выкрики и вой обезумевших от страха людей сбивали их в кучи, в свалку, в паническую бестолочь. Не было воздуха, не было улиц и домов — была предсмертная оргия, сумасшедшее отчаяние и иступление.

Загрохотали впереди обозы, и толпа, взрываясь бурей рыданий, волнами поплыла по улице.

Сергей шел за Дашей, и за ними — Жук. На другой стороне ныряли (видно сквозь толпу) маленький Громада, горбун Лошак и Мехова.

И мутной тоской ныла боль в груди Сергея. То, что совершалось, — безобразно и дико. Этого не может принять партия. Зачем эта толпа? эти женщины в корчах рыданий? эти дети, бьющиеся на руках матерей? Не может этого принять партия, а для него, Сергея, это — слишком тяжело и непереносно.

Вот — девочка с куклой: вцепилась в руку матери, а сама держит за руку куклу.

Чирский, высоко подняв голову, идет спокойно, с жертвенной важностью, и подтяжки колышутся на лопатках, а руки — в карманах.

Древняя старуха, в чепце и накидке, горбатится, опираясь на палку, точно идет в крестном ходе, а ее поддерживает под руку девушка, вся в белом. Они не плачут, и лица у обеих как у монахинь.

Сергей увидел недалеко, впереди, отца. Он шел один, оглядывая толпу и вздрагивая бровями от улыбки. Босой. Штаны — в прорехах. И шел странно: то быстро семенил, перегоняя

других, то останавливался, то брел тихо, в глубокой задумчивости.

Был момент, когда он увидел Сергея и радостно затеребил бороду. Он поднял обе руки и подождал, когда подойдет Сергей.

— Ты — мой конвоир, Сережа, а я — мудрец, идущий в изгнание. Не правда ли, любопытно? Тебе не пристало иметь со мною общение, доколе я — твой арестант. Я только хотел сказать тебе, что твое оружие, охраняющее крепости вашей революционной диктатуры, смешно и нелепо: оно свистит, как лудочка, на плечах такого свирепого большевика, как ты. Но позавидуй мне: я чувствую сейчас мир таким безграничным, каким не чувствовал его Спиноза, хотя Марку Аврелию это уже мерещилось по ночам.

С тех пор, как видел его Сергей в последний раз, отец опустился еще более: смерть матери была для него последним ударом. Своими отрешьями он напоминал нищего: был грязный, нечесанный, и ноги сочились кровью и гноем. И тошнотная жалость до физической боли обожгла сердце Сергея.

— Тебе некуда идти, батя. Водворяйся, пожалуйста, в моей комнате — мы будем вместе. Не надо этого, батя. Куда ты пойдешь? Ты погибнешь, батя...

Старик изумленно поднял брови и младенчески рассмеялся.

— О нет, мой сын!.. Я слишком хорошо знаю цену своей свободы. Я — человек, а у человека нет места, ибо ни одна нора не может вместить человеческого мозга. Каждое событие есть лучший учитель: смотри, как непосильна рабам свобода, и какое проклятие для курицы ее крылья...

Беззвучно подошла к Сергею Верочка. Она, должно быть, шла по тротуару вместе с любопытными. С обычным изумлением в глазах, дрожа всем телом, она залепетала около уха Сергея невнятные слова, и одно только почувствовал в ее голосе Сергей — мольбу и слезы.

Отец засмеялся, заиграл руками, и в его пустых глазах блеснула радость.

— А, а... Верочка!.. Неизбывный источник любви... Каким чувством восприняла ты мою голгофу, девочка?.. Ну, иди, ну, иди сюда!..

— Иван Арсеньич!.. Иван Арсеньич!.. Я так рада!.. Сергей Иваныч!.. Я так рада!..

И крылато подбежала к старику. Взяла его под руку и пошла вместе с ним, как дочь, с слезным сиянием в лице.

— Батя!..

Сергей хотел сказать еще какое-то слово отцу (какое — забыл) и протянул ему руку. Но рука не почувствовала опоры и упала: отец с Верочкой отходили от него в толпу.

Но старик опять обернулся и посмотрел на Сергея как чужой, с морщиной поперек лба.

— Гляди, Сережа, как не нова история: я — некий слепой Эдип, а вот она — моя Антигона...

И засмеялся, чужой, далекий, ушедший в другой, непонятный для Сергея, мир. Поправив винтовку на плече, Сергей больно сжал зубы. Внутри в судороге оборвалась последняя струна.

На пустыре, в седых бурьянах, недалеко от набережной, толпа опять осела на узлы и на клочья травы. Обозов уже не было: их отправили в склады Исполкома.

На набережной цветной веревкой толкался народ: это — следом прибежали городские мещанки.

И уже не было истерических криков, рыданий и гомона. Сидели, лежали, устало толкались на месте, будто больные. Не все ли равно, что будет потом? Дети вскрикивали, прыгали, срывались на игру: ведь так хорошо побегать по зеленой траве, когда солнце выходит из четких гор и полыхает в утренних дымах, а недалекое море голубеет, золотится до горизонта и огневеет туманом. Только хочется есть... Есть!.. Дети срываются на игру и на плач: есть, есть!..

Недалеко — пристани, только нет кораблей, и пристани тоже заросли травой. Томление изнуренной толпы так похоже на надежду: вот задымят на блестящей зыби пароходы, вот загрохочут лебедки, и люди засуетятся, забегают по набережной, опьяненные запахом отплытия.

Глеб угрюмо смотрел на море и в ту сторону, откуда должен притти с своим отрядом Лухава, с повозками, нагруженными скарбом и семьями рабочих.

... Ночью капельными гирляндами вспыхивали горы, набухшие каменной тьмой, и огни летали там, как горящие птицы, и птицы металась по горным провалам из тайных жутких гнезд, роняли раскаленные перья и кликали беду. Полк красноармейцев в боевом порядке расколол ночные глубины. Каменным шагом, с каменными лицами люди жутко шли в жуткую тьму, на зловедущие зовы огненных птиц.

Толпа, растерзанная ночью, — в судорогах отчаяния, отекая бараньим бессилием и покорностью. Вот она здесь, никому не пужное глупое стадо. Бессонная ночь и эта осевшая банная жижа... Стоило ли тратить энергию на эту орду, чтобы лишней раз ударить ее страхом и выбросить, как навоз, на задворки? Зачем ненужные крики детей и вся эта сумасшедшая паника живых мертвецов? Толпа эта только воняет домашним потом, а этот бараний ужас, ревуший страданием и безумием, воротит нутро до лихоты. Как-то иначе нужно было разворошить эти гнезда. Свой страх и жуть эти детишки унесут с собою в будущее, потому что страха и жути дети не забывают никогда.

Полк красноармейцев в боевом порядке унес с собою волнение Глеба. А эта барахольная ночь, прыгающая подштанниками, нижними юбками и смердящая спальным бельем, мутила душу Глеба обидой и злобой.

Не в этом дело: дело — в другом. Завод в огненном грохоте... Пирсы и каботажи, вырастающие из моря. Тысячи рабочих среди грохочущих машин. Земля, горящая золотом пшеницы. Этого нет. Там, в горах и за горами, — пушки, и красноармейцы в окопах гремят затворами винтовок. А в полях — пустыня и разбойничьи скопища, голод и голые одичалые люди, умирающие на бесплодных черноземах...

Прогнать эту ослепшую толпу бездельников — свистнуть и затопать ногами. Приготовиться к горным ночам, окрыленным зловедущими огненными знаками.

Мехова с винтовкой за плечом подошла к Сергею. Была бессонная ночь, а глаза Поли горели утренним блеском.

— Как давно я не переживала таких волнующих минут, Сергей!.. Точно была на войне или в дни Октября... Хорошо, удивительно хорошо!.. Ну, а ты? Почему ты такой тусклый, Сергей? Ну?..

И ее слова, звенящие радостным возбуждением, были очень далеко: будто слышал и будто не слышал, и будто крикнула она очень давно. И он ответил невнятно, как во сне, — не ей, а этому далекому вскрику, и не он ответил, а кто-то другой.

— У меня болит голова...

— Что с тобой?.. Какая сейчас может быть голова, когда кровь кипит, как тогда?.. Не может сейчас болеть голова... Новая экономическая политика?.. Чорт ее возьми!.. Где она? Нет ее!.. Мы завтра же выгоним на принудительные работы всю эту мерзоту... Ты слышишь, Сергей?

— Не знаю...

— Как — не знаю? Что ты говоришь?..

— Не знаю...

Спокойно стоял он с винтовкой в руках, спокойно смотрел на толпу, чужой и замкнутый.

А Мехова пошла от него по бурьяну, спотыкаясь, торопясь, а куда пошла — неизвестно. Было это или не было? Мехова это была или другой человек? Может быть, не было никого — показалось...

По булыжному шоссе гроыхали повозки. Пожитки, дети на пожитках, а сбоку возов шли рабочие и бабы. Лухава широкими взмахами ног косил бурьян, и волосы черным пламенем метались от быстрого шага.

Поля с пылающим лицом подбежала к Глебу.

Он выпятил грудь и взмахнул рукою.

— Товарищи-и!.. Стройся!..

Коммунисты разорвали круг и бегом, обгоняя друг друга, запрыгали к Глебу.

— А ну, граждане, забирай свои монатки... Шагай по новым норам... Пожили в хоромах — поживите в лачугах... Там, в предместье, вам покажут, где открытые двери... Богато для вас наготовлено кабинетов и залов... спать на пружинах и отдыхать на диванах... Вольно!..

Люди, обессиленные и измученные, сидели на траве, на узлах и были рыхлы, слепы и глухи. Иван Арсеньич оторвался от толпы и первым пошел по траве вместе с Верочкой, и шли они тихо, в ласковой близости, как будто вышли на обычную утреннюю прогулку. Старик улыбался, взмахивал

рукою и говорил с нею оживленно и восторженно. За ними поднялись и зашагали еще несколько человек с узлами и корзинами, потом — еще и еще... И вдруг все заторопилось, заползали, забуровили, забегали. Стали разбредаться в разные стороны — и на шоссе, и по бурьяну, и обратно в город.

Лухава подбежал к Глебу и, задыхаясь от утомления, схватил его за гимнастерку.

— Сейчас же в Партком вместе с отрядом... Сегодня в ночь переходим на казарменное положение... Идет бой за горами... Объединенные силы бело-зеленых... Город стоит под угрозой захвата... Бремсберг испорчен... Последние рабочие бежали с лесосек... У красноармейцев на бремсберге — потери...

— Что ты мне заливаешь, чортова морда?.. Бремсберг?.. Тот, который наш?.. Что ты мне заливаешь?..

— Да, тот самый, который ваш... Торопись! Сбор у Парткома. Глеб сжал челюсти и раздавил грудью звериное рычанье.



## ХИ

# СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

### 1

#### На страже

Отряд Глеба занимал район предгорья, за городом, где были виноградники и огороды предместий.

Днем, во время строевых занятий в казарме, по городу из-за гор далеким громом рокотало дыхание пушек: там, за дымными хребтами, шел бой. Сводный отряд особого назначения готовился выступить на подкрепление. По ночам он в полном составе нес сторожевую службу по охране города.

Днем город пустыми улицами проваливался в тишину и оторопь, ночью умирал во мраке. Уже не горело электричество на заводе, и окна обывательских квартир были наглухо закрыты ставнями и занавесками. И только по учреждениям, среди толчеи и табачного дыма, и по улицам обыватели и приبلудные члены профорганизаций таинственно играли бровями при встречах. И шопот и шипенье носились по городу вместе с вихрями пыли, и ветер с гор разносил их по всем городским закоулкам, за город, в предгорья, в ущелья, где под каждым кустом и камнем таился невидимый враг.

Часть женской организации, во главе с Дашей, ушла с санитарным отрядом на позиции, а другая часть, под командой Полю, обслуживала коммунистический отряд в казармах и спешно готовила отправку семей рабочих на случай эвакуации.

Днем Глеб несколько раз встречал Полю: она без устали бегала по профсоюзам, по предприятиям, в Совпроф, в Партком, в Исполком, бросала для постоянной связи своих женщин

во все концы и организации, чтобы дело держать на ходу и, на случай приказа, сразу, полным размахом, в несколько часов эвакуировать несколько тысяч женщин и детей. Поездные составы под парами стояли у завода, на набережных, в предместьях, готовые к погрузке, и дыхание паровозов сплеталось со вздохами далекого грома орудий.

Поля не спала уже двое суток, и глаза ее были немного в горячке, а лицо горело тифозным румянцем.

В этот день она урвала минутку, подбежала к Глебу в казарме и засмеялась сухими губами. Она не замечала, как сочились кровь из трещинок и окрашивала зубы, мешаясь с слюной.

— Вот оно, Глеб, где настоящее дело... Жили — долбили тезисы о профсоюзах и о новой экономической политике... Крутились на ежедневной серой карусели. Глохли и слепли до одури на заседаниях. Плодили бюрократизм. Выветривались, превращались в профессиональных чиновников. Новая экономическая политика... Однажды я слышала, как один водник — водолаз — сказал: «Эта новая политика выдумана здорово башковито: вино и пиво, ресторан — распивочно и на вынос. Это я поддерживаю и великолепно голосую»... Нет, Глеб, этого не будет. Десятый съезд партии не станет на этот путь... Нет!..

Глеб брякнул винтовкой и засмеялся.

— Ты не пляши курицей, товарищ Мехова. Вот дрызнем бандитов, и — крышка твоему настоящему делу. Кончится съезд, и закрутим эту знаменитую новэкономполитику. А твоего водолаза посадим в коммунхоз: пусть плодит там всякие рестораны, а из ресторанов вышибает деньги.

Поля испуганно встряхнулась, и брови ее вздрогнули от злости.

— Этого не будет никогда... Партия не может трактовать вопрос так, как трактуете все вы. Не можем мы предать революцию, это было бы страшнее смерти. Это — невозможно. Ведь интервенция разбита, блокада — бессмысленная затея. Наша революция зажгла весь мир. Пролетариат всех стран — с нами. Реакция — бессильна. А разве новэкономполитика — не реакция, не реставрация капитализма? Нет, это — чепуха, Глеб.

— Вот тебе раз!.. Какая же это реакция, если это — мужик и производство?

— Как? Значит, чтобы опять были базары? Опять — буржуазия?.. Разве ты хочешь, чтобы ваш завод сдали на концессию капиталистам? Об этом говорили сегодня в Исполкоме. И будто Шрамм послал доклад в Главцемент. Ты будешь рад этому, да? Такая реакция тебе по душе?

И на бледном ее лице, около скул, кровавились разорванные пятна, и лоб и верхняя губа искрились капельками пота.

У Глеба посерело лицо, и, пораженный, он нагнулся к глазам Поля.

— Как, как, товарищ Мехова? Концессия? Какая концессия? Что ты мне глаза заливаешь? Чтобы рабочие отдали свой завод буржуям? Чорта с два... Я покажу им концессию, сволочам...

— Ага, занозило?.. Вот тебе и закрутим новэкономполитику... Закрути, попробуй!.. Концессии, рестораны, базары... Кулаки, прожектеры и спекулянты... Может быть, скажешь что-нибудь утешительное про рабкоопы?.. Продналог, кооперация... Может быть, все это нужно... Но только не отступление, Глеб... только не это... только не это!.. Смертельные подвиги в бессмертной революции... Вот!.. Углублять, зажигать всемирный пожар, не бросать завоеванных позиций, а с бою брать новые!.. Вот!..

Она убеждала, с красными пятнами на щеках, а он, Глеб стоял, взволнованный, и думал о том, что говорила Поля.

... В эту ночь Глеб с отрядом стоял в долине, за городом, и охранял район шоссе и предместья. Все люди были распределены цепью от шоссе по кривой до склонов предгорья, а патруль из трех товарищей бродил по предместью и будоражил пугливых собак, и по их лаю можно было знать, где шагает патруль.

Глеб и Сергей стояли на опушке леса и следили за огненными факелами в горах.

Вон пламя вспорхнуло рыжей птицей на горе и полетело вверх. Взвилось ракетной струей и полосонуло мрак. Вспыхивала вытянутая рука и плечи человека.

Очень далеко, в ущелье, взметнулся такой же порхающий факел и полетел во тьме падающей звездой. Выше задрожал и закувыркался третий, потом — еще и еще... Тухли, зажигались, звали, извивались в змеиных конвульсиях...

Позади — лес. Его не видно. Только деревья рядом, у шоссе, вихрятся лохматыми тенями. Пластаются крылатые ветви, и между ними — непроглядный мрак и серые змеи. Этой ночью, как и вчера, человек города умер от ужаса перед смертью, идущей с гор. И над городом звенит объятая страхом тишина. Город боится по ночам своего шопота и забился в подполье. И в лесу — тишина. Она зыбью плывет из его глубин и пахнет болотом и солодом. Новорожденные листья порхают бабочками, чихают и чешутся. И всюду льется, поет шмелиным звоном далекая, сказочная капель.

Сергею казалось все призрачным, изменчивым и безграничным. Эта первобытная тьма высасывала внутренности жутью дремучих тайн.

Как культурный человек, он знал ночь при свете электричества, а горы и звездное небо казались там близкими и понятными, как каменные дома, как бульвары на площадях. Днем винтовка не была тяжелой, а теперь она приросла к земле.

Огненная птица упала и забилась в кустах. Вспыхнула веером искр и погасла, и мрак там стал жирным сгустком, дрожал и реял вместо огня. А рыжие звезды и горящие птицы еще летали в горах и ущельях и близко и далеко.

Глеб положил руку на плечо Сергея.

— Его надо поймать, к чертовой матери... Так и просится на мушку...

— Да, он совсем близко. Это он жжет английский порох. Ты видишь? Ведь он, без сомнения, знает, что мы — здесь, и не боится расстрела. Впрочем, мы опоздали, товарищ Чумалов: он сделал свое дело. Видишь — потухло. Он не будет рисковать...

Глеб спокойно запалил свою трубку и поглядывал на блуждающие созвездия в горах.

— Если бы он не думал, что мы с тобой — дураки и трусы, он не стал бы плясать у нашего носа. Он поиграет еще долгое время — вот увидишь.

Сергей взглянул вдоль шоссе. Оно дымилось теплом и потухало во тьме. Там, где уже не было видно дороги, черной надгорной тучей громоздилось в охапках и клочьях огромное дерево. И Сергею мерещилось, что в его ветвях вспыхивала спичка и не могла зажечься.

— Всюду — враги, Глеб. Что удивительного, если они и здесь, вместе с нами?..

Там, за лесом — вокзал. Но и там — тихо, только ночь пыхла, как животное, и жевала сонную жвачку.

Недалеко, по шоссе, скрипела телега и звенела колесами.

Все это — чепуха. Самое важное — вот: шквалом снесена вся работа, начатая с таким напряжением и энтузиазмом. Разрушен бремсберг, и вагонетки опять валяются среди камней и кустарников, как в те дни, когда он, Глеб, ходил по ржавому мусору с тоскою в душе. Опять стоят дизеля, и корпуса цехов — пустые и холодные. Опять — безделье и тьма. Эвакуация беженцев, голод, лишения, боевая обстановка. Опять винтовка в руках. Опять, может быть, — окопы, переходы, копать и грязь порохового дыма, а не трудового огня.

С его ли силами бороться за организацию сил на трудовом фронте, когда все, начиная от машин до гвоздя, разрушено, расхищено, заржавлено, когда нет топлива, нет хлеба, нет транспорта, и вагоны громоздятся на путях горами кладбищ, и у пирсов еще долго не будут дымить корабли. Не прав ли предисполком Бадьин, когда смотрел на него, как на дурака, который сам не знает, за что берется? Высочка. Головоотяп. Пустолом. Еще не в состоянии крепко держать в руках малое, еще враг угрожает самому существованию рабочей власти — как же можно строить планы на воскресение завода? Об этом ли думать сейчас, когда люди обречены на голодную дачку и, бессильные, не в состоянии вынести тяжести рабочего дня? Для чего производство, когда хозяйственная жизнь Республики парализована на года, и страна мрет от голода и одичания?..

Опять вспыхнул факел горящими волосами, но был уже дальше и выше. Накалились кусты и стали как живые. Огненные нетопыри залетали по горам. За городом, по туманной мути неба, электрическими вспышками зарниц задрожали разряды.

— Я же тебе говорил, Серега... Гляди: опять заплевались черти из ада.

— Вот это — совсем хорошо. Такой иллюминации я еще никогда не видал. Выходит, что мы — в сплошном кольце.

— Ова, в мешке, будь ты проклята! Прыгай в небо!

— В эти ночные часы я думаю, товарищ Чумалов, о будущем. Наши дети будут представлять нас великими героями и создадут о нас легенды. И даже наши будни и наше голодное вынужденное безделье в производстве, вот это наше с тобою ночное дежурство возведут в степень, как говорят математики. Все это отразится в их воображении как эпоха героических подвигов и титанических свершений. И мы с тобой, как маленькие пылинки масс, покажемся им гигантами. Прошлое всегда обобщается и возводится в степень. Они не будут помнить наших ошибок, жестокостей, недостатков, слабостей, наших простых человеческих страданий и проклятых вопросов. Они скажут: вот — люди, которые были насыщены силой и не знали преград. Вот — люди, которым суждено было завоевать целый мир. И к нашим могилам будут приходить как к неугасающим маякам. И когда я думаю об этом, мне немного стыдно и радостно за ту ответственность, которую мы несем перед человечеством. Меня давит будущее, Чумалов: наше бессмертие — слишком тяжелая ноша!

— А пускай: это — неважно. Что будет — то будет: история работает, как полагается. Мне важно, к чертовой матери, как мы будем двигать работу. Сварганили вот бремсберг, а его мерзавцы, сломали. Опять волюнку начинай от печки. Вот, думал, пустим завод, — а тут эта бандитская шатня... Мешают, сволочи: вот что противно...

— Ты слишком просто думаешь, Чумалов: мозги у тебя уложены по-хозяйски, как кирпичи. А у меня клеточки жозга — как птицы в клетке.

— Ведь вот какая у тебя башка, Серега!.. И держать мозги, этакую тварь — худо: галдят, проклятые... И выпустить — худо: будет пустой барабан...

Ночь зияла бездонной глубиной, а мрак ее вспыхивал зловещими огнями. И эти огни в ночи, летающие тревожно, как совы, и электрические разряды зарниц в тучах были таинственно жутки. Близился великий час. Там, за горами, куда перелетали огненные ножи факелов, в узких ущельях гнездится недобитый зверь. Двигается он, невидимый, от казачьих станиц, и бородачи, станичные батьки, рвутся сюда ордой, с оскаленными зубами людоедов, с гиком, с шашками, сверкающими кровью. Саранчовыми выползками заплывают станицы, куркульские восстания

дымом и кровью заволочут поля, камыши, предгорья и ковыльные степи.

Горы и леса кишат зверолодом. Днем они прячутся в темных зарослях и пещерах, или гуляют по городу в масках друзей революции. Они — всюду: и в рядах бойцов, и в советских кабинетах, и в домах мирных, безобидных мещан. Кто может указать их, назвать имена, раздавить их, как гадов? А наступает ночь, — они выползают, расплывшиеся мраком, для предательской работы. Вот они зажигают свои сигнальные огни, и огни полыхают и летят в саранчовые поля, призывно маячат и хохочут совиным хищным поглядом.

По шоссе, от гор, металлически звенела телега. Четко чокали копыта усталой лошади. Сонным хрипом невнятно бумкали голоса.

С винтовками под мышкой Глеб и Сергей пошли по дороге, которая у самых ног таяла и зыбилась ночью. Все — и земля и лес — проваливалось во тьму, и оттого, что не было твердой опоры глазам, Сергею казалось все призрачным, неведущим, и небо и земля одинаково близкими и бездонными, как пустота. И при каждом шаге пугалось и замирало сердце: вот он сейчас опустит ногу, и вместо накатанной дороги — трясина или черная пропасть...

Ясно видна была лошадь. Морда тускло тлелась от вспышек зарниц и огней в горах. На телеге чернели тени. Их — много, и воз кажется большим и пухлым.

— Стой!.. Кто такие?

Глеб стоял на дороге, перед мордой лошади, и держал винтовку наотлет.

— Раненые...

— Пароль?

— Какой тебе чорт — пароль?.. Видишь башки — в чалмах?

— Как наши дела?

— Пойди, поиграй в чехарду — так узнаешь... Засели крысы в норе, а мы жарим... А по нас — шрапнелью... Ничего — угарно... Ставим ядерные крысоловки, сукинова сына... Шкварчат и повизгивают, как поросся... Зацарапали с полсотни офицерья и пошлепали вдрызг... Только глаза прыгали, как лягушки... Две сестренки сегодня всю братву распотешили... Кишки порвали...

Поставили их над утесом под мушку... Взвизгнула одна: — Хамы, поганые обезьяны!.. — и — кувырк! вверх тормашки... Другая: — Хамы, босаяцкая сволочь!.. — и — кувырк! — вверх тормашки... Такое, ядри твою мать, представление было — кишки полопались...

— А как насчет подкрепленья?.. Ждете?..

— На кой чорт!.. Мы живо их всех перешьем в строчку... Потерь у нас убитыми — плёвое дело... А раненых — только первая партия... Остальные — в окопах... Мы — сверху, хороводом, а они — в кубышке... ни туда ни сюда — ни хвостом ни мордой... чистая ступа, ядри твою корень...

— Ну, молодчаги, ребята!.. Трогай!..

## 2

## Пленник с пустым рукавом

Горы расцветали огненным садом. Зарницы дрожали над морем, в тумане, сполохами.

Сергей и Глеб, с винтовками в руках, немymi тенями поднимались по взгорью, в кустарниках. Хлопьями рвался огонь, прыгал по лохматым охапкам кустов, брызгал искрами, погасал и опять взвивался пылающей птицей.

Прошли мимо бойни. Ограды нет: разрушена... Двери и окна — в проломах. Может быть, там тоже — враги, с готовой пульсй на прицеле?

— Шагай кошкой, Серега, не задевай кустов, держи крепче винтовку... Мы его сдаем живьем...

Глеб напрягался и вытягивался в струнку и крался с собачьей ловкостью. Невнятная радость хмелила Сергея. Не отрывая глаз от огня, он улыбался, не зная об этом. Дрожали руки и ноги, будто летел он с высоты в пернатой окрыленности. Клейко смазывала лицо упругая паутина и дрябло рвалась около ушей. На ресницах вспыхивали лучи перламутра. Волны теплого солода клубились в кустах: это дышали остывающие камни, и парились весенние листья бересты и кизила.

Ночь — лжива в расстояниях: будто близко, будто далеко. Но человек отчетливо виден, освещенный факелом. Он бежал по горе вверх путанными петлями, кружился, вытягивал правую



руку над головою, и фигура его кособочилась. Гимнастерка и фуражка огнились по краям, будто излучались. Левый рукав болтался тряпкой.

Оба присели одним движением. Взглянули пристально, одним мигом, друг на друга — поняли.

— Обязательно живым, обязательно, Чумалов... Ты видишь?..

— Не будь растяпой — накроем... Следи... Все нутро и мозги — в глаза...

Кровь упавшим колокольчиком бьется в висках. Безруких так много... теперь — много безруких. Они всегда вызывали в Сергее тревогу, и в пустом рукаве он чувствовал угрозу и скрытый удар. Брат — тоже с пустым рукавом. Он тоже блуждает таинственным, жутким призраком.

Безрукий остановился и чутко прислушался. Повернул голову вправо и влево. Стоял спиной, и лицо видно было только в профиль на один короткий поворот. И в этом огненном профиле почудился Сергею знакомый хищный клюв.

Пылающей змейкой вспыхнул огонь и ракетой полетел в кусты. Тьма стала густой и топкой, как болото. Забухали редкие шаги по камням, и кусты зашумели, точно от порыва ветра.

— Тю, к чертовой матери, упустили!.. Катай ветрогоном, Серега!.. Загоним в мат...

И Глеб прыгнул в кусты, расколол камни каблуками и провалился во тьме. Плиты и щебень трещали и брызгали под ногами и звонко разлетались осколками стекла. Сергей прыгнул вслед за ним, и ему опять почудилось, что он стал воздушно легким, пернатым, и птицей полетел навстречу дрожащим зарницам и горным огням.

— Стой!.. Застрелю, сукина сына... Стой!..

Быком орал впереди Глеб, и не слышал Сергей ни грохота ног, ни криков, ни выстрелов в преисподней тьме. Летел он легко, невесомо, и не было земли под ногами, ни свиста ветра в ушах, ни боли от шипов держи-дерева, которые вонзались в лицо и рвали кожу до мяса. Задыхался и кричал, а что кричал — не слышал сам.

Из мрака, наперерез, крылатым галопом промчался по горе бешеный конь. Захрапел перед Сергеем, взорвался утробой,

сблжнулся о камни, лягнул воздух и смахнул хвостом удары ног. Опять взрывно фыркнул и рассыпался мраком. И на том месте, где был конь, зиял пролом.

Сергей остановился и прислушался. Далеко копыта дробили камни, и криков Глеба уже не было слышно.

Дрожали сполохи в электрических разрядах, фосфором пылился туман. И нельзя было понять, где было море, где — небо. Внизу город громоздился кладбищем — глыбы без огней, огромные могилы, кучи отвалов в каменоломнях. Позади — оглянулся Сергей — блуждали по горам факелы. На той стороне — горы еще выше, в зубцах, перевалах и пиках, и по ним тоже роились созвездия. Вспыхивали и тухли, летали огненными змеями, разгорались кострами и растекались пламенными потоками с вершин, по ущельям и ребрам.

Внизу, в лошинке, вздыхали и бормотали люди, а может быть, грызлись собаки над падалью. Звенели камни, как черепки.

Там — Глеб, и там — безрукий. Из двух врагов один должен быть побежден.

Безруких так много. Почему этот, пропавший во тьме, должен волновать Сергея?

Он запрыгал вниз, по обрыву, и почва раскалывалась под ногами и превращалась в пыль.

... Глеб корчился в камнях, выгибал спину и рычал. Сергей увидел, как он давил коленкой грудь распластанному человеку и впивался обеими руками в горло.

— Брешешь, подлый дикач, не уйдешь!.. Крышка, мерзавец!.. Мой!.. Помогай, Серега... Обыщи его, подлеца... Чисти по карманам все, что есть...

Дрожащими руками, с лихорадочной торопливостью, Сергей обшарил карманы штанов и френча. Нашел только коробку с табаком, спички и корку хлеба. И, когда он коснулся култышки левой руки, замер от визгливого удара в груди.

— Я знал это, Глеб... Это — мой брат... Это — мой брат, Глеб... Я сейчас убью его... Я расстреляю его, Глеб...

— Добро!.. Подбери его оружие — у меня под ногой. А ну, отряхайся, приятель... Становись, Серега, и держи наготове винтовку... А может быть, если он — твой брат, отдать тебе его на пощаду? Ну?.. Что скажешь в его защиту?..

И в той насмешке Сергей больно почувствовал вражду. Почудилось, что глаза Глеба блеснули горящими угольками.

— Оставь шутки, Чумалов... Или веди, или я убью его на месте... Ты не имеешь права разговаривать со мной в таком тоне...

— Да ну, не бесись, чортова обида...

У Сергея дрожали руки и ноги.

... Дмитрий стал на ноги, хотел отряхнуться, но рука была закована в пальцах Глеба. Захлебывался и кашлял.

— Опять необычная встреча, Сережа... Все-таки ты не годишься в подметки вот этому свирепому молодцу. Военком Глеб Чумалов. Мы с вами имели честь встречаться в доме моего веселого отца в тот час, когда вы его грабили. Жалею, что тогда не было моего брата Сергея: я бы прострелил ему череп. Моя рука еще способна совершать чудеса.

Глеб наклонился к лицу однорукого, но руки не выпустил.

— Ага, неожиданная встреча, герой-полковник... В саду, у старичка, я здорово свадлял дурака: надо было вас тогда заарканить — хорошо клевало. Пошли, ребята!.. Товарищу Чибису гость по нутру...

... Дмитрий хотел говорить, но смех рвал его слова, и он задышался в усилии быть спокойным.

— Мне очень лестно идти с вами, друзья... Особенно с вами, доблестный военком... Но руку мою вы все-таки пустите: я — не ребенок и не барышня, чтобы проявлять ко мне такую трогательную заботливость. Победенный враг пойдет с вами так же гордо и твердо, как и вы, победители... Вы только, военком, отстраните от меня немножко моего кровного братца Сережу, а то я не уверен, что он не страдает теперь худшим видом женской истерики... Успокойся, Сережа: ты очень волнуешься, мой друг...

Сергей щелкал зубами и никак не мог побороть тошнотной лихоты в груди. Он употреблял невероятные усилия, чтобы не закричать и не броситься на брата в припадке животной ярости.

А Дмитрий смеялся веселым и добрым малым.

— Не правда ли, Сережа, — мы с тобой еще ни разу не гуляли с таким удовольствием, как сейчас?.. Этими моментами надо дорожить... тем более, что эти минуты — последние в нашей жизни... Ты уморишь меня своим свирепым видом вояки... надо

полегче... Ведь ты слишком жалкий раб своей партии, чтобы распорядиться собою в этот час вашей глупой удачи.

Они поднялись из оврага и пошли по дороге по взгорью.

По горам и мутному небу далекими молниями вспыхивали разряды.

— А все-таки ваше дело — дрянь, кустари... Завтра вашими мозгами будут загажены мостовые. Жаль, что не увижу своими глазами. А тебя, Сережа, я повесил бы публично у ворот своего дома...

Сергей засмеялся — и изумился, как он мог смеяться в это мгновение.

— Да, мог ли ты ожидать, брат, что я поведу тебя на смерть? А вот видишь?.. Как тебя расстреляют — я не увижу. Но уж одно то, что ты пойман... пойман при моем участии... дает мне удовлетворение... я веду тебя под собственной пулей...

Дмитрий смеялся дружески весело и простодушно.

— Ну, ты совсем уморил меня, Сережа... ты — бесподобный комик, ей-богу...

Глеб выпустил руку Дмитрия и вскинул ружье за плечо.

— Ну, как, полковник?.. А ведь хорошая прогулка для чертовой ночи?.. Если бы видали мещане, сказали бы: вот веселый народ, ловкачи-ребята!...

Дмитрий смеялся, но в голосе его была заноза. И Сергею показалось, что он вовсе не смеется, а дрожит от тоски и хочет сказать такое, чего не могут выразить человеческие слова.

— Да, да... очень весело!.. Мне жаль, Сережа, что ты не будешь участвовать в этой забавной игре, которая именуется расстрелом. Я бы очень хотел, очень хотел, Сережа... Мы вспомнили бы детство... Ты хорошо помнишь наши детские годы?.. Мне хочется, чтобы ты в тот час сам наставил на меня дуло винтовки... Может быть, ты сейчас это сделаешь?.. Ваши застенки — хуже тех кладбищенских ночей, которых я боялся в младенчестве... Я не хочу, чтобы там опустошили мою душу... Пойдем со мною, Сережа, до конца: это было бы очень красиво... сюжет для героини... два единокровных брата в непримиримом противоречии слили в одну две капли крови... А? Заманчиво? Романтично?..

Городской патруль шел навстречу с винтовками наперевес.

## ХШ

### ТИХИИ ХОД

#### 1

#### На повороте

Опять наступили спокойные, упрямые дни хозяйственных хлопот и будничной незримой работы в отделах, организациях и на заводе. И эти дни были точь-в-точь такие же, как и до восстания бело-зеленых и казачьих станиц — опять зашелестели бумагами канцелярии, опять — заседания в Исполкоме, в Совпрофе, в Экосо — в угарном табачном дыму, с окурками на полу, с бесконечными прениями, резолюциями и планами. Только по ночам уже не было видно блуждающих тревожных факелов в горах. Субботние привозы деревенских продуктов — картофеля, муки, зелени, яиц и мелкой животины — загромождали базарную площадь предместья, и в воздухе пряно запахло лошадиным потом, испражнениями и перегноем. В горных ущельях, по которым не было проходу ни пешему, ни конному, открывались небоязные лесные дороги с людным пешеходом, с тележным скрипом, с дремотной песней землероба.

И опять городские обыватели и деловые люди в гимнастерках, во френчах, в коже, с портфелями и без портфелей, выползли из ослепших квартир, из подполья на улицы, и никто не вспоминал об эвакуации, о громе пушек за горами, о пережитых ночных ужасах.

Небесно голубело море в горных берегах, и по набережной грохотали телеги и грузовики, а на рейде, за молами, до самого горизонта, замахали острыми крыльями рыбацьи белопарусники. По утрам неизвестно откуда появлялись у каботажей турецкие

фелюги и бултыдались на волнах, шоркая по бетонным бокам пристаней, и в разнолет чертили воздух тонкими веретенами мачт. Приблудные члены профсоюзов уже не играли бровями при встречах, не шептались, не шипели на перекрестках, в заборы и панели, а деловито и громко говорили о новой экономической политике, о валюте, о турецких фелюгах и контрабанде.

На главной улице, около магазинов, бывших под складами и базами разных хозорганов, громыхали грузовики и дроги, ревели и дрались лошади, и грузчики по целым дням рычали, матерились и хрипели под тяжестью тюков, ящиков и мешков. Главная улица горела солнцем, пахла весенним небом, чистилась, как курица, в предчувствии новых надежд. Когда-то она цвела нарядами витрин, дышала ароматами духов и шелестом гуляющих модниц, а по ночам волновалась в лучах электрических реклам завтрашний день мерещился румяными улыбками сдобных, ушедших в прошлое, дней — завтрашний день без Чека, без паেশного хлеба, без квартирного уплотнения, без регистраций и перерегистраций, без ущемлений, карточек и обязательной трудовой повинности.

Бабы и девки с поднятыми выше колен подолами стояли на подоконниках и лестницах, мыли и терли зеркальные стекла, и застарелая грязь рыжими потоками стекала на тротуар. И из темных сарайных утроб магазинов несло плесенью и затхлой прохладой погреба. Только пустотным эхом звенели девичьи песни и раскалывались визгливым хохотом и перекликом. Перед раскрытыми дверями и окнами толпились бродячие люди и долго с беспокойным любопытством смотрели в нутро магазинов, на мокрые окна, на голые икры баб. И там, где окна чернели прозрачной пустотой, а внутри грохали молотки и визжали рубанки, на дверях и на стенах фасадов ослепительно резались квадратами и полосами на солнце аншлаги:

«В непродолжительном времени здесь будет открыт рабкооп».

«Здесь открывается кофейня».

«Универсальный магазин ЕПО».

«Торговое Т-во Мануфактура».

А на гладких серых стенах Городского Дома (Коммухоз) — аршинными буквами —

«Кто не работает, тот не ест».

«На руинах капиталистического мира мы построим великое здание коммунизма».

«Мы потеряли только одни цепи и приобретаем целый мир».

На базарной площади сбивались новые лотки и палатки. Там чавкали топоры, вспыхивали золотые стружки, и в городе, по улицам, пахло сосновой смолой и масляной краской.

Около Наробраза с утра до четырех толпились шкрабы с сизыми отеками на лицах. Сбитые в кучки, стояли и сидели на тротуаре или рядом около стен, с покорным отчаянием, как слепые. Так толпились они около Наробраза каждый день целую зиму и весь март. Школы заняты под учреждения в школах разграблены библиотеки и кабинеты, и парты изрублены на топку, а в Наробразе нет дензнаков. Почему же не сидеть и не ждать покорно зарплаты, которой не платят им с осени?

И когда Сергей выходил с заседания коллегии на улицу, он сразу угорал и задыхался в непролазном месиве шкрабной сутолоки. Не было улицы, не было тротуара, и воздух был тяжелый и нудный от дыхания, от грязного тела и одежды, от сизых лиц и мутных глаз в слезной мольбе и покорности. Эта сбитая в стадо толпа смыкалась перед ним в рыхлую непролазную гущу — плаксивую, по-нищенски липкую, с сухими зубами в землистых губах, как у трупов. И только одно глухо стонали и шептали, может быть, отдельные голоса, а может быть — все вместе:

— Сергей Иваныч!.. Сергей Иваныч!.. Голубчик, Сергей Иваныч!.. Вы сами учитель... Вы знаете... Как же так, Сергей Иваныч?..

А Сергей пробирался сквозь нищий толпеж и никого не видел: смотрел вниз, мимо всех, и смущенно улыбался. Улыбался и мучился от смутной вины перед этими заерзанными, полумертвыми людьми.

— Ничего не могу, товарищи... Требую, добиваюсь, но что же я сделаю? Я все знаю, товарищи... Ничего не могу... И когда будет возможность — не знаю...

Он шел, торопился, но никак не мог выбраться из толпы, никак не мог убежать от этих покорных, собачьих глаз и трупных зубов.

... Опять был массовый воскресник. Опять на бремсберге муравьиной гирляндой копошились тысячи рабочих и грохотали молотами, кайлами и лопатами. Важно опираясь на палку, инженер Клейст опять лично руководил массовыми работами. И к вечеру бремсберг опять заиграл флейтами на ролах, и колеса электропередачи замахали железными спицами в разных направлениях и пересечениях. А ночью завод опять вспыхнул электрическими звездами.

Рабочие Райлеса запрудили улицу у Совнархоза. В лохмотьях, патлатые, с застарелой грязью на лицах, будто только пришедшие с работ, с топорами за поясом, они напирала на парадные двери, надували пузырями глаза и ревели оравой, как на митинге, без слов, одними утробными вздохами.

Двери Совнархоза были заперты, и толпа буровила на мостовой, на тротуарах, напирала на стены, на двери, давила друг друга до треска костей. Впереди, у самых дверей, отдельные надорванные, осипшие голоса орали в стены, в толпу, вместе и вперобой:

— Подавай нам Совнархоза!.. Райлеса, сволочь поганую, сюда на аркан!.. Подавай воряг и грабителей, сукиных детей, бандитов... Ткачей, шерстобитов, захребетников — подавай!.. Где Чека? Почему не глазами, а задом глядит Чека?.. Давай сюда коммунистов!.. Почему там, за дверями, сидят коммунисты?..

На тротуарах сидели, опираясь спинами о стены, тесными рядами, другие рабочие и жевали паешный хлеб. Они сидели на солнце и млели от жары, напитанной запахом асфальта и раскаленной пыли. Лениво и дремотно смотрели через ресницы на одурелых товарищей в толпе, или вовсе не смотрели, а тихо и праздно говорили, не глядя друг на друга, развлекали себя плевками на тротуар, ходили за угол, к воротам Совнархоза, и мочились сразу по несколько человек, толкаясь локтями и плечами.



А вот вскочил на ступеньки крыльца Жук, замахал руками, и от взмахов рук волнами колыхнулся по толпе затихающий гул.

— Товарищи, внимание!..

И Жук растопырил руки взлет над своей головой. Потом скинул картуз, поднял его кверху и быком оглядел толпу с молчаливой угрозой. И из самых задних рядов видно было, как глаза его переливались пьяной влагой.

— Товарищи, я знаю эту шатию на тридцать три горы... Гляди, товарищи, как я скрутил их хорошим канатом... (Он завертел руками и оскалил зубы). Я их всех вывел на чистую воду, всех к стенке поставил, всех обрил под первый номер... Бюрократия заела их, печенегов, набалдашников... Мы, рабочий класс, знаем, как надо брать их за галстуки... Вы не видали, а я видал: они в подтяжках ходят и сморкают соплю в носовые платки. А есть у нас подтяжки, есть эта невозможная глупость — носовые платки и дорогие зубы? Они все золото свое, которое было и не было, в обшивку зубов отправили... Я всех их покрыл, товарищи, в двадцать два удара...

Только в передних рядах видели, как Жук кувырнулся со ступенек крыльца и изумленно пришился к стене на тротуаре. На его месте толпа увидела predisполкома Бадина. Лицо его было неподвижно, и глаза тусклы — не человек, а чугунный истукан.

Первые слова он сказал спокойно и тихо, как у себя в кабинете, но голос его был четкий и гулкий.

— Товарищи, в нашем городе — двадцать тысяч организованного пролетариата. Из этих двадцати тысяч вы, маленькая кучка, пришли сюда, как с базарного толчка, оравой и позорно дезорганизуете стройные ряды революционных рабочих. Стыдно и преступно, товарищи! В чем дело? Чего вы хотите? Разве нет у вас профсоюза? нет у вас ваших рабочих органов, в которых вы могли бы поставить немедленно все вопросы, которые волнуют вас сейчас, и разрешить их в спешном порядке?

Толпа грузно дрогнула и взорвалась ревом и топотом.

— Давай сюда грабителей! Давай райлесных воров!.. Не пойдем на работы... Одевка... Прожитки... Мы — не осторожная шпана... Грабители, сукины сыны!..

Бадин поднял руку, и лицо его не изменилось: оно попрежнему было металлически неподвижно и твердо, с бронзовым отливом.

— Я не пришел сюда, чтобы спорить и препираться с вами, товарищи. Все требования ваши, которые будут предъявлены через ваших представителей, через ваши органы и Совпроф, будут удовлетворены. Организовано отправляйтесь по своим местам. Знайте, что каждый прогульный час в эти тяжелые дни для Республики наносит непоправимый ущерб на хозяйственном фронте. И вина будет падать только на вас. Вы не сможете позорного пятна, которое вы накладываете на наш пролетариат. У него слишком много боевых подвигов, чтобы он мог снести этот позор. Не вы пошли на это унижительное выступление. Это — дело отдельных склочников. Я знаю, кто они — эти смутьяны и склочники. Вот он — только что выступал передо мною — Жук. Я его знаю давно. Я отдам немедленный приказ об его аресте.

И не успел кончить Бальин, Жук, весь включенный, бледный, с глазами, выпавшими из век, запрыгал около Бальина и закричал пронзительно, по-собачьи:

— Неправда!.. Неправда!.. Товарищи, это — ложь... Я не могу терпеть это, товарищи...

В передних рядах, около предисполкома, бултыхались в свалке руки, тела, и осатанелый, оглушительный рев оборвал крики Жука, а толпа забурилась, зашаталась, застреляла руками, и ждалось: пройдет мгновение — и у стены, около двери, разразится бешеный, неотвратимый самосуд.

— Бей их!.. Катай, волоки!.. Сукины дети!.. Наш Жук... На руках Жука... Давай в головку Жука... Жук!.. Жук!..

Предисполком попрежнему стоял на верхней ступеньке крыльца, в черной коже, и неподвижно, чугуниным лицом смотрел на ревушую толпу, и глаза его были пустые, как черные дыры. Он смотрел не мигая и ждал: пройдет еще несколько мгновений, и толпа надорвется, оседет — будет по-бараньему рыхлой и покорной.

Но не дождался: помешал Лухава. Черное пламя его волос и тонкие руки были в полете, как крылья. И пронзительный, по-птичьему тревожный голос с обычным восторженным изломом, облитый обильной слюной, сразу обрезал осатанелую животную ералашь.

— Товарищи, слово. Стойте смирно и слушайте!

Толпа опять дрогнула и отхлынула назад и в стороны по мостовой. Потом опять густой толчеей надавила на крыльцо.

— Лухава!.. Крути, Лухава, товарищ!.. Сейчас Лухава всем шкуру сдерет... Крой, товарищ...

А волосы Лухавы были в полете, и лицо — в острых костях (и скулы, и нос, и подбородок). Глаза дышали: то вспыхивали в круглой глубине, то вздрагивали под ресницами огненными точками.

— Какого чорта вы здесь дурака валяете, товарищи? Топоры за поясами, сумки на плечах, а одежда и обутки растут на деревьях. Это, товарищи, — прибаутка, а дело выходит такое: через час выступаем, сбор у Совпрофа. Продукты грузятся на подводы. Партком выделил на заведывание снабжением товарища Жука. Прозодежда выдается по одной паре. Весь состав Райлеса к чорту под ноготь... Стройся рядами и — дружно на свои места...

Толпа с ревом и гулом забушевала у крыльца, и Лухава растопыркой закувыркался в воздухе.

Толпа пошла по улице и колесом завернула по переулку к набережной.

Бадьин и Лухава стояли у стены Совнархоза и ковыряли глазами друг друга.

— В свое время я уже сообщил куда следует о вашем головопятистве с ущемлением. Этому мальчишеству надо положить конец, милые товарищи. Какими полномочиями пользовались вы, разрушая без постановления Исполкома аппарат Райлеса? Об этом опять будет сообщено краевым органам, и я сумею поставить вас на свои места.

Лухава улыбался вприщурку, и искорки в глазах летали за ресницами, дрожали и смеялись.

— Бю-ро-крат!..

Они опять вцепились друг в друга вздрагивающими глазами и пошли в разные стороны.

## 2

### Упрямым шагом

Из окна заводоуправления видно: прямо, на взгорье — клуб «Коминтерн» (днем там одни комсомолы — проводят часы

физкультуры, голорукие, голоногие, в трусах), а там, в воздушной дали, в кратерном взлете гор, из невидимого дна воронки до вершины перевала, в высь на восемьсот метров, струнно натягивается рельсами бремсберг. И вверх, и вниз, навстречу друг другу, минуя друг друга, приближаясь и удаляясь, ползют две вагонетки. Издали они — маленькие, как черепахи, и скользят по рельсам медленно и плавно: пять минут — вверх, пять минут — вниз, а встречаются опять через четверть часа. Вверх — пустая, вниз — брюхатая, правильным кубом — дрова. Видно, как машут спидами колеса на электропередаче, в разных наклонениях и пересечениях. И от перевала до электропередачи, по пологому спуску поперек горы, по разработанной дороге, подъезжают и отъезжают грузовики и телеги. Там и на лесосеках — рабочие Райлеса, а рабочие завода управляют бремсбергом.

Глеб — уполномоченный от рабочих — целые дни в заводоуправлении. Тут — спецы, присланные из Совнархоза, которые сами не знают заводских дел. Сидят здесь около года и все еще изучают сложную систему хозяйства. Они прилизаны, бледны от опрятности, носят галстучки. Все — бритые по-английски, белобрысы, не отличишь без спроса одного от другого. А что они делают за своими дубовыми бюро, почему говорят в полуголос и полупшопот — трудно понять. И вид у них деловито-холодный, и смотрят они на Глеба с тусклым вопросом (так на него смотрят и в Совнархозе), а на его вопросы отвечают сначала немым изумлением, а потом странными словами в полуголос, сквозь дым папиросы и задумчивое безделье, и слов этих Глеб не понимал, а понимал только одно слово, которое он возненавидел давно, —

Промбюро...

На ячейке, по его докладу, решили — потребовать подробный доклад заводоуправления на общем собрании рабочих. Решили — будут крыть почем зря. А покроют — будут требовать ревизии от РКИ. Сам же до изнурения изучал положение дел — не верил словам, взвалил на себя добровольную каторгу разобраться в цифрах, в докладах, в книгах, в текущих бумагах, в нарядах и планах. В первые дни плохо слушались тяжелые руки, и язык измолил корявыми пальцами: сколько листов — столько работы пальцам, столько труда языку. Обалдел в первые дни, а работа

пропала впустую — ничего не понял в мусоре цифр и таблиц. На вопросы отвечали учтиво белобрысые бритые спецы, и когда отвечали, смотрели на него с изумленным вопросом, а за вопросом — умело скрытая насмешка и презрение вприщурку. И с этими бритыми спедами, заботливо сохранившими опрятность, Глеб сам был учтив, сам говорил в полуголос и полушопот и задавал дурацкие вопросы, которые вызывали улыбку у спецов, а другие вопросы, над которыми думал по ночам, тревожили спецов, ставили в тупик, и они отвечали только одно:

— Промбюро... Совнархоз... Главдемент... СТО...

Глеб смотрел в окно, на работу бремсберга, изучал заводские дела, которые надлежало знать только спедам, и считал, сколько будет доставлено дров с лесосек до нового года.

— Один куб — в полчаса. В день, при двух сменах — 24 куба. В месяц — 600, а до конца года — 4800. Мало: это не разрешает кризиса. Бремсберг должен работать зимой.

Со дна воронки дрова шли по другому бремсбергу: черепашками, одна за другою ползли от завода в горы и из гор к заводу, минуя друг друга, железные ковши вагонеток: вверх — пустые, вниз — с дровами. Внизу, где электропередача, отстегивались от стального каната, отталкивались к ажурной вышке; на вышке, по лифту, с визгом проваливались в преисподнюю: вниз — с дровами, снизу — пустые. На дне черной дыры, где рельсы идут по тоннелям путанными улицами и переулками, вагонетки опять подхватывались канатами и исчезали во тьме, а оттуда, навстречу, ползли пустые и по лифту улетали вверх, в дыру, где высокий свет трепыхался голубыми шматками.

И здесь был Глеб, и когда проходил — пьянел от электрического шороха колес, от звона и визга вагонеток, от бойкой работы хмельных от труда рабочих, бросал на землю дела и таблицы и кувыркался в артельную суету. И видел, что другие были лица у рабочих — не тифозный сизый отек, а пот и загар, и в глазах — напряжение, и голые груди, взмахивающие от усталости. Хорошо. Воскресающий труд. Кровь, которая уже не может остыть.

Ночью уже не ждал, как прежде, Даши. Не запирал дверей и рано ложился спать. И не знал, в какой час приходила Даша.

А когда просыпался на мгновение от ее присутствия, видел сидела Даша за столом и, опираясь головою на руки, шевелила неслышно губами — читала. Утром, когда уходил на работу, Даша одним взмахом ресниц улыбалась ему внутренней сочно цветущей радостью.

А вот по ночам (и днями бывало) за Дашей, через Дашу подходила к нему и касалась его кудрями Поля. Шла она, пристальная, готовая к ласке, с такими большими, зовущими глазами...

## 3

## Т р е в о г а

Нужно было узнать самому, что такое — Промбюро, которое было неотразимым заслоном для Совнархоза и заводууправления. Эта тяжелая глыба стояла на его дороге, и вопросы его упирались в грузные ее грани безответно. Решил: ехать и изучить на месте. Если нужно крыть, — не возвращаясь, направить лыжи в Москву, к Ленину, в ВСНХ, в СТО — рассказать, разоблачить, разбить башку, сделать скандал, поднять всех на ноги, а своего добиться: завод надо пустить — пустить во что бы то ни стало.

В заводууправлении — сплошная бесхозяйственность, бездеятельность, саботаж. В Совнархозе — саботаж, казенщина и какая-то внутренняя незримая работа. И все — деловиты, с пузатыми портфелями, бриты под коммунистов. Трехэтажный особняк каждый день дрожит от суетливых толп, снующих из дверей в двери, и каждый день, с 10-ти до 4-х, тротуары около стен здания засорены хороводами необычайно говорливых людей, которые толкались раньше в кофейнях и на бирже. И толпы эти — только у Совнархоза. Нет толп у Здравотдела, у Наробраза, у Собеса. Впрочем, много людей у Земодела, у Коммухоза, у Внешторга.

Вот и ходил Глеб перед отъездом в Исполком, в Совнархоз, в Партком — собирал материалы, соображения, планы и постановления. Взял письмо Бадьина к близкому товарищу, члену краевого Бюро ЦК РКП, и письмо Жидкого — тоже товарищу, члену краевой КК.

Шел по улице—торопился домой, а до дому, на завод, было четыре версты по подкове залива. Шел и будто впервые видел улицу. Не та улица, что была прежде, месяц назад. Тогда магазины с зеркальными окнами были пустые или под складами всяких отделов, и окна были пыльные и заляпаны грязью. А теперь... тоже склады, как прежде, а вот среди них —

«Здесь в непродолжительном времени... гастрономия...»

«Кафе с постоянным струнным оркестром...»

«Торговое товарищество...»

«Товарищи, укрепляйте смычку города с деревней...»

«В непродолжительном времени...»

«Кто не работает — тот не ест...»

В этом лозунге в аршинных буквах на стене Городского Дома (Коммухоз) чья-то насмешливая рука замазала грязью первое не, и все прохожие не могли привыкнуть к новой комбинации слов и смеялись:

«Кто работает — тот не есть...»

Рабочие пайки... Зажигалки и мешочничество... Торговое Товарищество... Босой, оборванный Савчук... Голодные дети в детдомах... Разруха и одичание... Кафе — струнный оркестр... В зеркальных окнах магазинов начинают расцветать первые цветы витрин...

Глеб остановился в тревоге и никак не мог оформить того большого вопроса, который туманом клубился в мозгу. Да, новая экономическая политика... Регулирование и контроль. Рынки. Продналог. Кооперация.

Так. Кафе и струнный оркестр... А полфунта паেশного хлеба? А дачка — аршин мануфактуры, наусники и дамские подвязки от профсоюза?.. Почему так быстро начинают обсахариваться витрины? И почему так нудно и тревожно на душе?..

На другой стороне улицы, у окна кофейни, увидел Полю. Она стояла к нему спиной, смотрела в окно и не могла оторваться. Стремительно пробежал мимо нее человек в новом френче с портфелем (кто не носит теперь портфелей!), задел ее плечом и оторвал от окна. Не заметила — стала на прежнее место.

Глеб перешел мостовую. Стал плечом к плечу с Полей: она почувствует его и встрепенется. А Поля и его не заметила—стояла, с глазами, растворенными в оконной тьме. Там, в дымной, сумеречной глубине, сидели за столиками попарно и группами тени, воскресшие из прошлого.

Кафе... В непродолжительном времени... Горячие пирожки с разным фаршем...

И из непроглядного сумрака, через окно, призрачно струились далекие скрипки.

Гнусавой скороговоркой — за спиной, на тротуаре — деловые слова:

— ... твердой валютой, только твердой валютой... Поездка в Сухум... Товар свежей заграничной доставки... франко... фелюги... процент чистой прибыли...

Глеб оглянулся — адвокат Чирский, и с ним — бывший крупный винодел побережья. Встречал его в Совнархозе. Там же встречал и Чирского. Какие у них дела в Совнархозе?

Будь оно проклято! На заводе пахнет еще Октябрем, и голова еще не отдохнула от гражданской войны. А когда в городе, — будто совершается странный сдвиг, и мир изменяет свой облик...

Глеб, играя, потянул портфель из рук Поли. Она дрогнула и очнулась. В испуге взглянула на Глеба, и в ее глазах увидел он задвленный крик.

— Не гляди на шатику, товарищ Мехова. Если завидно — лучше втолкнись в эту яму и раздави чеперуху. Пойдем в женотдел.

— Ну, вот скажи мне, Глеб... Ты понимаешь что-нибудь? Я хожу по этой улице и глазю на окна, как дура. Что со мной происходит?.. Смотрю до боли в голове, до скрипа в зубах и — ничего не понимаю... Я ничего не понимаю, Глеб...

— Иди в женотдел. Пусть тут глазю настоящие дураки и прохвосты...

Он взял ее под локоть и повел с собою вдоль улицы, а Поля испуганно смотрела по сторонам, в двери и окна магазинов, и глаза ее дрожали, как капли на ветру.

— Сегодня я не пойду в женотдел. Там — Даша. Твоя жена — редкая женщина: она далеко пойдет, вот увидишь... Впрочем, что можно сказать о других, когда не можешь знать о себе? Вчера я была — одно, а сегодня — другое...



— Стыдно, товарищ завженотделом, закатывать панику. Бить надо, а не плакать и не приседать на одну ногу. Не показывай виду на болячку и не бери костыля: засохнет и сойдет коростой, как на собаке.

Говорил грубо, а сам ласково прижимал ее руку.

— Что со мной делается, Глеб? Может быть, ты в силах разобраться в этой ералаше?.. Я—точно зачумленная. Чувствую, как подо мною зыблется почва. Ведь я была на фронтах, видела настоящие ужасы... Два раза пережила страх неизбежной смерти. Была активной участницей московских боев. А вот сейчас переживаю такое, чего со мной не было никогда. Точно надо мной издевается подлая толпа, а мне стыдно, потому что не могу защититься. Это — так нужно? Это — неизбежно? Это — необходимый результат наших страданий и жертв?.. Так ли это, Глеб?.. Может быть, и ты так же очумел? скажи мне откровенно. Может быть, Глеб, ты только храбришься по привычке?..

Дошли до Дома Советов. Поля остановилась, но не отрывалась от Глеба, и было видно, что ей тяжело оставаться одной, и тяжело — на людях. Глеб волновался. Отчего больше — оттого ли, что взбудоражили слова Поля, или она влекла его к себе, идущая в него из-за Даши и через Дашу?

Концессия на завод. Глеб испугался тогда этого нового, зловещего слова. Неизвестно кем слово было брошено на ветер, и он тогда не мог добиться никакого толку. Был подпольный, косноязычный слух, и он скоро растворился в тумане. А вот улица заговорила горластым языком витрин и суетливой толчеей спекулянтов и торгашей. Это было другое. Лопнули скрепы, и из трещин потекли вонючие помои, а из темных углов и щелей выползли мокрицы и черви. Эту новую чертовню нельзя было брать с маху: в ней нужно было поковыряться с хорошими ноздрями и выдержкой.

Поля. Вот она, близко, и в словах ее так много задушевной дружбы, и так она нуждается теперь в его силе. И чуял он в ней большую сумятицу, а войти в ее нутро мягко и бережно не мог: может быть, не умел, а может быть — не было привычки. Хотелось сказать ей милое слово: накрыть ее как шинелью от холода и в тихом шопоте волною перелить в нее свое сердце.

— Я не пойду в женотдел. Пойдем ко мне — посидишь немножко. При тебе мне не будет так худо. Можешь скоро уйти, но лишь бы было ощущение, что я — не одна. Может быть, ты скажешь мне такое слово, которое отрезвит меня, и я буду глядеть на все другими глазами...

И она подтолкнула его к зеркальным дверям подъезда.

И вплоть до самой комнаты — по мраморной лестнице, по узкому коридору — она не выпускала его руки и все повторяла одно — помолчит и скажет, помолчит и скажет:

— Так надо, да?.. Так надо?..

В комнатке — светло и пусто. Железная кровать, на кровати — серое одеяло, белая подушка. Над кроватью — Ленин. У окна — столик, а на нем — свалка из книг и бумаг. И только одно почувствовал Глеб: пахла комната Полей. Если бы не знал, что здесь живет она, — все равно почувствовал бы по запаху.

Она бросила на стол портфель, не села, а прислонилась к стене, около стола. И Глеб не сел — прошелся по комнате. Остановился около двери в левой стене.

— А кто там, за этой дверью?

— Это — комната Сергея.

Он стукнул в дверь кулаком. Внутри, в пустоте, вздохнуло эхо. Подошел к двери в правой стене, около Поли.

— А тут?

— Я боюсь этой двери. Тут — predisполком. Я не люблю его: в нем что-то тяжелое, и мне всегда чудится: отворится дверь, и будет... не знаю, что будет... может быть, чорт знает что...

— Он — бабник, этот predisполком.

— Почему? Откуда у тебя такое заключение?

Поля засмеялась, но смех скользнул сам собою: глаза смотрели внутрь, и вся она прислушивалась к своей боли.

— Он — бабник. Я еще буду иметь с ним дело на случай.

— Какой ты еще раб, Глеб! Должны же мы, наконец, произвести революцию и в себе. В нас самих должна быть беспощадная гражданская война. Нет ничего более крепкого и живущего, как наши привычки, чувства и предрассудки. У тебя бунтует ревность, — я знаю. Это хуже деспотизма. Это такая

эксплуатация человека человеком, которую можно сравнить только с людоедством. Вот что скажу тебе, Глеб: к Даше ты с этим не подойдешь — будешь бит.

— Я уже и так бит, к чортовой матери.

— Ну, вот. И поделом. Так тебе и надо.

— Это — верно: есть какая-то запятая в любви. Этот орех надо хорошо раскусить.

И опять Поля встревоженно и растерянно осмотрелась вокруг себя. Запуталась руками в кудрях и сморщила лицо, точно от головной боли.

— Да, орех, Глеб... крепкий орех... А надо раскусить... И ядро в нем, чую, очень горькое и ядовитое. Надо... Пусть, чорт с ним, если надо... Мы отравлялись кровью, но в крови же находили противоядие. А в чем противоядие для будней, которые идут из проклятого прошлого?.. Вот в чем ужас. С собой всегда труднее бороться, потому что в будни душа всегда обречена на одиночество.

И она стояла перед Глебом такая простая, открытая, растерянная в своем смятении, такая доверчивая и близкая, будто знал он ее давно, будто такая она была всегда, встревоженная и мятежная. Стоит ее обнять, вскинуть на руки, и она ребенком прижмется к нему и будет родной и неотделимой, и от ласки его успокоится и опять засмеется, как недавно.

И с волной молчаливой нежности он прижал ее грудь к себе и щекой погладил ее кудри. А она сначала испугалась и вся съезжилась в его руках. Потом дрогнула, обхватила его шею и посмотрела на него одними слезами.

— Глеб!.. милый!.. Если бы ты знал, как я хочу твоей бодрости и силы!.. Мне очень тяжело, Глеб... Ты почувствуй меня, Глеб, и не презирай... Ты — самый мне близкий человек, и я тебя очень люблю...

А он, Глеб, все молчал и все прижимался щекою к ее кудрям. И у кровати, когда она была в последних мигах, а он уже поднял ее на руки — раздался дробный стук в дверь.

— Товарищ Мехова, можно? Ты — у себя?

И скрипнула дверь. То была Даша. Вспыхнула красная повязка, а лицо было прежнее — ясное, с ручейковыми глазами, с молодым оскомом зубов, еще не остывших от солнца.

— Вот так... это Глеб? Ты, непоседа, и сюда затесался?.. Вот проклятый парень...

И раскололась веселым смехом. Только на одно мгновение блеснул—увидел Глеб—испуг в ее глазах, а за ресницами что-то взметнулось бледной пленкой. Может быть, это так показалось Глебу, потому что он сам испугался и сразу не мог овладеть собою. Мехова отошла от него и засмеялась: ведь Даша не дура, и глаза ее умеют видеть и не такие мелочи.

— Ты не ревнуешь, Даша? У твоего Глеба я хотела призанять силы... Он — такой бегемот, что его не смутят никакие передраги.

— Почему Глеб — мой? Еще подумает, что и взаправду он — сила. Он еще, этот Глеб, многого не смыслит. Это правда: мужик он замечательный, но какой же он глупый, товарищ Мехова... уф, какой глупый!..

Глеб стал между ними и положил руки и на ту и на другую.

— Чорт его возьми!.. Этот орех надо раскусить... Пусть сломаю зубы... У Дашки теперь всякий орех — как блоха для собачьего зуба, и теперь ей — все нипочем...

Даша усмехнулась и отошла к столу.

— Я, товарищ Мехова, из женотдела... У нас же на носу — женская конференция... Ты это забыла?.. Сегодня на пять часов заседание Совпрофа, и ты должна делать доклад.

— Я это помню, Даша. Но было бы лучше, если бы выступила с докладом ты: я ничего не соображаю сегодня. Следай ты, Даша, а я до завтра отсижусь и подкуюсь немного.

— Идет, товарищ Мехова. Будет так.

Она обняла Полю одной рукой и строго взглянула на нее через брови.

— Товарищ Мехова... я знаю... Не разводи нюни, голубка... Мы повинны быть завсегда на-чеку: голову — на плечи, а руками крепко взять сердце. Прищепи душу к ребру, товарищ Мехова, и береги свое здоровье... Ты, дорогой товарищ, можешь не слушать... Куда же ты удираешь? Оставайся. Разве ты здесь — потайком? А я и не знала...

У Даши влагой переливались глаза, а Поля смотрела в окно и смеялась, как больная.

— Вот чертовы бабы!.. Крепкий орех на зубы, будь оно проклято!..

И вышел, красный от стыда и изумления.

В коридоре встретил Чибиса. По обыкновению, Чибис не подал ему руки и не поздоровался. И шел он упруго, но грузно, и смотрел на него, не мигая, как на чужого.

— Ну, так вот. Райлес, как тебе известно, отправлен в уютную дыру. Он сразу же там покрылся пылью, а пыль столбом поднялась во всех отделах, и все отделы похожи на сумасшедший дом. Жук оказался хорошим дураком. Сегодня я не спал. По ночам я не сплю: сплю только утром и после обеда. Сейчас прилягу на полчаса. А знаешь, этот безрукий — великолепный человеческий экземпляр... Его пристрелили в подвале. Я говорил с ним по ночам с большим наслаждением. Буржуазия умела давать молодежи высокую культуру, и мы должны у ней много, очень много учиться. Чтобы овладеть культурой, надо знать, как ею пользоваться, а это — не так просто, имей в виду.

— Стоп, стоп, товарищ Чибис! Это — ловко... Обхаживал, обхаживал и — подсек под самый корень всю эту шатию... Чортов Жук, он даже перестал бродяжить и барахолить языком в эти разы...

— Ага, это потому, что находился в хороших руках. Из двух десятков расстреляем верную половину. С этими статистами мы устроим публичное представление в гостеатре: я передаю дело в Ревтрибунал. А за ущемление нам все-таки попадет. Головогяпство. Во время партийного съезда. Раз головогяпство — обязательно склока. Как ты думаешь, кто кого съест?

— Я так думаю, товарищ Чибис: Бадина голыми руками не возьмешь, а взорвать его можно только буркой.

— Вот. Но там уже заложены хорошие бурки. Это имей в виду. Будни — это склока, а склока — это героизм, превращенный в обывательство. Я сплю всегда с открытыми окнами и дверью. Днем сон здоров и свеж, потому что насыщен людьми и солнцем. Самое веселое время у меня — ночь. Приходи

ко мне, и мы с тобой забавно проведем время. Ночью видишь всегда больше, чем днем.

— А товарищ Ленин спит по ночам, товарищ Чибис? Я слышал, что он — такой же несонный, как ты, и любит огонь.

— Не знаю. Я тоже думаю, что он любит огонь.

— Ну, а как же, товарищ Чибис? На улицах, выходит — кафе с постоянным оркестром? Опять — старая чертовня?

— Вот. А ты испугался? Меня здесь скоро не будет. Поезжай обратно в армию: еще помуштруй себя в выучке и поучись политграмоте. Меня это нисколько не тревожит. Нужно уметь смотреть на солнце и на кровь одинаково не моргая. Не бояться, что солнце сожжет глаза, а кровь отравит душу. Для этого и солнце и кровь надо смешать в корыте в самую обыкновенную болтушку.

Он поднял ресницы и усмехнулся, и опять Глеб увидел в глазах его младенческую яеность и огненную точку, которая беспокойно билась в зрачке и не могла остановиться.

Чибис пошел по коридору упруго и грузно, и Глеб впервые почувствовал, что Чибис смертельно устал и несет в себе непереносную тяжесть.

## XIV

### ВСТРЕЧА ПОКАЯННЫХ

#### 1

#### Через голгофу в каноссу

Вместе с Чибисом в катер сели — Жидкий, Глеб, Сергей и Поля. Чибис поднял руку, посмотрел на всех и по-ребячьи блеснул зубами.

— Режем, братва! Держись крепче! Давай ход, военмор!

И он с размаху хлопнул по плечу матроса, чумазого, с искорверканным лицом, как помятое ведро, с паклей в огромных руках, опутанных толстыми жилами.

Далеко, на рейде, в знойных струях марева, стоял пароход, как огромная глыба, растущая из воды. Это был первый пароход с покаянными.

В зеленой зыби пристани ломались на куски, летели в голубую бездну, трепыхались бесчисленными веревками и стекали жирными шматками и потоками нефти. Впереди, у носа, зеленый бурун ломался хрустальным звоном и рассыпался осколками стекла. Позади, за кормой, у спины Глеба, снежно пенилась выше головы непадающая волна. А вон, у молов, два дельфина перекатываются один за другим чугунными колесами. Искры стреляют от круглых спин и больно колют глаза.

На набережных и массивах каботажей — несчетные толпы. Они переливаются в движении яркими цветами и радугой. И в воде — толпы: они колышутся, махрово вспыхивают в волнах, рвутся снопами огненных пятен. Давно не было пароходов. Ушли пароходы вместе с белыми. Проголодались без кораблей, и теперь пароход — праздник.

Борт корабля от носа до кормы колосился и волновался гирляндами других толп. Издали они — маленькие крылатые существа, вороха отдыхающих бакланов, когда они сушат крылья на солнце.

Сергей смотрел на черную махину парохода и грыз ноготь на мизинце. Глеб бил его по руке, но он не мог оторваться.

— Через голгофу — в каносу... Таков путь контр-революции...

Жидкий покосился на Сергея, и ноздри его раздулись до белизны.

— Брось, Сережа. Это — интеллигентный бред. Так сейчас говорят только сменовеховцы.

А Сергей говорил сам с собою, а может быть — всем сразу:

— На этом корабле их — триста... и четырнадцать офицеров... Когда их не приняли в Туапсе, они сказали: «Пароход не пойдет обратно: пусть направят нас туда-то. Выйдем на берег — пусть нас расстреляют»... Это — великолепно. Сейчас они несут в себе страшно много энергии. Ее надо взять. Взять и — преобразить.

Жидкий щелкнул зубами.

— А сколько они взяли у нас? Сколько проглочено нашей крови, наших сил, ты это учел?.. От этого голова кружится...

— Ну, и что же? Ведь страдания и кровь неугасимы. Свойство крови — превращаться в страдания, свойство страдания — перевоплощаться в подвиги, а через массы — в планетарную борьбу...

Поля взглянула на Сергея и засмеялась. Она опять расцвела весенней радостью, а ресницы и брови опять искрились солнцем.

— Ах, Сережа, милая ты кликуша... Как бы тебя расклевали наши горластые делегатки, если бы слышали твою мудрость...

Глеб глядел на дельфинов. Вращались два маховых колеса одно за другим — вспыхивали и тонули. Острыми мечами на спинах плавными взмахами резали воду из нефти и молока. И когда исчезали в глубинах, вода плавилась густо, без волн, без всплесков. Так же могуче и крылато, в железном полете мчались маховики у дизелей на заводе и потрясали душу электрическим насыщением. Их было много когда-то в легком, воздушном движении, а теперь — только два. Их жизнь воплощается вон там, в кратерной впадине гор: вон ползают черепашками две вагонетки — и вверх и вниз, и ближе — по магистрали



вереницей, навстречу друг другу, минуя друг друга, одна за другою, длинной цепочкой, много других вагонеток. А вот эти, заряженные животной кровью, колеса бычьими спинами, расточительно уносят в морские недра драгоценную солнечную энергию...

Пристани—уже далеко. Горы, мерцающие медью в изломах, в фиолетовой мгле, колыбельно качаются — плавают в море. Это играет катер на зыби, и корабль вздымается и падает, закрывает пол-неба и громоздится небоскребом. И Чибис, и Жидкий, и Поля — все кажутся маленькими и четкими, как в выпуклом зеркале. И он, Глеб, — маленький, только сердце — большое, больше его самого.

Сергей не отрывал влажных глаз от парохода и кусал мизинец.

В утробе корабля ухало и грохотало железом, и в воздухе потрясалось громом.

— К трапу! Штопори!

Вверху, на борту парохода — гирлянды пепельных лиц. Они глядели вниз угарными, немигающими глазами, трепыхали тысячами рук и ревели бурным воем, как в припадке безумия. В высоте, за каруселями канатов и лебедок — сизый вихрился дым. Внизу, на волнах масляной зыби — плескался, трещал пулеметом маленький катер с красным полотном на корме — грозная пылица огненной РСФСР.

Англичанин в позументе—должно быть, капитан—истуканно стоял у трапа, опирался на парапет и бесстрастно смотрел вниз на летающий катер в волнах.

Далекая набережная струилась и цвела маковым полем. А в утробе парохода грохотало железом и глухим потрясающим громом.

## 2

### Беззубые волки

И случилось: большевики брякали пудовыми башмаками из юфти. Не все ли равно—Партком или палуба английского корабля? Не похожи эти люди на тех, чья обувь стерла несколько красок с палубы. Те забыты, а этих не забудешь. Никогда не забудешь этих жутких людей жуткой страны...

Серые люди сбивались потной, вонючей толпой. Восставшие мертвецы,—тиф, цветущий плесенью. Сизые вспухшие лица, безумие в глазах. Рвань, босявня барачников. Не разберешь, где—офицеры, где—серая скотина, солдат. Обреченные, стояли в безмолвии бурдючной массой.

Жидкий говорил с англичанином в позументе и сам был похож на англичанина.

Чибис стоял в желтой коже, будто в металле, и говорил бесстрастно и отчетливо:

— Офицеры — вперед и ближе. Остальные — назад.

Шоркнула топотно толпа — очистила место на палубе. И место это показалось лобным.

Боками пробрались сквозь толпу brave оборванцы с лицами былой холи, с голодной водянкой и грязью в порах. Не поймешь — одержимые ли, пьяные ли от отчаяния и радости, или сумасшедшие в покорности перед жизнью.

Поля озорно усмехалась. Говорил Чибис, и она говорила Глебу:

— Смотри, Глеб: это — давленники. Они целовали ручки у дам. Протухли, как жужелицы...

Голос Чибиса был ровный и тусклый, как пыль на его лице.

— Вы — наши враги. Вы нас ненавидите. Вы тысячами истребляли нас — рабочих и крестьян. Вы ехали и надеялись, что найдете здесь не смерть, а жизнь. Зачем вы приехали в Советскую Россию?

С серебряной щетиной на челюстях, вышел старик. А может быть, не старик был, а плесенью покрыла лицо старь.

— Мы не боимся ответа... о нет... Мы — только мучительно уставшие люди... Разбитый враг — не враг. Разве мы пережили меньше, чем вы? Кроме родины, у нас ничего нет, и нет нас вне родины. Мы — прокляты, и в проклятии — наше искупление. Пусть требует от нас родина мук, смерти... Мы — готовы, мы — покорны. Вы не лишите нас этой радости...

И когда говорил, не смотрел на Чибиса, а торжественно поднимал голову к солнцу.

Чибис молчал и пристально смотрел на него через сетку ресниц.

Молчали. Молчание было в одном общем вздохе. И ждалось: пройдет мгновение — лопнет паутинная пленка, и все взорвется в реве и судорогах.

Закричал и забился в конвульсиях маленький офицерик-юноша.

— Я был обманут... Я был слеп... Я — убийца, да... Дайте мне оправдать жизнь... Пусть умереть, но — оправдать...

И только вздох скрытой тревогой взбудоражил толпу. Чибис небрежно отмахнулся от выкриков офицерика.

— Прекрасно. Но чем вы докажете, что говорите правду?

Офицерик подбежал к Чибису и разорвал ворот рубахи.

— Застрелите меня сейчас... Застрелите!..

Чибис опять холодно отмахнулся.

— Идите на место! Вы можете уехать назад, не сходя на берег. Уверены ли вы в том, что мы вас не расстреляем?

Офицер бросил вверх руки. Рукава рубашки сползли к плечам. И кулаки были, как чужие — красные.

— Вы не можете меня убить... не можете... Я хочу жить... жить!..

Его подхватили под руки и увели в сторону. И там он кричал надрывно одно и то же:

— Жить!.. жить!..

Поля морщилась и усмехалась, и глаза были большие и круглые от радости.

— Какие слабые нервы у этих жужелиц!.. На кой чорт они сдались нам, Глеб? Скажи им, Сережа... Они меня не поймут...

Сергей сжал плечо Чибиса, и голос его надломился от внутренней дрожи.

— Товарищ Чибис, имейте мужество говорить другие слова, достойные нас... Издеваться над людьми — легче всего... Возьмите более трудную роль — говорить с врагами, как с людьми...

Чибис рассеянно взглянул на него, как слепой, и сказал сквозь зубы:

— Я сейчас вас отправлю на берег, товарищ Ивагин. В чем дело?

Толпа бухала и забко сутулилась в молчании. Грязными чучелами карабкались на рупоры вентиляторов, на плечи друг другу, обнимали мачту, ползли вверх улитками, глядели обаддело на людей, которых не разгадать — жути ли в них больше, или

игры, пропитанной ядом. И ждали страшного, ждали, что хлопнет пузырем морока, рассыплется в свалке и бутори и осядет прахом. И тогда все станет простым и ясным, и будет хорошо и легко.

Глеб смотрел на смердающую людскую груду, на потные ослизлые лица — не жалко было никого, только любопытно и смешно.

... Волки. Вот они, эти волки. Рыскали они с кровью в глазах по просторам Республики. Три огненных года великих страданий. В борьбе с ними он научился их ненавидеть, потому что смерть была над ним в бурях и непогодах, и ночи войны багровели пожарами, а дни отравлялись кровью и дымом. А теперь вот они, эти волки... Глаза их потухли, и челюсти стали беззубы.

Слушал Чибис Глеб и ухмылялся: хорошо!.. Только мало — надо большее, большее... Молод челюстями до скрипа в зубах, и все хотелось грохнуть хохотом и пустить материк.

Вышел человек из кучи офицеров — весь из обломков, скуластый. Подошел близко к Чибису, почти коснулся его плечом.

— Вы здесь — насчет издевательства и жестокости... Вы думаете — вы поразили и... эх... (дернул головой) превзошли?.. Вы — мла-ден-цы... а младенцы не знают кошмаров... Ну-с, этот яд?.. Но ведь... эх... мы давно отравлены... и — да — слишком. чтобы чувствовать ожоги... Ваши удары — не боль... вы сумеете не в шутку поражать болью... Эх... я кончил...

И отвернулся вяло. Лицо скосилось параллелограммом.

Чибис усмехнулся сквозь пыль на лице.

— Вы — правы. Но вы напрасно храбритесь. Вы в достаточной степени знаете, какую боль мы умеем наносить вам. Не правда ли? Нас нельзя упрекать в несправедливости и легкомыслии.

Разболтанный человек отошел не оглядываясь.

Опять прибежал офицерик — отдохнул от припадка.

— Мы можем теперь только мстить... мстить беспощаднее, чем вы... Всем... всей Европе... всему миру... Я сумею оправдать себя...

Чибис прищурился, и лицо его стало необычайно острым и маленьким.

— Мы не мстим — это имейте в виду. Мы боремся за великие идеалы человечества — за коммунизм. А мстителей мы уничтожаем, как преступников. У нас — хорошая мельница: это вы увидите.

Офицеры молчали, и лица их покрывались паутиной.

Чибис взглянул на солнце, брызнул угольками в глаза, и пыль мгновенно смахнулась с лица.

— ...открываем двери... от имени трудящихся... прощаем... ваши силы отдать Республике Советов...

Дальше ничего не было слышно. Чехарда. Свалка. Шабаш безумных. Кувыркались к Чибису с разинутыми ртами и с глазами, вылезавшими из орбит. Кричал Чибис, кричала Мехова, кричал Сергей. И Глеб кричал, а что кричал — ни слова не помнил. Солдат с голым плечом в прорехе лежал брюхом на палубе и плакал навзрыд. Кто-то сипло матерно ругался, задыхаясь от радости.

У Сергея дрожали руки и ноги. Чтобы успокоиться, отошел в сторону.

Мачты стеблями качаются в небесах. Антенна от мачты к мачте играет гуслими. И кружатся лебедки весенними каруселями. Море и воздух — в огненной зыби. Верил Сергей, что жизнь — бессмертна, и птицы в вихрях полета расцветят воздух взрывами крыльев.

Жидкий говорил с англичанином в позументе. Тревожно вздрагивала трубка в углу рта у капитана, и глаза выпукло и беспокойно зеленели, как у сыча. Но силою воли он старался держать себя чинно и важно. Быстро, как автомат, приложил дощечкой ладонь к козырьку и зашагал по-верблюжьки к рубке, потряхивая тяжелым задом. Жидкий смотрел ему вслед и смеялся. А когда увидел Сергея, подмигнул ему и широко раздул азиатские ноздри.

### 3

#### «Красная знамя»

Всосала Глеба толпа. Была только толпа, а Глеба не было. Лицо в лицо с ним стоял казак в рваном бешмете, босой, и борода у него — не борода, а чувяка. В руках — обрывок

красного полотна. Срослись телами и казаки и солдаты. Все — в рубашках из рядна. Один — в турецкой феске. Лица не видно, а только — феска.

— Сия знамя — красная... Хай она до фокусу глаза — тряпка, ну, твой взгляд, товарищ, привычный до красного воздуха... И гляди, хлопче, не привычкой, а сердцем... Говорю грудями, товарищ: то — наша доля, наша кровь — сия знамя... Я — казак, истинным словом — пластун... и то — все пластуны... Кубани и Дона — вояки... Но все — одной страшной дороги... Разве ж не так, хлопцы? не так я кажу, друзья мои?..

И толпа потряслась одним утробным вздохом:

— ...пррраль... козаче... так точно!..

Казак скомкал красную тряпку и опять рассыпал ее перед Глебом. И на солнце она, мятая и ломаная, корбила комками и корками. Масляные пятна кровавились зловещими знаками.

Глеб взял тряпку и смял в кулаке.

— Ого, почему же — рубашка? С убитого, что ли? А почему залапана кровью?

— Ну, да ж... то — от самых нутрей... С кровью своею — до дому...

И толпа опять грохнула вздохом. Пьяной влагой переливались глаза у казака. Почему он от этого казался рыжим?

— В Галиполи сказали: чортма, хлопцы... до дому... до бунту стадом... А он был головкой, казак Губатый... Изловили его и нас... И барантой погнали до бойни... Пороли шомполами... И меня и их... Нас — до мяса, а его, Губатого, — до костей... Он загнил, а мы очухли... Тут сказал Губатый: «Снимай сорочку!..» Сняли. То — я. «Роби до полотна»... Сробили... «Это — каже — ваша знамя до крови, хлопцы... То — моя и ваша кровь... Я подыхаю... Берите знамя моей крови... То будет ваша знамя, то будет путь до воли, до большевицкого брата»... Так сказал казак Губатый, наш батько. И сия знамя — наша рубаха до смерти... А я хоронил ее на груди, хоронил душою от глаз... И погляди, товарищ милый: полыхает она, знамя, до радости больно...

Торопился казак, махал руками, и полотно металось красной птицей над головами.

Глеб снял шлем с головы, и без шлема стал таким же, как все.

— Замечательный флаг, верно... дорогой флаг... А вот я был военком, но рабочий. Вы еще не забыли те чортовы дни?.. Вон, погляди, как завод трубами облака дерет... Там я — слесарь и уполномоченный от рабочих... Мы лупили Деникина и Врангеля... сами, вот этими руками... Кровью своею сжигали врагов... Какое у нас знамя? Вот он, завод... Он — еще холодный... Двинули с мертвого места, а он — еще слепой... Кто его зажжет своею кровью?.. Нас нельзя победить... Он уже чихает, к чортовой матери... Это — наши руки и наша кровь... Вон видите: работа на горах? вагонетки? Придет ночь — везде электрификация... чортова уйма звезд...

— Ну, да ж... Мы все — до труда... Этим заморским, чужим и нашим чекалкам, кровь трудовая — отравла!.. Такая доля...

Стояли рядом пятеро матросов с корабля и дрыгали трубками. Мигали телячьими веками, слушали и будто понимали. И Глеб смотрел на них — говорил и смотрел. Взмахом шлема пригласил ближе и закивал головой.

— А ну, англиш... ходи сюда... Давай барахолить на случай... Лезь!..

Матросы оглянулись — не следят ли?

Подошли. Приложили ладонь к бескозыркам.

— Ну, понимай, брат, не звуком, а мордой. Гляди: я — большевик (ткнул себя шлемом в грудь), там — большевик (ткнул шлемом в воздух, к городу). А где у вас большевик?

Матросы закивали трубками.

— Большевик... орра... пролетария...

— Видал? Рабочий человек везде воняет одним духом. Правда, англиш? Какое у вас слово самое знаменитое, англиш? Знаменитое, чтобы прошло до самой утробы... Знаменитые дела — знаменитые слова... Так надо ставить вопрос, товарищи дорогие...

Вышел матрос, стал около Глеба. Лицо красное, красные руки и волосы красные. Вынул трубку, поднял ее над головой. Сурово, торжественно крикнул запевадой:

— Ком-ин-терн!..

А за ним вразброд завякали бычками и остальные:

— Ком-ин-терн... оллрайт...

Глеб в восторге топнул ботами.

— Вот, сволочи, покрыли, а?.. Ведь совсем понятно разговаривать с шатней... Ведь как дрызнули: все кишки выворотили, окаленные!..

Сдавал руку матроса, тряс ее и смеялся.

Казак со знаменем выступил вперед.

— Вот я до них — с гаком, товарищ... А ну, позволяйте мне слово дать с перцем... Слухай, англиш... ходи с нами... и ты и ты... до большевиков... Брось к бисову батьку своих командирей... вот как мы, бачь!.. Их, командирей, — до мачты, а корабль — трудящей России...

Матросы забулькали и заулыбались.

Надо ударить их больно, потому что много наболело на душе. Пусть почувствуют они эту боль, в которой есть и их доля яда.

Глеб положил руки на плечи матросам и сурово заговорил прямо им в лицо:

— Англиш, глупые товарищи! Какие вы мерзавцы, англиш!.. Гляди, какой был завод — богатырь. Горы дрожали и лопались чирьями. А теперь вот — только пшик и малый дым. Душа болит, товарищи-англичане... Уголь надо, машины надо, транспорт надо, строительство надо... А вы — интервенция, идиоты люди... негодяи!.. На уговоры вы — как девки: и хочется, и колется, и буржуазия не велит... А туда же — Коминтерн... А мы — хоть и нищие, и людей жрем от голода, а все-таки у нас есть Ленин... Ленин, англиш... А где у вас Ленин?..

Матросы забубнили, затолкались, замахали трубками. Натянули веревки на щеках, хлопнули в ладоши.

— Олрайт... Ленин... Ле-нин...

Глеб не смеялся, а смеялась всей потной тушей толпа.

— Ага, англиш... Кто может сказать нам — рабы? А мы всему миру кричим: Коминтерн!.. Советская, брат, Россия, англиш... пролетарская...

Подшел Жидкий, врезался в гущу и прямо упором втолкнулся в матросов... Он залайкал с ними по-английски, и они стали вдруг серьезны и деловито внимательны.

И Полю совсем не узнал Глеб: совсем иная Поля — возбужденная, налитая бодростью, вся в неуправляемых движениях, и глаза не умеют радости за ресницами.



— Олрайт, товарищи!.. Я хочу видеть ваших матросов — волоките к ним... Я знаю, что их загнали куда-нибудь в преисподнюю от большевизской заразы... Ничего — доберемся... Волоките... Требуй от них, Жидкий, — полай поэнергичнее, как полагается...

Матросы скалили зубы и хлопали глазами голодных самцов.

Тощий дылда браво приложил ладонь к кувшинному лицу. Струнами заиграли мускулы на щеках. Поля изумленно подняла брови и грубо огрызнулась:

— Болван...

Толпа бухнула лошадиным хохотом. Двое солдат заползали по палубе на карачках и визжали припадочно:

— Ой, будь ты проклята, сукинова сына!.. Ой, подыхаю, мать твою в качество... Ой!..

Поля подхватила под руку дылду-матроса и Жидкого и потащила их на корму. За ними неудержимо покатились и толпа.

## 4

## Девушка у борта

Девушка стояла у борта и смотрела на город. Сзади казалась подростком, с черными волосами, горящими глянцем.

Сергей вспомнил, будто видел ее в толпе, и будто не ее видел, а только глаза. По глазам догадался, что это была она. Горела в них лихорадка и невысыхающие слезы. Потом она скрылась — глаза потонули в толпе. Долго искал ее бессознательно, в грусти и усталости.

И когда опять увидел ее у перил на борту, подошел к ней, молчаливый, и вместе с нею смотрел на город. Ничего: в молчании бывают незабываемые минуты внутреннего общения.

Маковое поле блекло на набережной. Когда ветер ползает по макам — не выносят ветра маки. Играет кошкой ветер с лепестками — боятся лепестки щекотки. Отрываются они без боли и, умирая, смеются вместе с ветром. Блекнет и пустеет набережная от нарядов. Город от гор трубит в море каменным жаром. И улицы, пепельно-голубые, в волнах прозрачной зелени, воздушно взлетают в горы трубами завода.

Животной жизнью дышит зеленая морская зыбь и глотает небеса в синих и огненных облаках. Густыми потоками потоки льются в бездну далеко у набережных расплавленные дворцы и горы в изломанных струях. И горы, и город, и море дрожат и ручьются маревом в опале и дыме, в знойной окалине дня.

Чувствует ли это девушка у борта?

Это чувствовал Сергей и спрашивал девушку взглядом. Где он видел эту девушку раньше?—Нигде. А может быть, видел во сне.

Она взглянула на него мельком, но пристально. Тревожный вопрос полным сосудом колыхнулся в глубине ее глаз. Было это или нет?—увидел улыбку Сергей.

Не глядя на него, она сказала будто не ему, а себе:

— Вот ждала я... как все... Ехала и ждала... И вот теперь... все это переживала... Как вы умеете мучить!.. Мучить и потрясать радостью... Именно: и то и другое одновременно... в одном движении, в одном ударе... Вы—страшные люди, коммунисты... Вы ли—из кошмара, или мы только жили во сне?

Сергей подвинулся к ней на шаг. Протянул руку по парапету.

— Зачем же—кошмар? Это—проще и глубже,—мы—люди беспощадного действия, и наши мысли и чувства—это то, что называется необходимостью и непререкаемой правдой истории... Мы—слишком простые и искренние люди и—только. За это вы нас и ненавидите.

Девушка метнулась к нему испуганными глазами, и полный сосуд всколыхнулся в их глубине.

— О нет... Тут—страшный зверь и величие творчества... в одном... Почему?... Среди вас так много высоких подвижников, но как много злодеев и людоедов...

— Пусть—так. Но мы идем в века. О нас забудут как о злодеях, но будут знать и помнить как творцов и героев. Бессмертие—это муки и кровь.

Помолчали. Девушка смотрела на волны. Потом сказала тихо:

— Я слишком много страдала... Вы это знаете... Я научилась прощать вплоть до оправдания...

— Мы тоже прощаем. Вы испытали это на себе... Мы как боремся, так и прощаем беспощадно.

Смятение, страх, восторг водновались в глубине ее глаз. Протянула руку Сергею. Рука была маленькая и дрожала.

— Помогите мне понять и полюбить вас. Вы не откажете мне в переписке с вами? Вы не откажете?

Сергей отодвинулся от нее отчужденно и холодно.

— Я ничем не могу помочь вам: поможет только упорная работа. Надо переключить себя на новые токи и добиться того, чтобы стать в новые отношения к миру. Вот сойдете на берег и, может быть, родитесь заново в жизнь...

Она прижалась к перилам, убитая его словами.

— Ах, родиться во второй раз так же страшно, как и умереть...

Он ничего не ответил ей, отвернулся и пошел навстречу толпе.

## 5

### Корабль его величества в плену

Поля, пылающая восторгом, шла впереди толпы. За ней гурьбою матросы, за матросами — орава казаков и солдат в гуле и топоте.

Баня и дурманный пот. Душно. Палуба полыхает жаром и гарью. От солнца готова вспыхнуть огнем и дымом. Буча и бунт. Жидкий и Глеб взлетают над толпой и падают на густые пучки растопыренных рук. И когда взлетают — вздох вместе с грохотом в трюме.

— ...рра-а... рра-а...

Англичанин в позументе гавкал перед Чибисом. Трубка прыгала в руке и хотела расколоться. Чибис стоял в металле желтой кожи и бесстрастно смотрел на него сквозь сетку в лице. Потом сорвал кожаный картуз и взмахнул перед капитаном. Но попрежнему стоял неподвижно, только губы двигались роговыми пластинками. Капитан вздрогнул и трупно застыл.

Большевики — хозяева на корабле его величества. Это стадо бродяг, изъеденное вшами и голодом, — грозная сила, которая может в одно мгновение взорвать его корабль и проглотить его волю и железный порядок. Он — пленник и жалкая пылинка в знойном и бешеном вихре.

Поля вскочила на ящик. Сдернула с головы алую шляпку, и волосы рассыпались золотом. Взмахнула руками как крыльями, а лицо было как у одержимой.

— Да здравствует всемирная пролетарская революция!.. Долой буржуазную Англию!..

— ...ррра... рра...

Молоденький офицерик кричал, надрывался и хлопал в ладоши.

Капитан дрожал в ознобе и хрипел потухшей трубкой.

Чибис махнул картузом и зашагал к парапету.

— Товарищи, — к трапу!..

И толпа сразу умолкла, осела, повяла в тревожном вопросе. Только красная тряпка с темными корками крови вспыхивала над головами.

Девушка смотрела на Сергея сквозь улыбку и слезы.

Глеб махал шлемом толпе и матросам, а Поля — алой повязкой.

В утробе парохода грохотало и лязгало железо, и палуба пылала пожаром.

## XV

# НАКИПЬ

## 1

### Будни

Все лето не было дождей, и небо над заливом было ржавое, а море за молами мрело блистающими миражами. В этих миражах таяли парусники, фелюги и дальние песчаные отмели — сгорали в знойных струях и вихрях. У берегов море было зеленое и прозрачное — в зыби, в небесных шматках, в нефтяном перламутре, в цветах медуз и в водорослях, насыщенных кровью. Плыли на город и горные сбросы тихие бризы в запахах моллюсков и сероводорода. И уже не было горизонта: и море и небо плавилось в один воздушный океан. А горы дымились жаром и в ущельях жирно клубились зелеными отеками лесов. Склоны и ребра мерцали железом и серой в сиреневой мгле и в море уже не отражались: целые дни у берегов, по всему размаху полукружия, барахтались и кувыркались в воде густым засевом люди и ползали по массивам каботажей, по скалам и прибрежной россыпи гальки и раковин.

Город нестерпимо пылал камнями и железом, мостовыми и пылью площадей, и люди задыхались от солнца и каменной гари и слепли от блеска тротуаров, стен и горящего воздуха. А на бульварах, в тени, сохло во рту, и обжигал лицо суховей, и листья акадий пахли горячей прелью. Улицы были пустынные и дрожали зеркальной далью; казалось, что люди бежали из этого адава пекла, и жизнь остановилась в своих делах и безделье. И только там и тут медленно шагали полуголые, обожженные тени с портфелями, и, пьяные, с мутными глазами

и банными лицами, изнуренно боролись с тяжестью собственных ног.

Магазины нарядно играли витринами, и кафе рокотали из зияющих дверей глухим многоголосьем, дикадным цоканьем игральных костей и нежно пели призрачными скрипками и вздохами рояля.

Впервые в эти дни в столовой нарпита, в Доме Советов, запахло мясным борщом, помидорной подливкой и зеленью. Но застарелый запах шпрантели еще нудно и тошнотно ползал по столам, по стенам, по посуде и отравлял аромат мяса и жареного картофеля с луком.

В час обеда в столовой Дома Советов встречались все ответработники — вся городская головка. Сидели за столами группами, по-двое, целыми ворохами, а всех вместе грудилось в зале до сотни. И в обеденных испарениях комната барабанила и рычала крикливой ералашью, звоном тарелок и ножей, и раскрытые окна горели уличным солнцем, а воздух угарно синел пылью и табачным дымом.

Бадьин обедал всегда за одним столом со Шраммом и завздравотделом, тучным доктором Суксиним (за глаза его обидно звали—Сукинсын), всегда молчаливым, всегда робким и испуганным, всегда потным, глухим и рассеянным. Обрюзглый, никогда не бритый, с конской щетиной на черепе, он растерянно смотрел в глаза Бадьину и никогда не понимал, что говорил предисполком, что говорили собеседники, всем услужливо поддакивал не горлом, а чревом:

— До-о... До-до-о...

А гажело ему было говорить потому, что язык у него был непомерно велик: он не умещался во рту и при разговоре выползал, как слизняк. Суксин не мог совладать со словами: они вязли во рту и слюняво хлопали вместе с языком и подвывали от бессилия выскользнуть наружу.

Часто садился вместе с ними продкомиссар Хапко, похожий на деревенского кулачка — выпуклый, по-воробьиному прыткий и пристальный. Он ел долго — дольше всех: некогда было — все смотрел по сторонам, строго и подозрительно, следил за всеми, кто как ест, часто вскакивал из-за стола и совал нос в кухню, в посудную, к соседям, которые пообедали нечистоплотно,

к советским барышням, которые играли с кавалерами крошками хлеба.

Голос его был с трещинкой, и он визжал, как нож на точиле.

В кухне:

— А ну, вира... Кто тут старшой?.. Давай завкухней... Почему малые порции?.. Воруете, сволочи... Я вас живо скручу в бичеву... Майна!.. Завтра же потребую ревизии эркан... Вира!..

В зале, у столов:

— Майна, товарищи!.. По-вашему продком—для того, чтобы вы задарма по столу и по полу хлеб кидали вразброс?.. Вира, товарищи: подкуем живо с припарком... А ну, барышнешки, шасть: здесь не шантан, и нема отдельных кабинетов... Ползи, подбирай эти самые шарики, которые от хлеба, и которые вы флиртом побросали вон в тех лоботрясов... Ключ!.. Откуда? из какого отдела? Хорошо, я потребую вас на сокращение штатов... Эту, товарищи, интеллигентскую тактику припрятче подальше, в исподники: при диктатуре пролетариата с ней далеко не ускачешь...

И в столовой, как он только появлялся, вспыхивали ссоры и крикливый базарный скандал.

За ужином их не было в зале, а собирались они в комнате Шрамма (а комната Шрамма была в коврах, шкурах и мягкой мебели). Иногда они засиживались до рассвета, а что они делали в комнате Шрамма—никто не знал, только по утрам уборщицы Дома Советов видели бутылки под столом, выметали шкурки от колбас и коробки от консервов, и утренний воздух комнаты смердил окурками и дрожжами.

И вот однажды несколько вечеров под ряд стал дежурить у дверей комнаты Шрамма человек азиатского облика, с выпученными красными белками и крючковатым носом. Это—Цхеладзе. Был он когда-то в зеленых, храбро партизанил два года, а теперь затерялся в штатах Продкома. Босой, в зашарпанной гимнастерке времен партизанства, он терпеливо и молча стоял у двери, в упор смотрел свирепыми белками в щель между косяком и дверью и часами слушал спрятанные внутри голоса. Глубоко, за стеной, брякали шаги, и Цхеладзе поворачивал горбатые лопатки к двери и отходил в сторону. А когда отворялась дверь, и кто-нибудь из четырех выходил в уборную

с размякшими глазами, Цхеладзе зыркал в распах двери, в нутро комнаты, и ловил голодными белками тайну уютного Шраммова гнезда. Его не замечали — проходили мимо и не догадывались, почему из вечера в вечер стоит здесь этот горбатый, в лопатках грузин. Разве мало людей в коридоре Дома Советов? Разве Цхеладзе чем-нибудь отличается от других обычных людей, которые толкаются в Доме Советов?

А открыл и поймал его около двери продкомиссар Хапко.

Цхеладзе не успел отойти от дверей (у Хапко — воробьиная походка). Носом к носу столкнулся с Хапко.

— Майна?..

И кругляшом прокатился по нем с головы до ног.

— Вира-а?.. Ты что здесь, чортова морда? шпионишь?..  
Подавай твой партийный билет... Майна!..

Цхеладзе брызнул кровью, забунтовался, и белки его злобно выползли из век. Он еще больше изломался в спине и оскалил зубы.

— Какой-такой майна? Зачем твая вира?.. Ты шьто длаишь?.. Шьто за палытыка строишь?.. Скажи пажалста...

Хапко петухом вцепился ему в гимнастерку и юрко заработал руками. Цхеладзе запутался в собственных штанах — крутым поворотом шарахнулся в бок и ударился головою и грудью о стену.

— Вира!.. Это тебе — не царский режим, сволочь поганая!.. Кинтошка!.. Я, брат, тебя за эти проделки, сукина сына, завтра же из партии вышвырну... Я, брат, тебе, кинтошка, не позволю контр-революцию разводить при диктатуре пролетариата... Майна!..

Пришитый к стене, с растопыренными руками, оглушенный, Цхеладзе с свирепой растерянностью смотрел на Хапко, хрипло дышал и не мог поставить на место налитых кровью белков — они у него прыгали между носом и скулами и надувались как пузыри.

Из комнаты вышел Бадьин и грузным шагом, с руками в карманах, подошел вплотную к Цхеладзе.

— В чем дело?

— Шпик, сукин сын... Вира!.. Это тебе — не меньшевицкая Грузия... Арестовать его на этом самом месте и отправить в Чеку... Для того тебе, чортова морда, существует Советская



власть, чтобы ты разводил тут сыск на советских ответственных работников, которые работают неограниченное время и которые не спят ночей... Бери у него, predisполком, партбилет и дай ему в зубы... Вира!..

Бадьин в упор смотрел на Цхеладзе черными ночными орбитами.

— Я тебя достаточно знаю, Цхеладзе. Хапко лжет. Он выпил спирту и спьяну слурел.

Хапко, пораженный, пискнул по-птичьи, захлебнулся и шлепнул себя по черепу ладонью.

— Майна!.. predisполком!.. Алыр!..

— Говори, Цхеладзе. Я заранее знаю, что ты хочешь сказать. Говори прямо — честно и твердо.

У Цхеладзе задрожали губы, и лицо облилось потом от натуги и страдания.

— Да, я хадыл... хадыл и слушил, да!.. Хадыл, слэдыл, как ты рабочий палытыка строишь... Шьто дэлаишь?.. Зачем свольчь разводишь?.. Как ты рабочего чалавэка чюишь?.. Ты шьто знаишь?.. Голод знаишь?.. Кровь знаишь?.. Разруху знаишь?.. Пачиму пазор нэ ймеишь?.. Эх, таварць!..

Бадьин истуканом стоял перед Цхеладзе и слушал его внимательно и строго. Хапко смеялся пискливо, пьяно, со свистом. Бадьин положил руку на плечо Цхеладзе и сказал не голосом, а всем нутром:

— Товарищ Цхеладзе, иди домой. Завтра ты получишь командировку в дом отдыха. Тебе надо немного подбодриться. Ты видишь: я не делаю секрета из своих поступков, и тебе нет надобности устраивать наблюдение за товарищами. На этот счет у нас дело поставлено превосходно, и кустарничать здесь нечего. Иди!

Он отвернулся и пошел от него в комнату Шрамма. А Хапко еще раз по-хозяйски строго оглядел его с ног до головы и, в подражание Бадьину, ткнул руки в карманы тужурки, и от этого стал еще короче и круглее.

— Вира!.. Ничего, брат, я тебя скоро возьму на абордаж... Майна!..

Разбитый и сутулый, Цхеладзе пошел по коридору неустойчивой поступью, как больной, шоркая плечами по штукатурке.

Около двери Жидкого он остановился. Не заметил, сам ли отворил дверь, или она была открыта, — почувствовал только, как чья-то рука подхватила его под мышку и втащила в комнату. Он остановился у порога и увидел, как лампочка над столом погасла за мутной тенью. Она молча прошла мимо него, и лампочка опять вспыхнула и осветила грязную пустоту маленького гостиничного номера в пятнах сырости и плесени.

— Ну, иди, посиди немножко. Расскажи, что там такое случилось. Какая это тебя нелегкая занесла сюда в полночь?

Жидкий опять взял его под руку и провел к столу, усадил на табуретку, а сам не сел — стал перед ним, немного изумленный, с бледными ноздрями и вздрагивающими бровями от скрытой усмешки. Цхеладзе взглянул на него с мольбой и злобой в зрачках. Вдохнул, и белки его залились слезами. От слабого электрического света ямины на щеках, под скулами, проваливались черными пробоинами, как у черепа. Он в бешенстве ударил кулаком по коленке, встал и пристально, сквозь слезы, опять взглянул на Жидкого в злобном отчаянии и опять сел.

— Таваршь Жидкий... Стрэлят нада... савсэм стрэлят, таваршь Жидкий... Мэнэ стрэлят, тэбэ стрэлят... Скажи минэ, какой абарот жизни?.. Скажи минэ, как нам дэлат рабочий дэла?.. Я кровь лыл — дэсят ран был... А гдэ мая кровь? гдэ голод? гдэ разруха? Гдэ партыя, таваршь Жидкий? Какой аны дэла дэлают? штыо дэлают? Пазор дэлают, сволычь дэлают... Стрэлай минэ, таваршь Жидкий... Нэ магу тэрпэт такой граз и подлыст... нэ магу тэрпэт...

Жидкий молча прошелся мимо Цхеладзе, встревоженный, с похуевшим лицом и с глазами, немного утомленными от мысли. Раз за разом он вскидывал руку на голову и нервно ерошил волосы на затылке. Вплотную подошел к Цхеладзе и положил ему руку на плечо: хотел душевно, без слов успокоить его, но ласки своей выразить не мог, и от этой своей непривычной нежности смущенно и стыдливо засмеялся.

— Чудак ты, Цхеладзе!.. Чего ты реवेशь из-за пустяков? Ну, и чорт с ними... Делай свое дело и знай, что ты для Республики дороже, чем все они вместе взятые. Плюнь на них,

если ты не можешь взять их сам за грудки, или бей их по линии партии, не щадя сил...

Цхеладзе опять с отчаянием и мольбою посмотрел на Жидкого, отмахнулся и уронил голову на руки.

Жидкий заходил по комвате и уже не смотрел на Цхеладзе. Думал и грыз ногти то на одной, то на другой руке.

— Тут — иное, Цхеладзе: это — не твое. Твое — это слишком мелко... Тут — страшный водоворот. Надвигается еще более ужасная страда, чем гражданская война, разруха, голод, блокада... Перед нами — враг скрытый, который бьет не винтовкой, а всеми прелестями и соблазнами капиталистического торгашества. В наших руках — вся система народного хозяйства. Это — все. Но выползает из утробы обыватель. Он начинает жиреть и перевоплощаться в разные формы. Он уже свивает себе гнездо и в наших рядах и надежно баррикадируется революционной фразой и всякими красными атрибутами большевизма. Базар, кафе, витрины, сладкий кусок, уютная обстановка, алкоголь... Люди после боевой обстановки срываются с цепи... Тут есть от чего притти в оторопь... Тут — паника, надрыв, бунт... И не от усталости — нет: от здорового революционного протеста, от слишком развитого классового инстинкта, от боевой романтики. И тут как раз старые методы борьбы — уже не оружие. Враг — подлый, хитрый и неуловимый. Нужно выковать новые средства для новой стратегии. Тут простым возмущением и бунтом не возьмешь: это — уже реакция и истерика. Тут надо перешерстить себя до нутра, перекалить, перековать в себе большевика для длительного осадного положения. Романтика бурных фронтов умерла. Теперь не нужно романтики: теперь нужны только спокойные, холодные, изворотливые дельцы, упрямые поденщики с крепкими зубами, с бычьими мускулами и здоровыми нервами. Надо быть большевиком до конца, Цхеладзе. Успокойся, товарищ, и давай вместе подумаем над многими вопросами, которые требуют большой мозговой работы...

Цхеладзе смотрел на него выпуклыми красными белками, напряженно слушал, и низкий лоб его морщился толстыми потными складками под напозающими конскими вихрами. И все силился осмыслить, пересыпать в себя слова Жидкого, перемолоть их и насытить свою кровью.

Он в отчаянии рванул себя за мокрые вихры и закрутил башкой.

— Н-ны-как нэ панымаю... Ты што трэбуху разводишь?.. У минэ душа прастой и слава прастой... Скажи: зачем голову морочишь?.. Как ты минэ отвечаешь — страдал я, да? был зэлоный партызан, да? бэлогвардейцев бил, да? слово свое, кровь свой рабочий имэю, да? А гдэ мая кровь, а?.. Сабакн скушали... Скажишь, нэт, да?.. Савсэм чалавэк падлац пришел... Панымайшь?.. Ничао нэт... Шябашь!..

Он встал и быстро вышел из комнаты, и Жидкий слышал, как в горле у него курлыкнули слезы.

Жидкий долго прислушивался к шагам Цхеладзе и опять заходил по комнате, не переставая грызть ногти то на одной, то на другой руке.

... Не мог изжить того, что было. А было такое по внешнему ходу событий, что бывало и раньше. И в прошлом налетали товарищи из Краевого Бюро ЦК, и в прошлом была суровая критика работы Партийного Комитета. Это — естественно и необходимо. Неизменно, как раньше — сосредоточенное молчание и почтительная настороженность ответработников к холодному и официальному товарищу из краевого центра, и так же неизменно бездушно начинался ритуал заседания:

— Дорогие товарищи!..

Но то, что совершилось недавно под шаблонной формой делового приличия, было так неожиданно и больно.

Пресловутое дело об ущемлении... О нем говорилось меньше всего... Каждое заседание в присутствии белобрысого интеллигента из Краевого Бюро было взрывами склоки между ним (тут и Лухава) и Бадьиним. Уничтожающая критика белобрысым товарищем работы Парткома... Краевая КК.. Намеки о переводе на низовую работу...

Простая тут склока или борьба разных сил? Товарищу из Бюро ЦК назвал это склокой, и все называют склокой. Так просто. И все по своим углам следят за исходом этой борьбы. Сплетничают: Сами разделяются на враждебные лагеря.

Уйти из этой борьбы побежденным, когда знаешь, что правда — за тобою, — это слишком тяжело; этого нельзя допустить, потому что это — конец. Раз сорвался — будешь раздавлен.

Борьба — до конца, неустанная, настойчивая, пристальная, где нужно пользоваться всяким оружием, где нужно использовать все промахи и слабые стороны противника. Бадьин бьет умело: он в совершенстве пользуется бюрократическим аппаратом, административным опытом и собственным нюхом. Его надо ловить с другой стороны. Не всегда можно быть сильным, опираясь на живые массы. Массы — палка о двух концах: можно быть и вождем масс, а можно превратиться в жертву, в раба и демагога. Он, Жидкий, — близок к массам, а Бадьин — над массами, оторван от масс. А товарищ из Бюро ЦК все-таки ставил Жидкому в пример Бадьина. Этих слов не забыть никогда.

— Вы — еще сравнительно молодой член партии: у вас нет необходимой крепкой выдержки, нет отчетливого понимания момента, нет продуманного подхода к делу, и потому вы срываетесь на головоутиаство. Товарищ Бадьин прошел огромную школу партийной и советской работы, и вы многому могли бы у него поучиться. Почему вы не сумели контактировать своих действий и дать правильный анализ объективной обстановки и форсировали события, которые должны были принять другое направление и иные формы? Все это я говорю потому, что Бюро ЦК все-таки ценит вас как способного работника и знает вашу преданность партии...

Все-таки... Этот белобрысый интеллигент взял на себя слишком ответственную роль, чтобы от имени партии быть его ментором. Все эти залетные орлы не так страшны и не так значительны, как они кажутся на местах.

Ясно одно: романтики нет... романтика умерла, она — в прошлом. Торжественное революционное действо отошло в историю, и потрясающие гимны замолкли. Не действо, а — действие. Надо переключить себя на иные токи, чтобы уметь всякий факт сделать послушным и верным оружием в повседневной борьбе.

Он, Жидкий, знал, что делалось в комнате Шрамма, знал, почему комната Шрамма — в коврах и мягкой мебели, знал, что Шрамм не видел мошенничества в Райлесе, — знал это Жидкий, но не бил тревоги, чтобы не вносить дезорганизации в партийную работу. Он выжидал удобного случая, чтобы

нанести быстрый и меткий удар. Романтики — нет: романтика, это — вчера. А сегодня — холодная расчетливость.

Почему бы сегодня не разворошить всю грязь обывательских будней, которые скрывались за дверью комнаты Шрамма? Почему бы не раскопать всех ордеров на колбасу, окорока и консервы и на спирт из Здраводела?

Он вышел в коридор, кусая ногти, и побрел в ночную глупину, где мутным отблеском на стене молчала открытая комната Чибиса.

## 2

## Трудный переход

Глеб добился включения в повестку дня Экоса доклада о необходимости частичного пуска завода. Лабазы — пустые. Есть клепка на сто тысяч бочек. Можно было немедленно двинуть в ход перемол клинкера и пережиг цемента в одной из печей. Готовый камень лежит отвалами в тысячах кубов на каменоломнях. Надо только тронуть другую магистраль бремсберга. Первая магистраль пусть работает по доставке дров.

Доклад делал сам Глеб в присутствии инженера Клейста, как эксперта. Шрамм холодно и тускло возражал: опять говорил о твердом производственном плане, о твердо сколоченном аппарате, о Промбюро, о Главцементе. Бадьин сидел в обычной позе, опираясь на стол черной кожей, молчал и смотрел исподлобья на Глеба, на Шрамма, на инженера Клейста, и нельзя было понять, какую линию ведет он в этом вопросе: на стороне ли он Глеба, или на стороне Шрамма. Жидкий и Лухава кратко и решительно высказались за принятие доклада и предложили резолюцию: безоговорочно приступить к подготовительным работам по восстановлению производства.

Бадьин откинулся на спинку кресла и впервые улыбнулся Глебу коротким дружеским взглядом.

— Других предложений нет. А резолюцию товарища Лухавы голосовать не будем: против нее нет возражений.

Шрамм, нечеловечески напряженный, как восковая фигура, упрямо промышал чревоушателем:

-- Я возражаю категорически и неуклонно.

— Резолюция принята, и товарищ Шрамм по существу не возражает.

— Да, я возражаю.

Бадбин не взглянул на Шрамма и улыбнулся глазами Глебу.

— Товарищ Шрамм не возражает. В условиях новой экономической политики производительные силы нашей Республики говорят о своем возрождении и росте. Вопрос о пуске завода становится вопросом актуальным. Мы приступили к напряженному хозяйственному строительству. Продукция завода даже при настоящем уровне производительности труда дает возможность удовлетворить строительные нужды больших городов и промышленных районов. Вопрос решенный. Он требует только детальной разработки. А сейчас по этому вопросу хочет сказать товарищ Чибис.

Сквозь прищуренные ресницы Чибис смотрел на Шрамма из темного угла за столом и томился в дремоте и скуке.

— Вот. Я тоже говорю, что Шрамм не возражает. Шрамм не может возражать, и если кажется, что он возражает, то не верьте своим ушам. Шрамма уже нет: Шрамм — анахронизм.

И опять застыл в слепой скуке и усталости.

Глеб увидел, как рыхло дрогнуло и постарело бабье лицо Шрамма, и глаза налились мутью и страхом.

Продкомиссар Ханко оглядел всех строгим хозяйским глазом и шлепнул ладонью по столу.

— Вира... Держись, Продком!.. теперь сдерут последние штаны. А через месяц пойдем с дубинкой на смычку с деревней: давай продналог, чортов куркуль!.. Это тебе не 18-й год: это майна на смычку и шиш...

Его никто не слышал: привыкли не слушать. Свои шутки, с сердитым оглядом, он говорил для всех, а слушал и думал над ними только сам.

Лухава нервно продрался к столу и, обжигаясь словами, внес предложение:

— Командировать товарища Чумалова в Промбюро для скорейшего проведения решения Экоса и добиться усиленных нарядов непосредственно для нужд завода.

И опять нервно и быстро отошел на свое место у стены. Сел на стул с ногами и уткнул подбородок в коленки.

Глеб подошел к инженеру Клейсту, взял его под руку и засмеялся:

— Еду, как дважды — два... Эх, и подниму же я, к чортовой матери, бучу там, в Промбюро!.. Пошли, товарищ технорук... Это, товарищи, — не технорук, а золото... замечательный спец Социалистической Советской Республики... Знай наших!..

А через день Глеб уехал в Промбюро, а возвратиться обещал через неделю.

На заводе шли работы по ремонту корпусов, рельсовых путей, машин и механизмов внутри разных отделений. С утра до четырех часов знойный воздух между заводом и горами, дрожащий в волнах марева, горячо насыщенный дикадами, пылью и зеленью, грохотал металлом, хрипел токарными станками и вагонетками и низкой струной пел под окнами электро-механического корпуса.

А бремсберг по доставке дров не переставая, изо дня в день громыхал вагонетками, и стальные канаты попрежнему играли флейтами на ролах. На набережной гремели вагоны, кричали кукушки, и выстрелом бухали в пустые короба дрючки и поленья.

В голубой, сверкающей гавани стояли в непонятном ожидании одинокие унылые парходы.

Даша пропадала в женотделе, на собраниях, в командировках. Лизавета каждую неделю сбивала баб в клубном зрительном зале, и в открытые окна до полуночи буянила бабья горластая ералашь и будоражила тишину задумчивых зорь и горных лесных ущелий.

И когда в потемках расходились по домам, еще продолжали горланить, и крики их были похожи на прежние ссоры из-за кур, из-за яиц, из-за домашних порух. А прислушаться — не было ссор в их горлане, а только в возбуждении выносили на улицу, в вечернюю тишину, свою клубную бабью дискуссию.

— Лизавета — неправильно... она неправильно...

— Не брешы же, Малашка... она, Лизавета, — правильно... Мы все, бабы, одинакие сволочи...

— Коли все сволочи, дак я ж не хочу быть сволочью... Я вот возьму и обрежу волосья... Бабьи косы, милые товарки,



для бабы — аркан: косы для мужичьей хватки, а для бабы — несчастная доля.

— Ничего подобного... Да будь я трижды проклята, коли я буду на поводу у гулящей бабы... И икон не сниму, и назло ей буду шастать до церкви... У Лизаветы дом — чужая кровать, а святая церква — коммунская шайка...

— Ну, да! Поглядите, что стало из хлопцев, а девчата — как суки — косо-мол... Раньше было боязно греха и людей, а сей-день — косо-мол.

— А вы — чортовы дуры... Мало вас уткожат ваши бородастые кобели...

— От дуры слышать... А сдуреешь сейчас ненароком в два счета... Сдуреешь и поднимешь подол, коли бросишь детей, и мужа, и угол...

— Ну, да... Потому нет и заботы до рабочего люда — понатыкали всяких магазинов, кафе, а бабу пустили по ветру... Подыхай, как хатишь, паскудной лахудрой...

И так каждую неделю: была ли на собраниях в головке Лизавета с Домахой, приходила ли им на подмогу Даша.

Через ячейку и клуб сколотили две группы по ликвидации неграмотности, и когда открыли занятия — за столами оказались только одни бабы. Своей речью Даша ударила баб в самое сердце: знай, бабы: вы забили мужиков и здорово доказали свою пролетарскую сознательность... И бабы кричали и хлопали ладошками в девчатыем веселье и были похожи на галок.

Каждый день, утром и вечером, заходила Даша в детдом имени Крупской, чтобы поласкать Нюрку, и видела день ото дня — тает Нюрка, как свечка. Стала Нюрка костяшка, и кожа на личике пожелтела и покоробилась, будто у дряхлой старушки. Смотрела на нее Нюрка из черняков опечаленными бездонными глазенками, и чуяла Даша: увидели эти глазенки что-то большое и невыразимое, и стали маленькими для нее и далекими и солнцу и небу. Теперь уже больше молчала Нюрка и думала и лицом и глазами, и была равнодушна, когда расставалась с ней Даша.

И Даша впервые за этот год переживала непереносную боль, но боль эту глубоко хоронила в душе. Никто не заметил в ней

этой боли, и только товарищ Мехова взглянула однажды на нее от своего стола и вдруг задержалась на ней внимательным, потревоженным взглядом.

— Что с тобой, Даша? У тебя есть какая-то заноза...

— Вот так... Откуда ж тебе втемяшилась такая фантазия, товарищ Мехова?

Поля смолчала и пристально ощупала Дашу усталыми глазами в длинных ресницах. И в этих глазах Даша увидела что-то похожее на опечаленные глаза Нюрки.

— Я не знала, Даша, что ты способна притворяться и лгать.

— Ну, пускай, есть заноза, товарищ Мехова. Зачем тебе знать, какая у меня заноза? Это никого не касается.

— Да, вот это самое, Даша. Мы крепко организованы и плотно спаяны, но страшно чужды друг другу в своих личных жизнях, и нам нет дела до того, чем живет и дышит каждый из нас. Вот именно... в этом и ужас. Впрочем, ты ведь не любишь, когда говорят об этом...

И замолчали, отчужденные, замкнутые в себе.

Тает Нюрка, как свечка — единственная, родная Нюрка, и никто не может сказать, почему тает Нюрка. Зачем доктора, коли они не в силах сказать ясного слова, коли они не властны вырвать ту немочь, которая точит ребенка? Ведь ей, крошке, нужна такая малая помощь от взрослого. Это — правда: не в докторов дело. Она, Даша, знает лучше всех докторов в мире, почему Нюрка гаснет, как звездочка утром. Не только молоко матери нужно малютке: малютка питается сердцем и нежностью матери. Коченеет и блекнет малютка, коли не дышит мать на ее головку, не греет ее своей кровью и не насыщает ее постельку своей душой и запахом. Малютка — цветок на весенней яблоне: Нюрка сорвана с ветки и брошена на дорогу.

Вина только на ней, на Даше, и этой вины не изжить никогда. И не в ее доброй воле была эта вина, а шла откуда-то извне, от жизни, от той силы, во власти которой находилась она сама, и назвать которую удачливым словом не могла. А слова — революция, борьба, работа, партия — звучали как пустой боченок, но вот самое главное в этих словах — необъятное, неотвратимое, что она несла в себе, — это было все, где не было смерти, где сама она была невидимой пылинкой.

Было одно: Нюрка гаснет, Нюрка тухнет, как искра. Была Нюрка и — не будет Нюрки. Трепыхала она когда-то ножонками на ее руках, у груди, ползала, училась ходить и балаболить словами. Ходила и играла. Росла. Было: не могла переступить через Нюрку, когда смерть стучала зубами. И еще было: Нюрка растворилась в ее крови вместе с прошлым, и когда она — Даша — шла под петлю, не думала о Нюрке, и Нюрка была далеким призраком в последние миги.

А вот сейчас увидела Нюрку живую, с лицом дряхлой старушки и с бездонными глазами, опечаленными смертью — опять, как давно, в боли своей не может перешагнуть через ее труп. И видела: Нюрка, это — жертва ее жизни, и жертва эта — невыносима для сердца.

И такой разговор был у ней с Нюркой в один утренний час:  
— Нюрочка, тебе больно, дочка, да?

Нюрка покачала головой: нет.

— А что тебе нужно, скажи?

— Ничего мне не нужно.

— Может, папу хочешь повидать?

— Я хочу винограду, мамочка.

— Еще рано, голубка, — виноград не поспел.

— Я хочу с тобой, чтоб ты никогда не уходила и чтобы — близко... и винограду... и тебя и винограду...

Она сидела на коленях у Даши и, вся тепленькая, растворялась в ее, Дашиной, теплоте.

И когда Даша положила ее на постельку, Нюрка долго глядела на нее глубокими глазами, сосредоточенная в себе, и сказала на молчаливый, слезный взгляд Даши:

— Мамочка!.. мамочка!..

— Что, дочечка?..

— Так... мамочка... мамочка...

Вышла Даша из детдома и не пошагала, как обычно, вниз, на шоссе, в женотдел, а нырнула в густые заросли кустов, легла на траву, где было одиноко и глухо, где пахло землей и зеленью, и ползало солнце горошинками, и долго плакала, разрывая пальцами перегной.

Один раз ночью, в отсутствие Глеба, приехал к ней на автомобиле Бадьин. Услышала, как фырчит за окном мотор,

вышла из комнаты. Столкнулась грудь с грудью с ним на крылечке. Бадьин хотел тут же обнять ее, но она сурово оттолкнула его.

— Товарищ Бадьин, этого больше не будет никогда.

Бадьин опустил руки и стал тяжелым и рыхлым.

— Даша... Я хотел побыть наедине с тобою... Я ждал, что ты встретишь меня немножко теплее...

— Товарищ Бадьин, уезжай сейчас же и не барахоль понапрасну.

И ушла. Крепко притворила дверь и щелкнула запором.

## 3

## К о ш м а р

По утрам, когда Поля шла в женотдел, и когда после четырех возвращалась домой, она бежала по улицам ветрогоном. Широкими шагами отмахивала по тротуарам, по мостовой, по набережной, не смотрела по сторонам и не видела четко людей перед собою. Шли люди навстречу, шли рядом, позади и вдогонку, отражались в глазах размытыми тенями, и не лица она видела, а только ноги в ботах, босые, в обмотках и брюках, в подолах, в чуваках и в спущенных женских носочках,—много ног, мотыляющих вперед и назад, неутомимых и пыльных. Не смотрела по сторонам—смотрела только в ноги, в свои и чужие. Не могла поднять головы, чтобы твердо и спокойно взглянуть на витрины, на открытые двери, на людей, у которых был другой облик, чем раньше. Не смотрела, а видела: не такие уже женщины, как недавно, весной: зацвели наряды—шляпы в букетах, прозрачный батист, модные французские каблучки... И мужчины стали иные: манишки и галстучки и на ранту шевровые ботинки. И опять заструились запахи духов, и голоса зазвенели громко и радостно, по-птичьи. В кофейнях, в открытые двери, в сумраке, сизом от табачного дыма, толпились и барахтались призраки в глухом, далеком рокоте голосов, звенела посуда, звякали кости в азартной игре, и неизвестно откуда, из глубины табачной дыры, струились едва уловимые звуки струнного оркестра.

Откуда все это пришло? И почему пришло так быстро, нахально и жирно? Почему прошло все это через нее, Полю, и осело щемящей тоской и сумятицей в мыслях?

Было так: будто попала она в чужую страну и потерялась, и ушло из души что-то дорогое, невозвратимое, без чего нельзя жить. И еще — стыд, позор и неосознанный страх. Боялась — подойдет к ней кто-нибудь из рабочих или из этих вот оборванцев, изъеденных голодом, с гнойными глазами, и спросит в упор:

— Ну? Так вот до чего вы достукались? Вот чего вы хотели? Бей их, подлецов и обманщиков!..

И эта постоянная боязнь дурманила ей голову галлюцинациями.

Однажды в начале августа, на набережной, на рельсах и на угольной пыли каботаж, она увидела большую толпу оборванных, волосатых, трущобных людей. Грудой лежали, сидели, копошились вповалку. Мужики, бабы, детишки. Пищали, захлебывались, надрывались от плача грудные младенцы. Кто-то глухо стонал. Бабы искали вшей в головах друг у дружки, мужики — в рубашках и в очкурах штанов. И лица у всех — в водянке. У мужиков — особо — в овчине.

Прохожие деловые люди с любопытством и строгим изумлением останавливались и нюхали воздух.

— Это что такое? Голодающие?

А из пыльной, вонючей, рваной свалки сипло мычали:

— Бя-ада!.. Занес вот бог — се одно горе мыкать... Може, и оклемаемся, отудобим... С Волги... с голодающей земли... Бя-ада!..

И до самого Парткома Поля больно, до ужаса, несла в себе этот дрожащий сиплый голос, затерянный в стоне, в смердящих телах, этот жалобный писк грудного младенца.

— Бя-ада!..

И потом каждый день по улицам города бродили целыми семьями и в одиночку эти голодающие мужики с овчинными лицами, в дерюгах и лаптях, с детишками в руку и на руках, и пели слабыми, икающими голосами:

— ...а-айте олодающ... ратцы... Бя-ада!..

По ночам Поля спала в кошмарах, часами мучилась бессонницей, и в эти часы слышала то, что слышала днем, —

ясно, назойливо, мучительно: играл струнный оркестр, далекий и манищий, чакали игральные кости, и под окном, на улице, жалобно плакали тусклые голоса:

— Помогите... ратцы... Бя-ада!..

Она вскакивала с кровати, шлепала босыми ногами к окну, с бьющимся сердцем и сверлящей болью в голове, и смотрела в ночь. Тишина, пустой мрак и безлюдье. Прислушивалась и опять возвращалась в постельную духоту. Засыпала. Опять просыпалась от странных потрясающих толчков. И опять—далекие скрипки, щелканье костей, смех и надрывная мольба через писк грудных младенцев.

И вот в одну из этих знойных бессонных ночей случилось то, чего она ждала давно, как неизбежного.

Где-то по коридору распахнулась дверь, и сразу ахнула головами и хохотом, и эти голоса раскатились по коридору, зарокотали и поплыли далеко, переплетаясь в невнятных переключках.

Опять распахнулась дверь, грохнула взрывом, и голоса и шаги провалились в ночную тишину. Очень далеко певуче цыкали капли, и из тьмы струились призрачные скрипки. Поняла: это пели за окном унылые песни телефонные провода.

— ...ратцы милые... помогите... Бя-ада!..

Не заснуть.

... Песни рабочих масс, толпы в водоворотах и потоках, красные лица, красные знамена, красная гвардия в горящем ливне штыков... Товарищ Ленин на Красной Площади. Издали видно, как вспыхивают его зубы, как вытягивается подбородок и призывно выбрасывается рука с растопыренными пальцами, а под шапкой-ушаткой морщатся щеки и скулы. И кажется, что он смеется. И ничего не осталось в памяти, только эта призывная рука, белый оскал зубов и морщины на щеках. Как давно!.. Будто сон, будто образы раннего детства. Норд-ост подметает на улицах пыль... пыль и пепел... Почему раньше не было пыли, а теперь знойные дни и ночи задыхаются пеплом?..

В комнате Сергея тоже тишина, а в тишине—шелест бумаги. Иногда задумчивые шоркают шаги. Милый Сергей, он тоже не спит. Свою бессонницу он отмеряет прочитанными страницами.

Тихий стук в дверь, в какую — не поймешь.

— Ну? Кто это?

Голос Бадьина, и по голосу видно — улыбается.

— Полячок, ты спишь? Оденься и выйди на минутку: есть дело.

— Не могу, Бадьин. До завтра.

— Нельзя, Полячок. Поднимайся и выходи.

Голос лязгнул и упруго выпрямился. Щелкнул ролик, и дверь отворилась. Распахнулся мутный свет в пустоту коридора. Как? Почему так случилось, что она забыла этой ночью запечатать дверь? Мельком увидела, что Бадьин необычного вида: половина — белый, половина — черный.

— Ну, вот, так лучше. Ты слишком тяжела на подъем.

Он затворил дверь и щелкнул ключом. Стены опять потухли во мраке, и мрак стал бездонным. И вместе с мраком, сгущая мрак, сам — мрак, невыносимо тяжелой громадой шел к ней он, который должен был притти неизбежно.

И непонятно почему, через вытянутые в ужасе руки, она задохнулась шопотом:

— Что тебе надо, Бадьин?.. что тебе надо?..

И не успела опустить рук: страшной тяжестью он обрушился на кровать и придавил ее к подушке.

— Молчи, Полячок... молчи, молчи!..

Она задыхалась от его непереносно тяжелого тела, от пота и дурманного запаха спирта. Не боролась, раздавленная тьмою, — не могла бороться: зачем, когда это было неизбежно и неотвратимо?

Когда ушел Бадьин — не знала. Клубилась в искрах и стонала бездонная тьма. Где-то далеко выла большая толпа и необъятными размахами грохотал гром. Да, это норд-ост. Это — не дождь и не гром: это — норд-ост. Теперь небо — сухое и прозрачное, и звезды ярко и четко переливаются ослепительными пучками радуг.

Был Бадьин или не был? Может быть, это — обычный кошмар? Ведь кошмары — всегда реальны, как жизнь. Не потому ли они так страшны и потрясают душу? Был Бадьин или не был?

Она лежала неподвижно, вся голая и раздавленная. Рубашка смята в мокрый комок выше груди и смердила потом и еще каким-то тошнотным запахом, которого раньше не знала. И долго не могла почувствовать своего тела: будто есть только голова, а тела нет. Всюду — пустота и бесконечность: черная бездна.

И нет ее, а только — голова, и голова невесомо плавает в этой бездонной пучине. А там, во тьме и за тьмою,—потрясающий гром и рев бури. Так хорошо и спокойно, и нет ничего, и нет времени...

Шаги Сергея зашоркали к ее двери и остановились. Почему Сергей подошел к ее двери? Услышала Поля эти шаги — дрогнуло сердце, и тело вдруг наполнилось кровью и судорогой. В ногах, около живота—тупая боль. Бадвин... Да, его дверь — рядом, за изголовьем. Он был и ушел. И не было ужаса—не было ничего. А в глубине, около сердца, струною бьется, дрожит, завязывается и развязывается, плещется горячей струйкой и перехватывает горло жгучая тоска...

Зубы стучат и не могут схватиться друг за друга, и боль и ожоги в сердце, в челюстях, в горле...

— Ой!.. Ой!..

Она закорчилась на кровати, сползла на пол и вдруг онемела от смертельного страха. Опять густеет и падает на нее огромной тяжестью мрак. Вот он ползет, давит ее, как глыба, и впивается острыми когтями...

Теряя сознание, она, босая, в одной рубашке, выбежала в коридор. Схватила за ручку двери в комнату Сергея и забила, слепая от страха, и не могла оторвать глаз от раскрытой двери в свой номер.

— Сергей! Сергей! Скорее... пожалуйста!.. Сергей!..

Царапалась в дверь, ползла по ней и как сквозь сон чувствовала, что дверь дышит под нею и никак не может отвориться.

И когда она распахнулась, Поля обхватила шею Сергея и задыхнулась от рыданий, маленькая, беспомощная, с ребрышками ребенка.

Дрожали руки и ноги у Сергея, и билось сердце от потрясения. Он отвел ее на кровать и укрыл одеялом. Налил стакан воды, и зубы ее стучали о стекло, и вода струйками текла по подбородку.

— Это — мерзко, Сергей... это — страшно... Я не знаю, что произошло, но произошло что-то непоправимое, Сергей...

Он сел около нее на стул и мягко, робко поправлял ее подушку, одеялку и гладил ее руки, волосы и щеки.

— Ну, не надо... Успокойся, Поля... Я знаю... Если бы ты крикнула, я вышиб бы дверь и удушил его...



— Ты не знаешь, Сергей... ты не знаешь... С ним нельзя бороться... от него нельзя спастись...

— Не будем говорить, Поля. Выпей еще воды и засни. Я буду сидеть около тебя, а ты спи: тебе непременно надо заснуть. Это—норд-ост... Давно не было норд-оста... Завтра будет свежо и прохладно.

— Сергей... Сережа, ты такой близкий мне и родной... Я знала, что это случится, Сережа... и я не могла... Я не знаю, что будет, Сергей...

Он сидел около нее и дрожал внутренней неудержимой судорогой. И задрожал он впервые с того момента, как только услышал голос Бадьина. И тогда же почувствовал, что пол заколебался под ним, и с первым грохотом норд-оста все вещи покинули свои места и залетали как птицы.

— Я знала, Сережа, что это не пройдет даром... Ты видел эти лица, эти голоса?... Братцы, помогите... Бя-ада!.. И кости и скрипки в кафе... и витрины... революция, превращенная в торгашество... И это... Все это — одно, Сережа...

— Да, все это одно, Поля... Надо пережить эту страшную полосу... Мы должны пережить... должны пережить во что бы то ни стало...

Она уснула рука в руку с ним, а он сидел около нее, не шевелился и смотрел на нее пристально, с печальной любовью, до самого рассвета.

#### 4

### З а т о р

На заводе после отъезда Глеба шла ремонтная горячка. Еще не были вставлены разбитые стекла в окнах и крышах корпусов, и в бетонных стенах еще зияли дыры в обрывах ржавых железных прутьев, а внутри, в сумеречных чревах, под звездами электрических лампочек, стонало и барабанило эхо от молотов и сверл, от скрежета, звона и чавканья металла.

Работали все наличные рабочие силы—200 человек. Ремонт вращающейся печи требовал особого внимания. Нужно было произвести переклепку стальной обшивки и заново выложить внутри огнеупорный слой. Заново нужно было отлить

мелькие металлические части на дробилке, на мельнице, на самотасках, на сложных передаточных механизмах. Большая порча была в резервуарах для жидкого теста, где надо было делать новые вращающиеся мешалки и менять целые системы труб, причудливых цилиндрических решет и всяких переплетающихся, легких в линиях и рисунках, деревянных и металлических приспособлений. Меньше всего работ было в электро-механическом корпусе и в машинном отделении. Там был Брынза. Жил Брынза — жили и машины.

Люди, голубые от пыли, суетились, ползали около печей, прыгали по перешлетам, по кружевам перекладин, лестниц, парапетов, как пауки, крысами грызли в ямах и дырах затвердевшую грязь, винтили, резали, пилили железо и медь, опутывались тенетами проводов, орали, матерились, скалили зубы, харкали грязью и задыхались от пыли, от духоты, от внезапной бурной трудовой встряски.

На второй магистрали работа шла спокойней и тише. Меняли рельсы в разных местах, чинили виадуки и очищали пути от камней и щебня.

Завод попрежнему стоял в пыли и запустении, но уже всюду чувствовалось его дыхание и первая машинная дрожь. Уже в механических корпусах непрерывно и день и ночь пытели и рычали дизеля.

И каждый день строго и важно обходил все работы инженер Клейст во всем белом (и пиджак, и брюки, и шляпа), и впервые лицо его вздрагивало сдержанной улыбкой волнения. Так жеюлили около него старые техники и десятники, и так же небрежно отдавал он им приказания, дрыгая головой в такт своим словам. Но с рабочими был попрежнему сух, молчалив и проходил мимо равнодушно, отчужденно и слепо.

Глеб поехал на неделю, а пропадал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводу управление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в Совнархозе нельзя было добиться никакого толку. Опять— Промбюро, Главцемент, Госплан...

В заводууправлении чистоплотные спецы с инженером Клейстом были откровенны:

— Бросьте, Герман Германович, чудить. Завод не может быть пущен, точно вы не знаете. Для чего им собственно завод? Ведь смешно, Герман Германович... Предположим, что завод пущен, и продукция поступила на склады. Что же дальше? Рынок? Но его ведь нет. Раньше нашим цементом питался главным образом заграничный рынок. А теперь? Строительство? Но ведь строительства тоже нет и не может быть, потому что нет ни капитала, ни производительных сил. Тарарам произвели здоровенный — в этом надо им отдать справедливость. А вот силенки-то нет, опыта-то нет, средств-то нет для созидательной работы. И не может быть при отсутствии частного капитала и частной предприимчивости. На национализированном коне далеко не ускачешь. Воленс-ноленс приходится обращаться к варягам.

Инженер Клейст холодно и важно слушал спецов, курил папиросу, не спорил, а заметил коротко и веско:

— Я пришел сюда не для разрешения вопросов из области политической экономии и общей системы государственного хозяйства в России. У меня — скромная задача: потребовать от заводууправления выполнения производственного плана на ближайшее время. Ремонтные работы прекращены по вине заводууправления.

Спецы смотрели на свои руки и прятали улыбки в учтивой предупредительности к инженеру Клейсту.

— Заводууправление здесь не при чем, Герман Германович: оно получает все инструкции от Совнархоза. Обратитесь непосредственно в это учреждение.

Это были новые люди, присланные из Совнархоза, но эти люди под покровом лойяльности надежно несли в себе прошлое. И он нес это прошлое, но оно стало далеким и мертвым: это прошлое перегорело в огне настоящего, и от него остались только одни головешки. Между ним и этими людьми уже не было понимания. И он видел, что глаза их потухали от его неожиданных слов, и в улыбках их была скрытая насмешка, недоверие и трусость. Этот странный чудака или слишком хитер, или выжил из ума от панического страха перед большевиками...

Инженер Клейст шел в Совнархоз. И там встречали его так же почтительно и приветливо, как своего человека,

и улыбались так же, как в заводоуправлении, загадочно, многозначительно, через золотые зубы, через пристальные намеки в глазах.

Так же важно и холодно он излагал сжато и четко о цели своего прихода, и тут, как и в заводоуправлении, слушал учтиво-официальные ответы сквозь дымку скрытой насмешки.

— Да, выполнение ваших смет задержано. Вероятно, они будут пересмотрены. Видите ли, мы не можем вопреки Промбюро и Главцементу... Пока нет соответствующих условий... Предсовнархоз, как сведущий и осмотрительный человек (а в глазах пристальный игривый смех), согласился с нашим докладом... Тут слишком все поспешно... Что скажет Главцемент... Есть основания предполагать, что в Промбюро и особенно в Главцементе вся эта затея с заводом не встретит сочувствия... Мы ждем авторитетных указаний...

Инженер Клейст уже без техников и десятников бродил один по заводским корпусам, по рельсовым путям, подолгу осматривал пустынные площадки и постройки, разобранные механизмы, мусорные остатки прерванных работ, думал и угрюмо бил палкой по камням, обломкам и брошенным материалам. И только один человек встречался ему в этих молчаливых прогулках — сторож Клепка, с бровями и бородой, как хлопья цемента.

Глеб приехал с задраннным шлемом на затылок, весь грязный и мятый с дороги, но с прозрачными, будто вымытыми глазами. Не зашел домой, а прошагал прямо в завод. Пробыл там короткое время и, бледный от волнения, ослепший от ярости, с матом, широкими шагами помахал на бремсберг. Везде — пустота, сор и разлом, как в первые дни своего приезда из армии.

Задыхаясь от бешенства, он бегом промчался в заводоуправление.

Опрыганные спецы, в смокингах и галстуках, оглушенные внезапным грохотом и горластой матерщиной, в изумлении и растерянности застыли на местах: кто шел — остановился, кто сидел — встал, кто писал — не поднял головы с окоченелой ручкой около носа.

Глеб с порога же начал глушить всех с плеча и выворачивал слова всей грудью из самого нутра.

— Какая это сволочь, скажите мне, учинила это подлое дело?.. Я хари всем побью за эту предательскую чертовню... Где директор?.. Я сейчас всех мерзавцев отправлю в Чеку за саботаж и контр-революцию... Вы думали, меня нет, так можно вести свою старую тактику?.. Вы думали, что без меня ваш паршивый номер пройдет?.. Чортовы куклы, я вас всех посажу на аркан!..

Он бегал из комнаты в комнату с надутым кровью лицом, кого-то искал, никого не видел, швырял стулья, сметал бумаги со столов и толкал людей, которые стояли у него на дороге. Кукольно-нежные машинистки испуганно корчились на стульях и прятали свои прически в клавиатурах.

А люди стояли и сидели в изумлении и растерянности, немые от испуга, и когда он убегал от них, панически переглядывались и прикладывали ладони и бумаги ко рту.

Когда немного прошел бешеный порыв в горлодере, Глеб бросил в одной из комнат шинель и сумку и ворвался в кабинет директора. С таким же тревожным изумлением, но строго спокойный, встретил его помощник директора Мюллер, с серебряной щетиной на черепе, с серебряными стриженными усиками, в золотом пенсне. Он встал, блеснул золотыми зубами и протянул ему руку через стол.

— Что вы там расшумелись, товарищ Чумалов? Вы так ругаетесь, что лопаются стекла.

Глеб не сел и руки не заметил. Стал боком к Мюллеру и вывернул к нему обожженное, похулевшее лицо.

— Кто распорядился прекратить работы на заводе?

Мюллер опять блеснул зубами и развел руками от покорного бессилия.

— Вы мне не ломайте дурака, а режьте прямо — какая это скотина угробила всю работу на полном ходу?

— Мюллер дрыгнул головой, сверкнул стеклами пенсне, и лицо его стало дряхлым и ржавым.

— Прежде всего я просил бы вас, товарищ Чумалов, быть осторожнее в выражениях. Заводуправление здесь не при чем. Мы прекратили работы потому, что Совнархоз

нашел невозможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкции высших хозяйственных органов.

— Дайте мне распоряжение Совнархоза. Снюхались, сволочи, с совнархозной шатией: думали, что за моей спиной удастся перевернуть карту? Думали, что в Промбюро меня отошьют, а вам под горячую руку будет удача? Шалите, голуби: я вас здорово сумею посадить под колпак.

— Какие же у вас основания, товарищ Чумалов, возводить на нас такие тяжелые обвинения? Я протестую самым категорическим образом: вы необдуманно говорите оскорбительные вещи. Мы же не маленькие дети: мы не можем выходить из пределов инструкций и предписаний, исходящих сверху. Мы были даже устранены от участия в этих событиях: все склады опечатаны Совнархозом, все документы изъяты из дел представителем Совнархоза... Будьте любезны устраивать скандал не нам, а Совнархозу.

Глеб повернулся к Мюллеру в упор и ткнул кулаком в стол.

— Вы мне пожалуйста не заливайте эту ерунду. Я великолепно знаю все ваши махинации. Я это не оставлю даром для ваших прекрасных глаз. Вы, друзья, забыли дело с Райлесом. Вы узнаете на своей шкуре, как стреляют прохвостов. Вы меня принимали за дурака и били Промбюром, а я вам буду ломать башки и ребра. Имейте в виду, что с утра рабочие приступают к работам. Ремонт должен быть закончен через два месяца, а с осени завод будет на полном ходу. Поняли?

Мюллер пожал плечами, смущенно улыбнулся и хотел что-то сказать, но подавился сухим языком.

На площадке около завкома толпились рабочие, сутуло грудились в кучки в бездельной скуке, сидели в холодке на земле у стены, выходили и входили в двери. Курили. Гуторили в разноголосье и взрывались хохотом. Громада стоял на высоком крыльце, в открытых дверях конторы, размахивал костлявыми кулаками и надрывался от чахоточного возбуждения.

— Как есть, это, товарищи, временно, но мы повинны, как рабочий класс, отнестись сознательно и так и далее... Мы стройными рядами ячейкой и собранием вынесем резолюцию, и как

Совпроф и Профстрой есть наши родные организации, таким образом мы всяко сумеем защитить наши интересы и дадим ход на предание Ревтрибуналу... и всякую нечисть и сукиных сынов пришьем...

Толпа загрохотала криками, хохотом и аплодисментами.

И только Савчук, в драной рубахе, быком разворачивал людей, размахивал руками и выл оглашенным:

— Бить их надо, идиловых душ!.. В море их, сукиных детей!.. Почему лимоните, сволочи? Терпеть не могу!..

Глеб сбежал по широкой бетонной лестнице вниз и сразу увяз в гуще пыльных и потных лиц, в криках, в бестолковщине, в липких руках.

— Вот он, стервец!.. Ах ты, барбос, сукинова сына!.. Хо, теперь он, вояка, покроет!.. Он их всех к стенке поставит... Хо-хо, да чорт же тебя унес на нашу голову в недобрый час...

А среди этих радостных выкриков — другие, угрюмые голоса:

— Как же это так, товарищ Чумалов? Ведь что же это такое?.. Этак ежели будем работать, так лучше к чорту в зад... Шутки, что ли? Мы знаем, чьи это проделки... Эти старые шкуродеры и спят и видят царский режим... Хозяевов ждут, стервы поганые... Всех их надо припечатать на мушку... Добра от них нечего ждать...

Обдавали паром, перегаром махорки, и от тесноты и дыхания было угарно и душно. Глеб упором плеч растолкал густое месиво вправо и влево.

— Товарищи, работы пойдут полным ходом. Завтра по гудку каждый принимает за свое дело. Все эти махинации я распутаю живо и сумею кой-кого посадить под ногу. Еду в Совнархоз. Потребуем, товарищи, беспощадной расправы с контрреволюцией. В Промбюро я провел все наряды. Привез с собой топливо. Пошлем людей за клепками. Пускаем в первую голову дробилку и перемол клинкера.

Глеб рванулся вперед, разворотил толпу в разные стороны, но выбраться из толчи не мог. Люди орали, шарахались вместе с ним по площадке, махали руками и топотали ботами по бетону.

— Кача-ать... пра-а!.. ачать Чумалова!..

Савчук с кулаками вразлет напирал на Глеба и осатанело выливал через мутную влагу в глазах:

— Идолова ты душа... Глеб!.. Подавай на полный удар бондарню... Терпеть не могу!.. Бить буду сукиных детей!..

Глеб взмахнул шлемом над головами.

— Громада!.. Где Громада?.. Толкай его сюда, братва... Вот так... Едем, Громада!..

В Совнархоз Глеб не поехал, а слез с линейки у дверей Исполкома.

На лестнице на второй этаж он тащил Громаду под мышку. А Громада хрипел, задыхался и таращил глаза от изнурения.

— Ох, какая же ты дохлая курица!.. Голова садовая!.. Для похода ты — рванный сапог... Ну, набирайся духу для боя...

— Ты ж знаешь, товарищ Чумалов, как я есть в душливом разе, но всякому спеду покажу сорок очков вперед...

— Ова, горы своротим, к чертовой матери!.. Верно!.. Дохлый, а бьешь пулеметом...

И как только лохматый дядя увидел Глеба, отворил дверь еще издали и отодвинулся в сторону вместе со стулом.

Бадьин был не один: у него сидели Шрамм, Чибис и Даша.

Она взглянула на него и ахнула глазами от изумления, и в них широкой волной плеснула тревога и радость. А увидел Глеб в глазах ее не радость, — что-то другое, не виданное раньше, глубокое, как вздох, и оно прошло через его сердце нудным ожогом.

Бадьин рассеянно взглянул на него исподлобья и опять опустил глаза на стол, на бумаги, которые ворошил волосатыми пальцами: слушал Шрамма.

Чибис сидел, как всегда: не то скучал, отдыхая, не то думал о чем-то своем, что не будет сказано вслух никому.

Зачем тут Даша? Даша — у Бадьина. Неужели правда — ее загадки через улыбку и шутку об одной постели в станице? Было это, или не было? Почему в глазах у ней — тьма, и во тьме — новые волны? Глаза ее — сухие, круглые, сожженные жаром, как в лихорадке. Опять душа ее — глубокий колодец, и как вода в глубоком колодце — далека для него и недоступна. И впервые одним ударом сердца вздохнули позабытые слова Моти: не будет у них жизни общей душой, не будет одного гнезда и одной теплой постели.

Он не подошел к ней, а она осталась сидеть в стороне и уже не смотрела на него и была как чужая.



Шрамм сидел перед Бадьиным, нечеловечески спокойный, и говорил глухим грамофонным голосом:

— ...И не моя вина, если были злоупотребления в Райлесе. Я выполнял пунктуально инструкции руководящих органов. Почему тогда РКИ не замечала никаких ненормальностей, и теперь нагромодила в актах целые кучи криминалов. Аппарат нашего Совнархоза является образцовым, работа проходит блестяще. И вдруг оказывается, что это — не работа, а чуть ли не сплошное уголовное преступление. Я этого не понимаю и требую самой тщательной ревизии.

Бадьян холодно, всей тяжестью глаз, посмотрел на него из-под могучего лба.

— Ты не понимаешь... Это—ясно, почему ты не понимаешь. Аппарат Совнархоза — образцовый, схема выполнена великолепно. И потому, что этот аппарат образцовый, он являлся прекрасной защитой для преступлений. Ты передал всю работу в руки чужого, враждебного нам элемента. Ты не мог видеть из-за твоего образцового аппарата непрерывного грабежа в Райлесе, не видел, что рабочие оставались без хлеба, без одежды, без инструментов, что агенты открыто занимались спекуляцией за счет государства. Ты не понимаешь, почему у тебя под носом совершаются мошеннические сделки по захвату народного имущества, как, скажем, недавняя сдача в аренду кожзавода бывшему владельцу. Ты не понимаешь, что в одном из твоих отделов был разработан, например, целый концессионный план насчет цементного завода, чтобы вырвать его из рук государства и передать прежним акционерам. Ты этого не понимаешь, а я вижу в этом тягчайшую экономическую контрреволюцию.

Шрамм оставался в прежнем нечеловеческом напряжении. Только глаза его наливались мутью, и голос был в хриплых трещинах от утомления.

— В последнем случае я мог только разделять точку зрения сведущих людей, которые с цифрами в руках доказывали невозможность эксплуатации завода в ближайшие десятилетия. Все материалы по этому вопросу направлены в центр: оставить на разрешение Экосо я не был в праве. Вопрос же о кожзаводе был разрешен в положительном смысле в Исполкоме.

Бадьин блеснул широкими зубами и обменялся взглядом с Чибисом.

— Я знаю, как он был разрешен в Исполкоме. Там не было известно из твоего доклада о фальшивых цифрах и подставных лицах. Об этом мы поговорим на сегодняшнем заседании Президиума.

Он взял бумагу со стола и быстро пробежал глазами.

— Возьми, товарищ Чумалова. Сейчас же пройди в Коммухоз: пусть сегодня же он отдаст распоряжение об освобождении всех трех домов и немедленно оборудует под ясли и матклад.

Даша подошла к столу и не взглянула ни на Бадьина, ни на Глеба, а Глеб увидел, как в глазах Бадьина одним коротким мигом вспыхнула пьяная капля. Челюсти Глеба до боли раздавили зубы и тинькнули в ушах.

— Товарищ Бадьин!..

— Ага, наконец-то!.. Где же ты пропадал до сих пор, черт тебя возьми? Ну, докладывай, докладывай, пожалуйста... Ишь, как рожу испек: должно быть, здорово жарили...

И дружески улыбался Глебу.

А Глеб стал бок-о-бок с Громадой перед Бадьиным и угрюмо, с суровой отчужденностью, залпом отбарабанил так. И будто не говорил, а читал по бумажке.

— Товарищ Бадьин, я и член завкома Громада спешно прибыли, чтобы узнать: по чьему распоряжению и на каком основании прекращены работы на заводе? Там—полная дезорганизация и развал. Такого безобразия оставить нельзя. Я бы хотел знать, какая это сволочь развела саботаж и контр-революцию. Рабочие неспокойны. Такая злостная бесхозяйственность хуже бандитского налета. Вот здесь товарищ Шрамм: пусть он ответит, как мог Совнархоз допустить такую уголовщину?

Бадьин опять блеснул зубами в дружеской и странно веселой улыбке.

— Об этом я знаю. Из Главцемента получена в Совнархозе телеграмма о прекращении работ впредь до выяснения вопроса о целесообразности пуска завода.

— Я знаю, чья эта работа, товарищ Бадьин. Но в Совнархоз была послана из Промбюро телеграмма предсовнархозу, чтобы

принять все меры к организации работ. Там этот вопрос обсуждался, и документы у меня на руках.

Голос у Шрамма был чужой и хриплый.

— Есть Промбюро, но есть и Главцемент.

Глеб в бешенстве заметался около стола. Щека его дергалась в неустойчивой судороге.

— Товарищ предисполком, я ставлю вопрос на ребро: так работать нельзя. Пускай товарищ Шрамм хоть чорта съел, как коммунист, но за такие дела надо дать ему хорошую вздрючку. Это — не шутка, товарищи. Мы еще насчет этого разбоя поговорим в другом месте. Но товарищ Шрамм не подходит к рабочему двору. Это — дважды-два... Об этом будет доложено Партийному Комитету. Тут прямая угроза, товарищи, всей нашей хозяйственной политике. Товарищ Бадьин правильно подчеркнул: экономическая контр-революция... вот! Надо положить этому конец. Дело Райлеса — это одна малая болячка. Тут дело похлеще. Надо очухаться, товарищи, взять на аркан и чебурахнуть беспощадную чистку. Генерально поднять пыль во всех учреждениях. Довольно валандаться со всей этой бело-гвардейской шайкой: пора по-настоящему взять ее за жабры. Должен сказать, товарищ Бадьин, что все резолюции Эгосо удовлетворены, наряды проведены полностью. Завтра рабочие приступают к работам, и завком срывает все печати со складов и берет на учет. И еще заявляю, товарищ Бадьин: мы требуем безоговорочно нового состава заводоуправления. Мы поднимаем бучу до самой Москвы, ежели на то пошло.

Он рванул крючки на гимнастерке, вытащил пачку бумаг и бросил на стол.

— Вот вам все документы. Нас били Промбюром, так и мы же бьем этим Промбюром.

Лицо у Шрамма было мертвенно-бледно, а глаза тусклы и грязны, как у трупа.

Чибис быстро встал и вышел стремительным шагом, без прежней тяжести в ногах.

Бадьин опять исподлобья взглянул на Шрамма и опять улыбнулся со странной веселой игрой в глазах.

— Ну, как, Шрамм? Придется, вероятно, и Совнархозу посидеть на одной скамье с Райлесом? Картина занятная, поскольку дело получает крутой оборот.

В коридоре Глеб наткнулся на Дашу. Она, должно быть, ожидала его. Опять взглянула на него глубокими, мерцающими глазами, будто не было у ней роговиц, а только одни зрачки, и в них горячечный, жар и мучительный крик. Остановилась перед ним спокойно, как обычно, и сказала тихо и рассеянно, точно думала о чем-то более важном:

— Глеб, Нюрочка умерла... Ее уже похоронили, а ты не поспеел... Нет уже Нюрочки, Глеб... сгорела Нюрочка, а тебя не было.

В первый момент Глеб почувствовал страшный удар в груди, а потом стало тихо, только сердце раздулось как пузырь, и стало тошно в кишках, и растаяли ноги, как при падении с высоты. Он пристально, во весь размах глаз смотрел на Дашу и долго не мог проглотить одышку.

— Как?.. Да не может же быть!.. Как?.. Нюрочка?.. Да не может же быть!..

Даша стояла, опираясь спиной о стену, и Глеб увидел иные, мученные глаза. Они дрожали и наливались слезами.

Рядом, тоже у стены, Громада задыхался и корчился от хриплого собачьего кашля.

## XVI

### ПЛЕВЕЛЫ

#### 1

#### «Пушай сердце у нас будет каменное!»

Чистка заводской ячейки назначена была по республикованному расписанию через неделю, 16-го октября, и Сергей ждал этого дня с прежней думающей улыбкой и не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни обычных вопросов, которые мучили его по ночам. Было только одно: удивление перед собою — почему он не забывает ни на миг о дне 16-го октября (помнит о нем даже во сне), знает, что это — некий грозный рубеж в его жизни, и — все же глух душою к этому идущему через него событию. Вопрос: будет ли он исключен или оставлен в партии? Проходила через мозг странно легкая волна и исчезала по ту сторону сознания. Обмывала волна клеточки мозга, а они спокойно, привычно, нетронуто исполняли свою обычную деловую работу и звенели по ночам дневными образами и странными вспышками неожиданных воспоминаний. Это были спутанные световые миги — зелень в солнце, дети в солнце, горы и море в солнце, и не то детские переливы криков, не то сверчками гремят колокольчики...

Как обычно, горела солнцем лысина в кудрях, когда шел в Партком или на митинг. Как обычно, шел с туго набитым дырявым портфелем немного сырой, сосредоточенной походкой. Всегда был занят, всегда пунктуально выполнял задания дня. И не было мига, чтобы не помнить о 16-м октября.

На докладе президиуму Парткома о работе Губполитпросвета Жидкий посмотрел на него с ласковой насмешкой (а глаза будто кружились в роговицах) и положил ладонь на его пальцы.

— Боишься, Серега? Верно: зададут тебе перцу — держись...

— Почему же? За что? Я не испытываю ничего похожего на боязнь. Точно это — где-то вне меня и меня не касается...

— Ничего, не робей — защитим. Не так страшен чорт, как его малюют.

Лухава — по обыкновению, скорченный на стуле, с подбородком в коленях — брызнула искрами из глаз и волос.

— Врешь, Жидкий: ты сам боишься этой чистки. И я боюсь. Ничего не боюсь, а этого боюсь. Сергей будет исключен. Где у тебя сила помешать этому? Бывший меньшевик... И призыв Ленина — гнать меньшевиков...

Жидкий ударил кулаком по столу, и ноздри раздулись как пузыри.

— Он не будет исключен. Почему — не ты, не я, а — он? По каким признакам? Меньшевик? интеллигент?.. Это — ерунда... это — не мотив... У нас есть все возможности к протесту, если бы это случилось. Работы комиссии идут безобразно: исключают по ничтожным мотивам сомнительного свойства, или мотивы натаскивают из головы. За эту неделю исключено уже до сорока процентов ответработников и почти такой же процент рядовых членов. Вот, например, Жук... рабочий... А мотив: склочник и деклассированный элемент...

— Жук?.. Он исключен?..

Сергей вытянулся к Жидкому в изумлении, но сделалось это как-то само собою, и слова Жидкого не трогали его, как что-то далекое и малозначащее.

Вперевод ему Лухава необычно спокойно и необычно твердо сказал с официальной небрежностью:

— Комиссия не обязана сообщать тебе факты, и ты не имеешь права вмешиваться в ее работу и критиковать ее методы. Для исключенных есть только один путь — обжалование.

— Пусть так... Но я буду действовать и ни перед чем не остановлюсь. Я подниму бучу до самого ЦК. Тот, кто чистит, ни черта не понимает в своей работе. Это ведет только

к разрушению организации. У нас есть все основания к протесту. Я этого дела не оставлю...

Он опять грохнул кулаком по столу и выругался матом.

А Лухава крутнула головой, усмехнулся и спрятал нос в выщелкнутые коленки.

— Осел!.. За это и тебя исключат или переведут, в лучшем случае, на низовую работу.

— Пусть: все равно — я ничего не боюсь...

И Сергей заметил, что и Жидкий и Лухава смотрели на него и друг на друга лихорадочными глазами панического предчувствия.

А в женотделе Поля, похудевшая, с мукой в глазах, не могла удержать судорожной дрожи в руках и лице. Даша, крепкая костью, сидела поодаль, за столом, и писала малограмотным упором руки какой-то доклад. Она не видела Сергея, не видела товарища Мехову — какое ей дело до того, о чем они будут говорить и волноваться?

Поля взмахом руки позвала Сергея и указала на стул напротив себя. Посмотрела на него, посмотрела на Дашу, посмотрела в окно — и никак не могла остановить нервной дрожи в лице и руках.

— Сергей, не сможешь ли ты мне разобраться во всем том, что происходит сейчас? Я окончательно обалдела. Даша совсем перестает меня понимать: она стала очень груба и не может говорить со мною, как прежде. Я чувствую, что я буду исключена из партии, Сергей...

Даша молчала — не слышала, что сказала Поля.

Сергей тоже молчал: не знал, что сказать на ее слова. Хотелось мягко коснуться ее души, а слов нужных, сердечных не находил. И о себе хотелось сказать что-то очень простое и очень значительное, и тоже не было нужных и важных слов.

— Я там буду говорить то, что вижу и чувствую. Ты понимаешь?.. И меня исключат... То, что происходит, что совершается... что распинаят меня и революцию... Я не смогу лгать...

Даша взбороздила пером бумагу, с напряженным усилием переместила правую руку на стол и подняла голову. Под упрямым выпуклым лбом, обтянутым красной повязкой, брови вздрагивали высоко над переносьем.

— А что же такое стало, товарищ Мехова? Я, по дурасти, не чую... Работа идет в женской организации лучше, и мы, бабы, насобачились выступать и делать общим фронтом не хуже мужчин. Какая же поруха случилась, товарищ Мехова?

Поля вздрогнула от голоса Даши и быстро вскочила на ноги.

— Как ты смеешь это говорить? Ты не знаешь, что случилось, да?.. Ты не знаешь, что кровь рабочих и красноармейцев... море крови... слышишь, Даша?.. море крови пролито только для того, чтобы отдать эти площади с невысохшей кровью для базаров и кафешантанов?.. чтобы смешать все в одну грязную кучу?.. Ты этого не знаешь, да?..

Сергей еще не видал Полю в таком потрясении. Лицо ее стало как у припадочной: оно налилось кровью, и пот липкой росой покрыл лоб и верхнюю губу, а глаза стали сухими и мутными в зрачках.

Даша опять наклонилась над бумагой и усмехнулась понимающей, снисходительной улыбкой.

— А я думала, что... Так неужто ты, товарищ Мехова, думаешь, что, кроме тебя, все такие дураки и оболтусы?

— Да, да!.. Дураки!.. Предатели!.. Труссы!..

И потом вдруг утихла, улыбнулась жалкой гримасой Сергею, вскинула ладони к глазам и заплакала.

— Почему я не умерла тогда... в те дни... на улицах Москвы... или в армии?.. Зачем мне было знать эти мучительные, позорные дни, дорогие товарищи?..

Неудержимой улыбкой задрожало лицо у Сергея, и никак не мог он выдохнуть застрявший воздух в легких. Прыгали губы, как чужие, и в глазах растаяла и Поля, и окно, и стены в тягучее волокнистое месиво. Должно быть, устал. Должно быть, не может переносить чужих слез. Должно быть, Поля взяла у него последние силы в ту ночь, когда она ворвалась к нему, убитая страхом, изломанная животной силой предисполкома.

Даша стояла около Меховой и с влажным переливом в глазах сжимала ее плечо.

— Товарищ Мехова, это — стыдно. Ты слезами и припадками хочешь выказать свою силу? Ты — не барышня, а коммунистка. Пушай сердце у нас будет каменное, товарищ Мехова... Пушай оно треснет, сердце, булыжником, но не надо



нам сердца от слез... не надо сердца от банной мочалки... Ты зашилась, товарищ Мехова, — иди домой и успокойся... Можешь на меня положиться: меня хватит еще надолго...

И отошла на свое место, твердая в мускулах, и опять крепко взяла ручку в пальцы и заскрипела пером в упрямом малограмотном упоре.

Поля растерянно и долго смотрела на Дашу, потом на Сергея и молча села на стул. И необычно спокойно и холодно, с суровой складкой у переносья, ответила сквозь зубы:

— Я никуда не пойду. Я пришла работать и буду работать до конца.

— Ну, да... Я же знаю тебя, товарищ Мехова: мы ведь с тобой работаем не первый день...

Даша писала, не поднимая головы, и улыбалась.

## 2

### Чистка

Мехова чистилась вместе с Сергеем в заводской ячейке: Сергей — как прикрепленный, а Поля — как пропустившая чистку в своей ячейке по болезни.

Собрание ячейки открыли в зрительном зале: было много народу — навалила беспартийная масса. Коммунисты грудились в двух передних рядах, а беспартийные — сзади. И оттого, что стены комнаты проваливались зеркалами, а из этих провалов напирали новые толпы, а за толпами — новые провалы и новые толпы, — казалось, что люди сбились тысячами. А в зале было только человек полтора.

Глеб сидел третьим в комиссии за столом, перед сценой. Люстра в пятьдесят лампочек пламенела бриллиантами висюлек и ожерелий.

Члены комиссии были чужие. Оба — в солдатских шинелях и картузах, но разные: один — скуластый, смуглый до черноты, и лоб, и нос, и подбородок — сизые шишки. Не поймешь — улыбается он или злится. Другой — костлявый, с пепельным лицом, и борода — венчиком. Он постоянно берет ее тремя пальцами и доит книзу. И когда сел, не переставал ежиться, а когда вскидывал глаза, то глаз не было видно — сливались

с веками. И все время, когда говорил с вызванным к столу коммунистом, не смотрел на него и будто говорил не с ним, а с кем-то другим. И партбилеты будто не смотрел, а только мял тонкими окоченелыми пальцами.

Сергей услышал шопот позади:

— Шерстобит, идол... Загрызет, истинный бо... До нетей штаны спустит... А тот-то, тот... видал?.. Лярвой мурлычит, сукинова сына...

И когда костлявый человек назвал Громаду, не понял Сергей: этот ли человек выдавил из себя голос, или тот — другой, рядом. И опять услышал шопот позади:

— Э-эх, мать твою так... вот так чревоуещатель!.. Шкуру сдерет, бардадым... спец!..

Шопот всхлипнул и захлебнулся смехом.

Громада вынырнул к столу, а у стола подпрыгнул зайчиком и по-птичьи вытянул нос к костлявому человеку.

А позади Сергея опять всхлипнули от смеха, и кто-то не вытерпел — крикнул заботливо:

— Громада, высморкай нос, товарищ... облегчись преждевременно...

Было ли у него мокро в носу, или испугался, что — мокро, свернул в сторону нос и шмурыгнул со свистом.

Зал охнул от смеха, а позади Сергея дрожал воздух от визгливого хохота.

Глеб ломал салазки от улыбки, а на щеках играла гармошка. Прыгали шишки от смеха и у первого члена комиссии. Глеб дрызнул колокольчиком и поднял руку.

— Товарищи, к порядку! Все должны отнестись к работе внимательно: дело идет всерьез, товарищи.

Костлявый член комиссии был попрежнему глух и неподвижен, только доил бороду тремя пальцами.

— Товарищ Громада... Ваша автобиография?

— Моя ахтобиография такая, товарищ... Как рабочий пролетарий и с малых лет барбос, но как нас великолепно эксплуатировали капиталисты, дискустировать тут нечего... Сами видите, как у меня чахотка в грудях чирикает походный марш и так и дале...

А сзади шопот:

— Э-эх, мать твою так... вот чешет!.. Зубами грызет, сукин сын...

— Когда вступил в партию?

— При новом советском режиме, так что, по учету время—год.

— А почему не вступал раньше?

— А какой шкет идет в объявку мастером преждевременно?.. Вы, товарищ, заводским не были шкетом? Пройдет шкет выволочку в три этажа и так и дале... ну, и насобачится жарить...

— Я спрашиваю: почему поздно вступил в партию?

— Так я ж и режу: в таковой гражданской молотилке я вверх тормашками крутил, как вертифост... В ту ж ипоху все чертили дикачами...

— Правильно, Громада... крой!.. Все были барбосами и барабанщиками...

— В красно-зеленых не был?

— Быть не был, товарищ, ну на горы—поденно и так и дале... За горами не был, а в горы братву и белых солдатов уснащал... Мы с Дашей одной шайкой винты нарежали...

— Значит, в красно-зеленых не был. Предпочитал сидеть дома и ждать погоды. Так?

Громада почуял в вопросах этого костлявого опасность. Вопросы щерились ехидством и мышинной ловушкой. Слепым и тусклым допросом обхаживал его этот коченелый человек, а в каждом слове его таилась гадюка и жалила его незаметно и больно. И когда почуял это Громада, осунулся, и в глазах его вспыхнула капелька ненависти. Может быть, заметил это сухопарый, а может быть, надоело ему возиться с Громадой, он подцарапал что-то карандашом на бумажке и отмахнулся от него.

— Можете итти... Кто хочет сделать какое-нибудь заявление насчет товарища Громады?

— Громада?.. Хо, Громада—kozyрь!.. Громада даст всем сорок очков вперед...

— Следующий... Товарищ Савчук!..

Толпа забуровила, зашептала, срываясь на смех. Савчук в длинной холщевой блузе без пояса, лохматый, в ободранных штанах, шлепал босыми ногами, задевал руками и боками за людей и выворачивал их с мест, а они с изумлением глядели ему вслед и хватали за рубаху.

— Тю, скаженная бочара!.. Держи ровнее!.. Пахарь, будь ты трижды неладный!..

Савчук стал перед столом угрюмо, с кулаками враспопырку, и замотал шерстистой башкой.

— Ты меня, товарищ-чистильщик, о жизни моей биографии не тревожь...

— Почему? Это — необходимо: на этом основана вся сущность проверки.

— Подлюю мою жизнь не тревожь. Нет тебе до нее интересу, коли я сам заховал ее к чорту в зубы... Ша — и шабаш!.. Я — бондарь, и делаю бочки... А вот сейчас не делаю, коли завод еще на бондарном цехе — идолова свалка... А коли вон тот самый Глеб... вот этот идол... зашуровит во весь мат, и запоят пилы — ну, тогда почин будет для новых бочар...

— Вы вот тут пишете, что кое-кого за это время вы били по башкам и еще будете бить почему зря. Кому это вы били башки и о каких башках вы говорите?

Лицо Савчука надулось, и жилы на лбу и на шее переплетались и крутились веревками. Кулаки все держал на отлет, и глаза наливались смехом и злобой. Все насторожились — ждали: грохнет Савчук какую-нибудь орясину, не рассчитав удара, и будет потеха и буча. Хорошо знали, как Савчук взрывал свою душу до дна и бил словами, как динамитом, — прямо, без лжи, не думая о последствиях. Он хрипнул от смеха, но смех не расцвел на волосатом лице. Только толчки крови дергали голову срывными ударами.

— Я их, идиловых душ, громил и буду громить, сволочей... Всех новых господ и буржуев — губошлепов и лодырей... Вот тут, на скамьях, слесаря сидят — и их бил... Они меня даже нюхали, зажигальники... Один стал чорт: что в лоб, что по лбу... И тогда, при старом режиме, в ахтанабилях форсу задавали, и сейчас — форс на ахтанабиль, и тем же махом банки ставят нашему брату...

— Кто ставит банки? Партийные и советские товарищи? Говорите конкретнее.

С задних рядов кто-то курлыкнул в икоте и крикнул, не владея радостью слов:

— Савчук, эй!.. Ставь банки на ять, Савчук!.. Крой их, сморкачей, заливал... Знаем их, вольных стрелков, завсегдателей...

И опять грохнул обвалом весь зал и потом сразу же задохнулся тишиной в предчувствии скандала.

И только оттуда же, из задних рядов, быком промычал одинокий голос, разбитый кашлем:

— Да гоните его в шею, шалаву!.. Что он голову морочит, стерва!..

Зал вздохнул и дрогнул от ропота.

— Говорите точнее, товарищ Савчук. Башки разные бывают: одни надо действительно бить, а другие беречь пуще своей. Как вы, например, смотрите на наши башки — подходят они под те, которые надо бить?

— А черт их душу знает? Вы вот сбили народ и наводите тень на плетень. Нужны вы нам на идола... Хозяевов богато, а командирами хоть трамбуй мостовую...

Сухопарый был слеп и глух: он ни разу не взглянул на Савчука и даже будто не слышал и не замечал его.

Глеб поднялся над столом и сдавил челюсти.

— Товарищ Савчук, оставь хулиганить. Не знаешь порядка?

Савчук брюхом напер на стол, зашоркал лопатками под блузой, и жилы на шее готовы были лопнуть от натуги.

— Замолчь, идиолово скобля!.. Я — не какойнибудь обормот, сукин сын... Почему ты мне крутишь махалкой?..

И своим воем он разбередил голоса из зала.

— Не затыкай глотки, товарищ Чумалов... Правильно режет, сапатка...

Горласто кричала женщина и суетливо трепыхалась квочкой в проходе.

— А того не высказывает Савчук, как лакал самогон да жинке своей Мотьке ломал кости кажин час... Это такой злыдень для бабы, да я задушила б его свома руками...

— Да все они, мужики, барбосы, такая поганая сила: бабы и туды и сюды — и с горшком, и с мешком, и на кулак, и на подстилку, и корми, и молчи, и детей годуй, а они — для панства и чванства... Все они, подлые, злыдни...

И бабы закликали, забунтовали и замахали руками.

Савчук, затравленный, повернулся к толпе и, в лохмах волос, глаза его вспыхнули по-волчьи.

— Дуры!.. Завоняли, худодырые мокрохвостки... балаболки!..

Хохот. Дрогнули стены, и люстра — почудилось — замигала и зазвенела висюльками.

Мотя выбежала по проходу, в самую людную гущу. Закричала сварливой бабой, закружилась на месте, злая и раскосая.

— А неправда.. неправда и неправда!.. Коли Савчук меня бил, то и я его била... (Хохот). Вы все не стойте Савчуковой подметки... Нас всех надо бить, барахолок, всех до единой... Мы все, как поганые квочки, растеряли дыпчат и порушили гнезда... Все стали чекалками и потаскухами... Все не стойте вы Савчуковой подметки!..

Люди притихли растерянно и смущенно. Оглушенные выкриками Моти, и бабы и мужики таращились на нее такими же раскосыми глазами, и они надувались над щеками как пузыри.

— А где, Мотя, у Савчука подметки?.. Он шагает босаявкой...

А Мотя злобно кричала и кружилась на месте.

— Вы не смеете Савчука... да, да!.. Он, Савчук, — лучший из всех... Не давайся, Савчук... Он никого не боится, Савчук... Он — лучший и сильный, Савчук...

Поля вздрагивала и ежилась в ознобе. Сидела около Сергея и не отрывала глаз от стола. Очарованная, смотрела на костлявого члена комиссии и улыбалась одними губами, а лицо было, как у больной, — в темных пятнах.

А Сергей волновался от смутной радости. Не все ли равно — в нем ли колыхалась эта радость, или она насыщала его из недр этой залитой светом толпы? Пела и младенчески смеялась радость в каждой клеточке тела, и все — и эти потеющие в своих испарениях люди, и хохочущие шопоты сзади, и люстра в гроздьях огненного винограда — все было необыкновенно ново, полно глубокого смысла и значения. Все до примитивности просто, оголенно, выпукло до простого рефлекса. И смех, и шопот, и любопытство, и этот странный суд у стола, который похож на игру в ловушку, — все человечески просто, только ряд несложных движений. Схватываются только отдельные звуки и жесты или только одна волна общего вздоха, и все так ясно и забавно. Это — разорванные миги, и они полны животной игры. А почему эта игра в общем сплетении мигов — огромный

и сложный процесс? И сложный процесс — это великая человеческая судьба, и судьба эта — трагедия? Отец говорит иначе. Может быть, отдельный миг поглощает в себя целую историю? Может быть, самое важное — не время, а миг; не человечество — а человек?

Почему уши у Поли кажутся лишними? Они цветут, как лепестки. Когда она дышит—ноздри раздуваются и бледнеют по краям. Всплески крови, и в ее красных каплях, разлитых по жилам,—боль и страдание. И в этих каплях крови — весь смысл и разгадка человеческой жизни, вся ее радость и простота.

— Товарищ Сергей Ивагин!..

Встал. Шаг, два, три.. Остановился. Так просто и до нелепости бесцельно...

Говорилось само собою. Слышал свой голос, а видел кривой нос, твердый как клюв. Не кожа, а глина в каплях воды.

— Это ваш брат — полковник, который недавно расстрелян? Вы с ним часто виделись до его расстрела?

— Два раза: один раз у постели умирающей матери, а другой — когда мы вместе с товарищем Чумаловым схватили его, как сигнальщика.

— Почему же вы не постарались помочь арестовать его после первого вашего свидания?

— Очевидно, не было повода.

— Почему вы не ушли из города в 18-м году вместе с Красной армией, а остались у белых? Разве были гарантированы от расстрела?

— Нет, какая же гарантия? Я в бегстве не видал особого смысла. И здесь можно было работать.

— Так. Вы тогда ведь не были коммунистом? Ну, тогда понятно.

— Что понятно? Какой смысл в этом вашем «понятно»?

— Товарищ, я не обязан отвечать на вопросы. Мы не устраиваем дискуссий. Вы — свободны.

Сергей не сел на свое место, а пошел между рядами рабочих в глубину залы, и с ним вместе, по бокам и навстречу, шли еще несколько Сергеев, которые смотрели на него пристально, лысо, угарными выпученными глазами в красных набухших

веках. И будто не по полу шел, а по зыбкой, узкой доске — все вниз, вниз... И никак не мог удержать своих ног. И будто не ноги шли, а ползла под ним эта зыбкая доска, а ноги едва успевали переступить по волнующейся ленте. Сотни, бесконечные вороха лиц, шершавых голов в дыму и огненном тумане, плывут, громоздятся со всех сторон в душливой банной толчее.

И потом сразу все исчезло, как видение. Погасло и вытекло в распах отворенной двери. Там рубцевалась мраморная лестница с массивным резным барьером, и два дубовых обелиска матово горели перламутровыми фонарями. Здесь, в коридоре, было пусто, и вздыхала певучая тишина. И только где-то далеко, через плотно закрытые двери, погремушками играли юношеские голоса. Комсомольцы.

... Комиссия по чистке. Костлявый человек, слепой в лице и движениях, непроницаемый в мыслях, без улыбки и боли (у него, кажется, нет и морщин на лице). Был в его власти Громада и Савчук, будет и Поля, и Глеб, и Даша — будут все... Они смотрели на него с задавленным страхом. У них у всех эта тошнотная тоска, потому что она и сейчас червяком извивается около его сердца.

Разве вопросы вскрывают когда-нибудь нутро человека? И разве ответы бывают когда-нибудь убедительны и верны? Нет верных вопросов, и нет верных ответов. Верно то, что не умещается в вопросах и пересекает ответы в иных плоскостях.

Погремушками звенели голоса за дверью. Погремушками звенели клеточки мозга.

И как только он отворил дверь, его ослепили красные пятна знамен и полотен: пылали стены, летали надписи белыми птицами. И всюду — на окнах, в углах — огненными брызгами горные цветы.

И ребята — их было так же много, как цветов — все в трусах, и голые ноги и руки, и парни, и девчата. А девчат можно было узнать только по красным повязкам и припухшим грудям.

Ряды, фигуры, ритмические движения...

— Раз-два-три-четыре...

Переплетались в петлях, узлах, в сложных звеньях...

— Раз-два-три-четыре...



Сергей смотрел от дверей на эту музыку движений, и где-то близко, у самого сердца, волнами билась кровь:

— Раз-два-три-четыре...

Спутались, смяли друг друга и взорвались хохотом и криками.

... Сергей остановился у двери, прислонился к косяку — дальше не мог шагнуть: столик за ворохами голов и плеч и три головы над ним казались недостижимо далекими, и эти толпы в зеркалах и множество отраженных люстр были невыносимо яркие и жутки.

Поля стояла у стола, маленькая как девочка, без обычной повязки, в одних золотых кудрях, и голос ее задышался, рвался, дрожал и кричал от боли.

— ... и этого я не могу пережить, потому что не могу понять, не могу найти оправдания... Мы разрушали, страдали... Море крови и голод... И вдруг — сразу... воскресло и заулюлюкало... И я не знаю, где — кошмар: эти ли годы борьбы, страданий, крови, жертв, или этот праздник жирных витрин и пьяных кафе?.. Зачем тогда нужны были горы трупов? Ведь не для же того, чтобы сделать еще более ужасными рабочие конуры, нищету, вымирание?.. Ведь не для же того, чтобы мерзавцы и гады опять пользовались благами жизни — жрали, грабили и улюлюкали? Этого я не могу принять и не могу с этим жить... Мы боролись, страдали, умирали, чтобы позорно распять себя... Зачем?

— А вы не находите, товарищ, что эта ваша лирика похожа на то левое ребячество, о котором недавно говорил товарищ Ленин?

Голос коченелого человека — спокойен, строг, без интонаций, и от этого вскрики Меховой — как рыдание. А толпа горбатых спин и пыльных затылков кряхтела, лезла вперед, будоражилась.

— Вы — завженотделом, руководите организацией женщин, а говорите перед рабочими и теми же женщинами несообразные вещи. Это не годится, товарищ.

Издали было видно, как дрожали губы у Поли, и глаза проваливались в подбровную тьму и лучились слезами.

И как только она прошла по рядам пьяным шагом без цели и необходимости итти, люди смотрели на нее угрюмо

и провожали долго, не отрывая лиц. Некоторые ломались в бок, тянулись к ней и шептали с одышкой:

— ...Вот именно, товарищ... Самое настоящее... Почему зря... Рабочий человек — и то и это... а рабочему человеку — все один шиш... Бить надо сволочей по всем швам...

— Кто имеет заявление насчет товарища Меховой?

И вся толпа сразу охнула, загалдела разнобоем, замахала руками и к столу, и друг на друга.

— Какого чорта!.. Почему зря!.. Верно!..

— Товарищи комиссия, так что таких товарищей надо в шею... Раз надо, значит надо... Это — об новой политике... Только надо, чтобы и рабочим одинаково давали... Это надо обязательно записать...

— Тиш-ше!.. Конюшня, что ли, тут, товарищи?

— Товарищи!.. Это — верно... Бабенка хорошо высказывала насчет всякого уреза...

— А я бы подчеркнул, товарищ комиссия, как кучерявая есть недоносок... как мы не доросли еще насчет коммунизма... а гнать надо наипаче бабенок... и барышнешки тоже...

А когда отхлынула волна криков, и сыро осели спины и затылки, Сергей увидел, как Глеб стоял за столом и смотрел на костлявого члена комиссии мутным взглядом оглушенного животного. Наклонялся над ним, порывался что-то сказать, шевелил губами и челюстями, но член комиссии не поднимал головы и был трупно неподвижен.

Даша стояла впереди, перед столом, и пристально, напряженно провожала Мехову испуганными, страдальческими глазами.

Сергей вышел вслед за Полей в коридор. Она быстро, неустойчивой походкой, пошла к выходной двери, и голова ее, отброшенная назад, развинченно мотылялась на плечах, как у слепой. Он робко позвал ее, и голос его глухо бумкнул в ночной пустоте коридора. Она не оглянулась и с разбегу всем телом упала на тяжелую дверь.

Он опять стал в дверях зала и впервые услышал громкий, молодой вскрик коченелого человека.

— Вот это я понимаю!.. Вот — член партии!.. Это — настоящий работник и партиец... Наша партия только может гордиться

такими товарищами. Идите, товарищ Чумалова... Желаю вам всего хорошего...

И Сергей увидел, как костлявый встал со стула и потряс руку Даши.

## 3

**Ничтожный элемент всеобщего**

В своей маленькой комнатке, в Доме Советов, Сергей до рассвета сидел под лампочкой и читал «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Старательно отчеркивал целые абзацы огрызком карандаша и делал на полях неразборчивые, кривые в строчках, пометки. Вставал, ходил по комнате в диагонали от стола в угол, к умывальнику, по натоптанной пылью дорожке, и в глубокой задумчивости гладил ладонью блистающую лысину. Думал и не мог оформить, о чем думал. Клубилась внутри, в области сердца, мутная тоска, мучительная до стона. А отчетливо и громко говорилось в молчании одно и то же:

— Принцип энергетики вовсе не противоречит диалектическому материализму, ибо материя и энергия — это различные формы одного и того же процесса космического становления. Все дело — в методе, а не в словах... Диалектика — энергетична... Формы соотношений элементов материи мира — закономерны и бесконечны... В формуле: «материя и энергия» вызывает спор только буква «и»... Она — статична и требует диалектической постановки... Впрочем, надо подумать... надо разобраться...

Опять садился, брал книгу, опять отчеркивал абзацы и делал неразборчивые пометки на полях.

В соседней комнате, через дверь, у Поли — тишина. Она была дома: матовое стекло двери, когда он шел по коридору, искрилось ивеем от электричества внутри, и на мгновение он видел кудрявую размытую тень на стекле. Хотел войти к ней и уже взялся за ручку двери, но тень закачалась, смылась со стекла и исчезла. Решил: не надо. Если она нуждается в нем, она постучит к нему в дверь, что из комнаты в комнату, или сама зайдет к нему, как заходила обычно.

С книжкой в руках, на цыпочках подходил к двери и слушал комнату Поли. Тишина — ни шагов, ни домашнего шелеста.

Должно быть, лежала на кровати, с такими же глазами, с какими ушла из ячейки завода, а может быть, спала, утомленная волнениями пережитых дней. Если спит — это хорошо: завтра она может стать на ноги крепко. Она только немного устала (теперь так много уставших людей): ей нужно только отдохнуть. Была на войне — была счастлива: там научилась громко смеяться. Была в женотделе в напряженной работе — тоже смеялась. А вот — новая полоса, отдача — и вдруг осела от ушиба. Ей только отдохнуть и немного понять. Не надо спать: она может позвать его, когда он будет ей нужен, или притти к нему сама, как бывало обычно.

Чистка... Окоченелое лицо и граммофонный голос члена комиссии. Все это было очень давно. Все это так ничтожно: разве крошечный факт может иметь какое-нибудь значение в общем процессе свершений? Не он, а — все, и он — только ничтожный элемент всеобщего.

В открытое окно влетали золотые и серебряные бабочки в мохнатых шубках, трепыхались и бились у лампочки, улетали в глубь комнаты и пели слабо натянутой струной, и от этого комната казалась огромной, и думалось о том, что он — один, а впереди — много неведомых перемен. Подходил к окну и смотрел в тьму. Октябрь, а — тепло, но в этой теплой и темной ночи — уже сладкие странные запахи осеннего тления: и болотом пахнет, и опавшими листьями. И в этой каменной городской тьме (еще не было фонарей по улицам) тоже была нутряная тишина, только далеко, на вокзале, угрюмо вздыхали гудки, и стеклом разбивались вагоны. И там, под горами, за заливом, путанными гирляндами лучились в переливах электрические звезды. Это воскресал к жизни завод. Потом огненные редкие капли дрожали в порту, на пристанях и пароходах, и вспыхивали пламенные струи в бухте от этих мерцающих звезд.

Было мгновение, когда Сергей забылся в дремоте, и перед ним засеменял босыми ногами в рваных штанах и засмеялся радостным смехом отец.

Он топтался около него со стулом в руках и невнятно бормотал, торопясь и захлебываясь, жуткую неразбериху. И оттого, что ничего нельзя было разобрать в этой смешливой болтовне отца, Сергею было страшно. Он сидел лишенный

движений, хотел подняться и — не мог, хотел ударить отца и — не мог. Отец грозил ему пальцем, теребил бороду и радостно смеялся.

Сон. Глубокими редкими толчками билось сердце вместе с пробуждением. За дверью, в комнате Поли, низким басом рокотал полуголос предисполкома. Громыкала и свистела железом кровать. Голос Поли был птичий, рваный — не то плакала, не то смеялась.

И опять — тишина.

Сердце билось глубокими редкими толчками и обжигалось кровью. Сутулый, с надутыми жилами на лысине и висках, подошел к двери. Послушал. Постоял с поднятым кулаком, готовым к удару. Судорога проползла по лицу, и кулак медленно опустился и мягко разжался. Дрожь от озноба, с сизым лицом, оглушенный в глазах, изнуренным шагом, рыхло пошел к постели. Постоял, опять прислушался, лег. Опять встал и прислушался. Начал старательно, медленно раздеваться. Потушил лампочку, закрылся с головою в одеяло и замолк.

#### 4

### Щ е п к и

Утром, в обычный час, Сергей проснулся мгновенно и так же мгновенно встал на ноги. Сразу подошел к умывальнику и мылся немного, но обильно. С полотенцем в руках стал у окна (окно было открыто всю ночь). В комнате было холодно, и по телу струилась знобная дрожь, и от этого было бодро и упруго на душе.

Небо было глубокое в сини, как летом, и воздух прозрачный и золотой в даях. Горели солнцем дома внизу, и крыши мокро блестели ночной росой и голубели отраженным небом. На хребтах гор, над заводом, ослепительно пламенели клубастые сугробы. И очень далеко, в долине, разрезая каменные отвалы и заросли молодого леса, стекающего с гор, вползал на уклон красной гусеницей товарный поезд: четко чеканились маленькие кубики с черными квадратами дверей, и играли спицами колеса. Огненными охажками вылетал из трубы пар и долго не угасал, широко перекатываясь розовыми облаками. И запах осени — сладкий, бродильный запах тления — холодный и металлический,

ядренными волнами вливался в окно. Было бодро, легко, прозрачно и солнечно.

... Чистка. Зеркала повторного отражения со множеством толп и люстр. Его смущенные, наивные ответы. Ах, это так было давно и так ничтожно! Тело насыщено кровью и здоровьем, и хочется тяжелой физической работы для мускулов. И у окна вскидывал вверх и в стороны руки, просящие движений: раз — два — три — четыре...

... Поля... Тенью прошла мутная боль через сердце.

Она не пришла к нему — не хотела его дружбы. То, что было в ночи, хотела на этот раз сохранить от него только в себе. Его боль — только его боль. А ее боль только делает ее ближе и роднее. Не скажет он ей о своей боли, и она о ней никогда не узнает. Она — сильна, она умеет смеяться, и встретит она его сегодня и приласкает улыбкой, как друга. Милая, родная Поля...

Взял портфель и вышел в коридор. Комната Поли плотно затворена, и там — тишина. Спит. Пусть спит: ей надо отдохнуть и успокоиться, чтобы улыбка зазвенела смехом.

В Парткоме прошел в комнату комиссии по чистке.

Хоть и ранний час, а уже накурено, и темная комнатка, с окном в решетке, смердила махоркой и плесенью. Стояло несколько человек у стола, и лица у них — будто после тяжелой болезни. Не видя Сергея, столкнулись с ним двое — служащие из ОНО — и, как слепые, минуя его, молча, с улыбками избитых, сутулые, запутались друг в друге в дверях. А услышал Сергей только горластые крики Жука:

— Бить надо, шлепать расстрелом, товарищи дорогие... Самих по шеям из Рекапе... Генералы, сволочи!.. Что вы понимаете в рабочем человеке? Утробу свою, шкуру только холите, а на рабочий класс начхать... Как ты меня чистил, чортова морда, ежели рожа моя для тебя — на щеколде?.. Что ты — кашу со мной кушал, что ли?.. Что ты мне очки втираешь, ежели ты сам прежде меня — рваная штиблета?..

А сухопарый сидел за столом, глухой и замкнутый, и бесстрастно перебирал исписанные бумажки в толстой папке для дел. И как только выкрикнул последние слова Жук, он пристально посмотрел на него тусклыми глазами без мысли. Не глаза, а — бельма.

— Товарищ, если вы считаете себя коммунистом, почему не обладаете должной выдержкой? Я вам уже сказал, что...

Жук рванулся к нему с искаженным лицом и ударил кулаком по столу.

— Ежели ты, дохлый чорт, квасишь мне сапатку и тычешь ее в сортир, так я тебе должен сказать — спасибо? А этого не хочешь?.. Видал я здорово вас, карьеристов и хахарей... Я вас всех выведу на чистую воду... Я вам покажу, где раки зимуют...

Человек оставался таким же бесстрастным и коченелым, точно все то, что кричал Жук, его совсем не касалось. Только глухо сказал через стол другому товарищу у стены:

— Товарищ Начкасов, найди дело Жука и отложи для пересмотра на сегодняшнем заседании комиссии.

Потом опять взглянул тусклыми глазами на Жука и в упор захлестал его чужими, тусклыми словами, как его бельма:

— Сейчас вы себе окончательно отрезали всякую возможность к обратному вступлению в партию, товарищ Жук. Вы в достаточной степени доказали, что вы — вредный, разлагающий элемент. Я ставлю вопрос об исключении вас навсегда. А если вы будете продолжать орать, я позову дежурного партийца из чона, и он вас выведет силой. Оставьте эту комнату.

И опять начал бесстрастно разбирать бумаги.

Ослепший, с сизым лицом, Жук лягнул челюстями. Увидел Сергея и, потрясенный, подошел к нему, точно искал защиты.

— Вот какие дела делаются здесь, Сережа, дорогой товарищ!.. Постоим, поглядим, поучимся настоящему делу...

Махнул рукою, убитый, и отошел в сторону.

Стоял у стены, против стола, Цхеладзе. Выкатывал огромные белки в кровавых подтеках и, не мигая, вглядывался в одну точку в ворохе бумаг. Не переставая молот челюстями, и густое молочко пены сбивалось в комочки на углах крепко сжатых губ. Сергей всегда видел его немым, и был он не виден в работе, а когда-то он два года был в зеленых и командовал отдельной группой и первый с боем вступил в город.

Он наткнулся белками на что-то острое, вздрогнул, шагнул к костлявому человеку. Растопырил пальцы и поводит ими по воздуху.

— Таварыш... Зачем шютышь?.. Давай сматрым сваим глазам... Зачем слава — давай дэло...

В глазах сухопарого вспыхнуло изумление.

— Я вам уже сказал, товарищ: вы исключены из партии за склочничество. Мне некогда шутить с вами. Жалуйтесь!

Цхеладзе опять застыл в прежней позе и опять заработал челюстями.

— Хе, вот они как дела делают, Сережа, дорогой товарищ!.. Гляди — вникай...

Сергей подошел к столу и справился о постановлении комиссии. Еще вчера нутром понял, что он — исключен. Не знал, за что, и если бы поставил вопрос прямо о мотивах исключения, не смог бы ответить, но твердо был уверен, что он исключен.

— Да, вы исключены.

— Какие мотивы?

— Я не могу сейчас читать вам протокол. Получите своевременно выписку и узнаете. Если недовольны, можете жаловаться.

И ни разу не взглянул на Сергея.

И как только услышал эти слова Сергей, сердце взорвалось около самого горла и тошнотной дурнотой стекло во внутренности. И не он, а кто-то другой в нем сказал хриплой икотой:

— Так ведь это же для меня — политическая смерть. Уясняете ли вы это себе, товарищ?

— Да, уясняю. Это — политическая смерть.

— Но за что же?

— Значит, были серьезные мотивы.

Сергей хотел уйти, но никак не мог сдвинуться с места: не слушались ноги — они были во много раз тяжелее его самого. За окном было не солнце, а красное зарево от пожара. И только подумал, что солнце так светит в знойную гарь, — увидел голубое небо и голубые громады станционных лабазов вблизи. Как отошел от стола — не заметил, и где стоял — не помнил.

Жук мял его руку и смеялся с занозой.

— Вот оно, Сережа, какая отличная работа... А predisпокома оставили, а Шрамма оставили, а Хапко оставили, а всякую свою пьяную лавочку оставили... Пляши, бюрократия!.. А Савчука вот из вашей ячейки выперли, Мехову выперли,



тебя выперли... Теперь им вольготно: дело пойдет ходором, в двадцать две горы... Ну, я ж им покажу, как рыбу удят рыбаки... я, брат, сумею потрясти им душу, как грушу...

Цхеладзе опять укололся и, вздрогнув, опять растопырил веером пальцы.

— Таварыш... Зачем шютышь?.. Зачем, скажи пожалста, пустой слава гаварышь?.. Давай сматрым сваим глазам, шьто пышишь...

И опять в изумлении вспыхнули глаза у коченелого человека. Он наклонился близоруко над бумагами и сказал устало сквозь зубы:

— Товарищ Начкасов, покажи Цхеладзе постановление.

Цхеладзе загрохал ботами к другому столу, и толстолицый член комиссии подал ему исписанный лист.

— Вот. Читай. Можешь по-русски?

И ткнул пальцем в середину листа.

— Паш-шел вон, мырзавец, сукын сын!..

Ошалело, с безумным накалом в глазах, он уперся в сизые шишки товарища Начкасова, и зубы зацелкали в неудержимой скрипучей дроби.

Не взглянул на бумагу. Отлетом взмахнул рукою и ударил себя кулаком около уха. Визгливо, пронзительно крикнул от боли и ужаса:

— Ты мэнэ чыстыл... вы мэнэ чыстыл... Я вас тоже чыстыл... Н-на!..

И комната взорвалась грохотом и дымом.

Цхеладзе лежал на полу. Из расколотого черепа выползала кровавая жижка.

Костлявый член комиссии сидел за столом с пылью на лице. Глаза его были слепые, выпуклые, в бельмах.

Сергей не помнил, как он вышел из комнаты. А когда очнулся, увидел около себя Жидкого. Он тыкал ему в зубы стакан с водою, орал и хватал воздух ноздрями.

— Пей, чорт тебя дери!.. Не реви, как баба... Пойми: ведь не здесь же решаются дела. Ведь есть люди и выше. Партком не оставит этого... Пусть меня вычищают из партии, но этого безобразия я не прошу...

Сергей сидел на диване и задыхался от рыданий...

## XVII

# ТОЛЧОК В БУДУЩЕЕ

### 1

«Будем крыть дальше!..»

Пуск завода назначен был в день Октябрьской годовщины. Торжественное заседание Горсовета решено было устроить в клубе «Коминтерн», чтобы связать его с торжеством первой большой победы на трудовом фронте.

Партийная чистка уже закончилась, но коридоры Дворца Труда задыхались от потных, ушибленных людей, от сырого бурого дыма, от угарной растерянности, от странно-настороженного и покорного ожидания. Люди сбивались в кучи с мокрыми косидами на лбу, бубнили придушенными голосами, но были одиноки и похожи на больных.

В Совнархозе и заводууправлении невидимо и спокойно уже несколько дней производила ревизию РКИ.

Шрамм попережнему сидел в своем кабинете с плотно затворенными дверями и принимал с 11-ти до 2-х. И там, за дверями, было тихо и строго. Аппарат работал так же сложно и многлюдно, мощно и спокойно, как и в прошлые дни. Только опрятные спецы были немного бледны, мутны, с тревожными пристальными глазами. И в сутолочной толпе служащих, склоненных над книгами и бумагами, не видно было ни волнения, ни испуга, будто совсем не было тут РКИ, и будто никто не знал, что такое — РКИ, и что такое — ревизия.

Глеб разрывался между заводом и заводууправлением. Он носился из корпуса в корпус, из цеха в цех, терялся в пыли,

в свалке материалов и грохоте работ и никак не мог вытерпеть, чтобы не схватиться за инструменты и не громыхнуть в работу. В слесарном цехе напоролся на скандал со слесарем Савельевым. А слесарь Савельев — один из старых рабочих — угрюмый бык, нелюдимый и молчаливый. Он часто отрывался от работы, рвел от кашля, выворачивал внутренности и плевал черной густой харкотинной. В такой час Глеб вырвал у него инструменты и оттолкнул плечом от станка.

— Что ты возишься здесь, к чортовой матери, как глиста в навозе? Чужому дяде работаешь, что ли?

Савельев, ошарашенный, пялил на него набухшие кровью глаза и задыхался от кашля.

— Не плевать должен, не моргать глазами и не сморкаться, а лопнуть... Нам каждая минута стоит дороже жизни...

Орал, гремел металлом, играл тискаами и весь был в лихорадке.

Савельев напер на него плечом, затряс бородою и харкнул в кулак.

— Да ты что же понимаешь о себе, бритая лахудра? Я сколь годов работаю у станка — и токарь, и слесарь, и чорт-батя, — а у тебя еще вошь — бледная немочь. Ты еще не сосал мамкину титьку, а я уж в грудях носил кучи опилок. А туда же — в командири и алё-потё...

— А начхать мне на твою бородатую паклю! Вас много найдется лодырей, чтобы закручивать волюнку и тыкать на свой рабочий стаж. Ты только о своей шкуре хорошо понимаешь, а общее рабочее дело и производство для тебя — собачий аркан...

И Савельев орал с кулаком наотмашку и был он похож, волосатый и нечистоплотный, на старого цепного пса.

— Губошлепы, мать твою... алё-потё!.. Сволочь!.. Мызгун!..

Рабочие, не отрываясь от работы, скалили зубы и завывали в восторге.

— Дай ему, Чумалову, в зубы, борода... бей!..

— Смажь его по седам, Чумалов!.. Приводи старичье в православие...

Глеб опомнился, брякнул инструменты на верстак и захохотал на весь цех.

— Тьфу, чорт меня дери, какой я дурак и оболтус! Не сердчай, друг... У меня руки чешутся, и я — бешеный, как стерва...

И побежал в другие отделения.

Ремонт печи и дробилки подходил к концу. Бремсберг уже был на ходу, и каждый день по несколько раз на электропередаче весело махали спицами колеса в разных наклонениях и пересечениях, и ролы на путях перезванивали по горам, как далекие кузнечные молоты. Только попрежнему молчала воздушная канатная дорога к пирсу, с застывшими в полете вагонетками, и тускло горела ржой предохранительная сетка. И башенные часы с белым саженным циферблатом, не работавшие три года, опять закрутили свои стрелы, и по ночам; освещенные дуговыми фонарями, четко чеканили время за целую версту.

В бондарном цехе тоже шла подготовка к работам. Ремонтировали станки, очищали мусор и грязь, подвозили клепки на вагонетках из складов. Савчук, весь в поту и пыли, как чорт, горланил и матерился (бондаря — первые певуны и матершинники), и вместе с бондарной шатией барахтался в ворохах мусора и перегнивших стружек, в бунтах клепок и обручей.

Каждый день Глеб забегал в машинное отделение и здесь сразу делался другим. Спокойный густой небесный свет, блистающая чистота стекол, изразца и черного глянца дизелей с серебром и позолотой. И нежный певучий перезвон рычагов, молоточков и стаканчиков. Эта строгая и молодая музыка металла и ровный успокоенный блеск, в теплом запахе масла и нефти, мягко и властно ставили душу на место. Будто и в сердце стучали и пели эти нежные перезвоны. И все, что оставалось за этими стенами, было неважно и ничтожно, точно мусор, который надо было только убрать. А самое важное, полное огромного смысла, было только здесь, в этом блистающем небесном перезвоне, во вздохах черных алтарей, крепко поставленных в тесные кварталы. Долго смотрел из-за латуниной ограды на гигантские маховики, легкие в полете, на рыжие широкие шкивы, которые крылато струились и трепетали за маховиками как живые. И здесь, около маховиков, неуловимых в движении, было тревожно от их безмолвия, только влажные горячие волны полыхали в лицо, в руки и в грудь и потрясали Глеба глубинным дыханием. Очарованный, он терял сознание,

растворялся в этом чугунно-пернатом полете, в горячих воздушных волнах, и стоял без времени, без дум, без опоры, без расстояний.

И всегда пробуждал его к жизни Брынза. Он брал его под руку и молча отводил к застекленной стене, где бездонно голубел между дымами далеских хребтов морской и воздушный простор.

Уже опять не тот был Брынза, который встретил его по весне. Была та же засаленная кепка лепешкой над носом, тот же нос, похожий на кепку, те же грязные острые скулы и подбородок и бурые усы мокрыми тряпочками. Но глаза были уже холодные, немигающие, с серебром и позолотой, как дизеля. Уже не кричал и не надрывался больше, а чутко прислушивался к звону и шопоту машин.

И разговор всегда начинался так:

— Ну, командарм?

— Ну, милый друг?

— Ну, а дальше?

— Будем крыть дальше, Брынза!

— А шеи не ломаем?

— Да ты что? ошалел, что ли? В партию надо тебя, подлеца: это будет тебе крепкая пробка.

— Ну, ты, командарм, проваливай с своей партией к дьяволу в зубы. Что такое — партия, если для меня существуют только машины? Есть партия, есть и машины. Я не знаю, что такое — партия, но я знаю, как живут машины. Раз есть машины, они должны неизбежно работать. Я не люблю болтунов. Гуляй своей дорогой, командарм.

Он обрывал слова и ровным упругим шагом, немного сутулый, не оглядываясь, нырял в сумеречные переулки между дизелями и больше оттуда не возвращался.

Однажды, при осмотре ремонтных работ внутри корпусов, седых от цементной пыли, под грохот, суету и крики рабочих, Глеб встретился с инженером Клейстом. Необычно пристальный его взгляд уже не раз удивлял Глеба. Эти глаза утомленно горели волнением и тревожным вопросом. Инженер Клейст мягко взял его под руку, и они молча вышли на виадук. Плечо в плечо провнли на площадку, к ажурной вышке, где они встретились

памятным вечером. Вправо, внизу, чавкали дизеля, и низкими струнами пели, скрытые в недрах, динамо-машины. На крышах корпусов ползали кукольно-маленькие скрюченные фигуры рабочих. Галками кричали железные листы, и молотки били дрябло, как барабаны. И окна зданий не чернели уже провалами вырванных рам и дырами разбитых стекол: они жирно переливались небесной синью, тусклыми огненными шматками и зеркальными оттенями.

Воздух был по-осеннему прозрачный и звонкий и по-летнему горел солнцем и зеленью, и над заливом, в ослепительных искрах, белыми вихрями реяли чайки. И всюду — и в воздухе и под ногами, в каменных породах — дрожал далеким прибоем невнятный подземный гул. И тут же, очень близко, неизвестно где, пронзительно сверлил железом ржавый блок.

Гигантскими голубыми цилиндрами трубы взлетали в высь на восемьдесят метров. Не они ли это трубили своими холодными жерлами о преисподнем огне?

Глеб трепанул по плечу инженера Клейста и засмеялся.

— Ну, как, товарищ технорук? Выходит так — коли дурак сказал: я — сила, он уж — не дурак, а только пол-дурака; а коли он кроет почем зря — он уж тогда умный дурак. Мы, коммунисты, мечтаем хоть по-дурацки, но очень неплохо, товарищ технорук... В день годовщины Октября мы с вами здорово грохнем всю эту машину с огнем и дымом.

Инженер Клейст натужно улыбнулся сквозь судорогу в лице и, не теряя важности в поставе фигуры, крепко пожал руку Глеба.

— Я прошу вас, Чумалов, забыть мое тяжкое преступление перед вами и другими рабочими. Сознание, что я когда-то отдал на смерть и на муки людей, не дает мне покоя...

Инженер Клейст с ужасом и надеждой смотрел в лицо Глебу и не мог удержать дрожи в руках, а голову твердо поставить на место.

Глеб сразу метнулся глазами на инженера Клейста, и в них дрогнули и рассыпались угольки. Лицо осунулось до мертвенной неподвижности и стало упрямым и страшным, как у трупа. Это было только на одно мгновение и исчезло в оскале зубов.

— Товарищ технорук, что было — то было. Тогда люди держали друг друга за горло. Но вы вспомните другое: если бы

вы не спасли мою жинку, от нее не было бы сейчас и костей. А теперь вы — наш работник, великая голова и золотые руки. Без вас мы ни черта бы не сварганили... Глядите, какую работу проделали мы под вашим руководством...

— Голубчик Чумалов, я отдам все мои знания, весь мой опыт, всю мою жизнь нашей стране. Для меня уже нет иной жизни, как с вами, и нет для меня иного творчества, помимо борьбы за создание новой культуры.

И впервые увидел Глеб, как глаза инженера Клейста залились слезами, и за слезами, в глубине глаз, колыхнулись невиданные раньше волны. Они были больше его глаз, больше его самого...

Глеб пожал его руку и засмеялся.

— Что ж, Герман Германович, будем друзьями...

— Да, будем друзьями, Чумалов...

И он ушел твердой походкой, опираясь на палку.

## 2

### П е п е л и щ е

Даша не ночевала дома с первых же дней после чистки — перекочевала к Меховой. А поселилась у Меховой потому, что получила от нее такую записку:

«Я чувствую, что очень больна, Даша, хотя хожу, ем, разговариваю — вообще по внешности со мною ничего не произошло. Но я ничего не вижу, не осязаю. Днем я — затравленный зверь, а ночи — сплошные кошмары. Пройдут еще сутки, и я, кажется, не выдержу. Несомненно, я — больна. Только ты одна можешь поддержать и выправить меня. Как друга, прошу тебя: поживи со мною — помоги мне собрать разорванные куски и стать на ноги. Я сижу сейчас у Сергея (полночь) — каждую ночь сижу. Он — очень устал, но по-прежнему бодрый, мягкий, ласковый и ухаживает за мною, как за ребенком. Он готов не спать ради меня целую ночь. А когда я ухожу, он провожает меня не через коридор, а через дверь в мою комнату. Я боюсь, что он надорвется и свалится. В душе у меня зреет какая-то перемена. Какая —

не знаю, а знаю одно, что стоит тебе побыть со мною несколько дней, и все опять будет хорошо—все будет опять на своем месте».

И Даша в тот же вечер, с узлом под мышкой, ушла в город той же бегущей походкой, как она ходила обычно по делам женотдела. Домой она пришла только за постелькой и с Глебом не стала пить вечерний чай.

— Ну, ты, Глеб, хозяйствуй и прохладжайся один, а я забираю монатки и живым манером — айда...

Глеб выпучил изумленно глаза и встал с табуретки.

— Опять двадцать пять... Да подожди: ты мне ничего не сказала: куда — монатки, и где — айда?..

— Коли будет свободный час, забегай к товарищ Меховой. Будем с нею жить вместе. У товарищ Меховой разболтались гайки: надо ее починить и смазать.

— А сколько дней ты будешь слесарить товарищ Мехову?

— Не знаю. Побежит кобылка в упряжке, значит опять с ней будем в паре. Надо сделать, чтобы товарищ Мехова не вышибалась из партийных рядов.

— Да, это — верно. С этой чисткой здорово поголовотяпали...

— Ну, пошла! Ты меня, Глеб, все же не жди скорым маршем: не знаю, как обернется.

Они попрощались за руку и смущенно замолкли, и в их улыбках дрожали недосказанные слова, а глаза убегали от глаз, отуманенных неукрытым вопросом. Молчали, улыбались, стояли рука в руку, хотели сказать застрявшие в сердце слова и — не могли.

— Ну, пошла...

— Ну, что ж... качай, ежели надо...

Он проводил ее до калитки, а за калиткой опять взял ее руку. И все улыбались и молчали. И чувствовал Глеб, что Даша уходит не просто, как уходила обычно на работу или в командировку, в отъезд: Даша уносила с собою навсегда все прошлые годы. Может быть, Даша больше уже не возвратится; может быть, сейчас вот, у этой калитки, в этом последнем ее взгляде — вздох о минувшем и радость перед новой дорогой. Уж не может он сказать ей властного слова:

— Даша, я не позволю тебе итти: ты мне — нужнее, чем товарищ Меховой. Без тебя нет теплого уютного гнезда, и постель без тебя будет холодной и грязной.



Нет у него власти на такие слова, потому что эту власть она, Даша, отняла у него и превратила в пыль. И не просто баба стояла перед ним сейчас, а равный ему по силе человек, который взял на свои плечи все тяготы этих лет. И не просто жена была Даша, а женщина с мужичьей хваткой, без прежнего домашнего глаза, без былой привязанности к мужу и логовищу. Вот она сейчас уйдет и, может быть, не вернется, и будет ему так же далеко, как и другие женщины. Ну, что ж! Жили они до сих пор в одной комнате, спали сначала раздельно, а потом — на одной постели. Но ни на один миг не мог забыть Глеб самого главного — нет прежней Даши: есть иная, новая, которая завтра может уйти и больше не вернуться никогда.

Порвалась последняя нить их супружеской связи — Нюрка. Умерла дочка, маленькая Нюрка, и были дни, когда общее горе крепко слило их души в одну через слезы и боль, и эти дни были похожи на прежние дни их любви. Была чистка, настали дни больших забот: у него — по заводу, у нее — по женотделу, и когда они встречались ночью в своей камере — чувствовали, что смерть Нюрки была последней встряской в их жизни. Нужно было по-иному строить судьбу: уже не было часу для мечты о личном счастье. Это казалось ничтожным, стыдным, вредным для дела. После чистки заболела Мехова, и на Дашу возложили временное заведывание женотделом. А в Парткоме, при встречах с нею, все говорили:

— Ну, вот... Даша теперь на своем месте... Даша будто всегда была завженотделом...

И ей и всем было ясно, что она скоро из «врид» превратится в настоящую «зав».

И вот сейчас расставался с ней Глеб и хотел сказать ей какое-то большое слово из души и — не мог: не знал, что сказать, а сказать нужно было обязательно сейчас. Не скажется сейчас — не скажется никогда. И боялся сказать: Даша умела слушать его слова — она была к ним чутка и пристальна, — а на слова его она всегда говорила свои слова, и эти слова ее были не такими, какие хотелось слышать — они били слишком больно...

— Ну, качай, Дашок... В нашей домашней жизни я ничего не понимаю... Какая-то у нас чертовня... Хоть начинай сначала...

Даша оторвала свою руку от руки Глеба, взглянула на него в испытке и сморщила лоб.

— А что же понимать, Глеб? Такой, как допреж я была, — мне не бывать. И бабой для постели я не гожусь. Коли хочешь — можешь устроиться, как тебе надо: можешь взять себе бабу по вкусу и силе... Дур еще много на свете...

— Вот чорт возьми!.. Скажи просто, что больше не любишь и — крышка...

Даша морщила лоб, и глаза ее туманились тревогой.

— Ну, а если я скажу тебе, что это — правда, Глеб: скажу вот — не люблю тебя больше?

Глеб растерянно усмехнулся и обжег губы сухим языком.

— Тогда и я скажу: крышка — дошло до точки. Тут уж ничем не поможешь: ни насильем, ни лаской. Буду страдать в одиночку. А что не любишь ты меня, так это — брехня...

— Не знаю, Глеб: может, я никого не люблю, мужиков... а может — люблю... Тебя люблю, Глеб: это — верно... а может, люблю и других... Не знаю, Глеб... Все порвалось, все спуталось... Надо как-то по-новому устроить любовь... Ну, я пошла, Глеб...

Слюна высыхала во рту, и сердце сжимала тоска. Позади — пустая дыра в пауках, а впереди — дорога, по которой пошагает Даша.

— Ну, иди, Дашка, а то устрою скандал...

И не успела отойти Даша несколько шагов, вышла из своей калитки Мотя. Она шла сырой утиной походкой, с огромным животом и туго налитыми грудями. Лицо было в бурых пятнах, и глаза — в синих кругах, покорные, раскрытые внутрь, утомленно суровые. Она издали махнула рукою и оскалила зубы в улыбке.

— Ну, ну!.. Замахала шагалками, холостая... Муж — хоть куда, а ты и в невесты не скачешь... Ой, и наколошматила бы я тебя по загривку!.. Бабе детей надо рожать, а она гуляет чертякой... Она, видишь, от мужа ухлестывает со своим бараклом... Я бы всех баб твоих прикрутила арканом к мужней кровати и приказала бы: роди, сукина дочь!.. Ничего тебе больше не надо — знай одно: спи с мужем и роди... будь богатая мать... Вот оно, мое брюхо: теперь буду носить кажин год, — так и знай... Я буду баба, а вы — сухопарые галки...

Даша подошла к ней, обняла свободной рукой и засмеялась. — Уф, и чортова же ты квочка, Мотя!.. Поглядишь на тебя — завидки берут: не баба, а утроба...

И пошлепала ее ладошкой по брюху.

— Ага, то-то!.. Приду к тебе в твой проклятый женотдел, заголюсь, стану посередке и буду кричать: подходи, бабы, кланяйся, целуй прямо в пуп: я — богородица!..

Обе смеялись, и Глеб смеялся.

Даша шла к пролому в стене по дорожке в бурьяне, с постелькой под мышкой. Ждал Глеб: вот оглянется Даша и махнет ему рукою. Не оглянулась. Красная повязка мелькнула раза два в распахе пролома и потухла за бетоном. Каждый день уходила Даша. Каждый день приходила поздним вечером. Часто бывала в командировках и пропадала ночами и днями. Было еще неспокойно в казачьих станицах: шайки бандитов бродили по горам и камышевым зарослям в балках, и ее поездки нудно лежали на сердце. Но вот сейчас сразу все оголилось, стало все скучным и чужим: и его камора, и улочка в палисадниках, и эта стена, которая отрезала от него Дашу и обвалилась вокруг него тюремной оградой. Зачем теперь пустая плесенная комната, зачем палисадник и дворик в две квадратных сажени? Даша ушла с постелькой под мышкой, ушла — не оглянулась, и говорила с ним странным, чужим языком. Даша ушла и, может быть, не вернется. Нет Даши, и он — один. Умерла Нюрка. Нет Даши, нет Нюрки: он остался только один. Чортова жизнь! Она — как дробилка: хрумкает все — и судьбу, и привычки, и любовь...

Мотя смотрела на него сбоку, по-куриному, и в глазах ее, затруженных материнством, налитых нутряной радостью, искрами дрожали слезы.

— Ой, Глеб!.. Как же мне от вас, милых, прискорбно!.. Какая же несчастная доля!.. Даша для дома пропала!.. Ее нет, Глеб... Сгилла ваша дочечка Нюрочка... И ты — как бугай... без семьи и без теплого места... Теперь ты не жалуйся, Глеб... Коли пошли по огню — понесли сами огонь... И Нюрочка меж вами вспыхнула пылинкой... Ой, как же мне вас жалко, Глеб!..

Он отвернулся от Моти и стал набивать табаком трубку.

— Ничего, Мотя... Огонь — не плохая дорога... Ежели знаешь, куда шагают ноги, и глядят глаза, — разве можно

трусить больших и малых ожогов? Мы — в борьбе и строим новую жизнь. Все хорошо, Мотя, — не плачь. Так все построим, к чортовой матери, что сами ахнем — будет час — от нашей работы...

— Ой, Глеб! ой, Глеб!.. Нароботал в своем гнезде на свою шею...

— Ова, построим новое гнездо, Мотя... В чем дело? Значит, старое гнездо было плевое... Ну, как? скоро родишь?

Она засмеялась одними глазами, и в лице ее кровью затрепетало счастье.

— Ну да!.. Через месяц, Глеб... Ты будешь кумом — так и знай...

— Ого, это — здорово!.. Это нашему козырю в масть... Только уговор такой: как увижу попа — посажу его в вагонетку и спущу по бремсбергу в дровяной склад. Ну, и сварганю же я твой родильный праздник, Мотя, — шишки завоют... А твоего нового человека сделаем почетным рабочим...

Мотя счастливо смеялась, а Глеб пошел не домой, а вниз по улочке, к заводским корпусам.

### 3

## Н о р д - о с т

Конец октября обрушился событиями.

Ночью 28-го был арестован Шрамм и немедленно отправлен в краевой центр. В эту же ночь были произведены аресты среди спецов Совнархоза и заводоуправления. А 30-го партийцы взбодражились. Жидкий отзывался в распоряжение Краевого Бюро ЦК, Бадьин назначался краевым предсовнархозом. Предчека Чибис перебрасывался куда-то далеко в Сибирь.

Этих событий ждали давно: об этом говорили в тихих беседах, передавали глухие слухи и волновались. Знали, что — будет, и каждый новый день был насыщен смутным ожиданием. Но все эти события потрясли внезапностью и тем, что они совершились.

Каждое утро, в обычный час, Сергей шел в Партком, с расстрепанным портфелем, с голой лысиной, — шел сосредоточенной сырой походкой, сутулый, с неугасающим вопросом в глазах. Каждый день он точно и пунктуально выполнял партийные задания, работал по агитпропу, по политпросвету, не пропускал

ни одного заседания, где присутствие его было не обязательно, и никогда ни с кем не говорил о своей судьбе — о чистке, о своем исключении, о хлопотах по восстановлению себя в партии, точно все это было совсем неважно, а важно и неотложно было только то дело, которое он должен был выполнить по намеченному плану. И с того часа, когда он был в комиссии по чистке, он ни разу больше не заглядывал туда, не ходил ни к кому из ответственных товарищей за помощью, не волновался и не жаловался. Только голова его в красной лысине и длинных кудрях стала будто больше и тяжелее, и в глазах, сквозь рыжую влагу, лихорадкой неугасимо горело страдание.

Он получил на руки коротенькую выписку из протокола комиссии и прочел ее так же внимательно, как читал все другие бумаги.

#### С Л У Ш А Л И:

Ивагин, Сергей Иванович, член РКП (б) с 1920 г., партбилет № . . . . , бывший меньшевик, интеллигент.

#### П О С Т А Н О В И Л И:

Исключать как типичного интеллигента и меньшевика, разлагающе действующего на парторганизацию.

Выписку принесла Даша. Он сидел за столом в агитпропе и старательно работал над тезисами для докладов в ячейках по вопросу о рабочей кооперации. Даша пристально, в испытке смотрела на него, и брови ее вздрагивали у переносья: она впервые удивилась Сергею—почему он так спокоен и беспечен? Почему он молчит и думает о чем-то другом?

— Товарищ Ивагин, надо немедленно обжаловать. Шлеватьскую тактику — по-боку. Надо бить раз за разом до самых верхов.

Он улыбнулся ей влагой в глазах и вынул из портфеля мелко испанную четвертушку бумаги.

— Я уже обжаловал, товарищ Чумалова. Это у меня — копия на память. Я передал Жидкому. Партком ходатайствует с своей стороны.

— Если тебе надобно насчет отзыва, я напишу в одну минуту, товарищ Ивагин. Это — головотяпство: тебя и товарищ Мехову нельзя исключать.

— Если ты находишь, товарищ Чумалова, что это — необходимо, напиши и передай Жидкому.

Он встал со стула и, сквозь стыдливую улыбку, протянул руку Даше.

— Но я ни на одну минуту не забываю, что я — коммунист, член партии, который свою работу должен выполнять без перебоев.

— Это так, товарищ Ивагин, но ты должен бить, тормозить, а не сидеть на стуле.

— Пока в этом нет нужды. Если же потребуется — встану со стула и пойду куда следует.

Даша опять пристально взглянула на него, и опять у нее брови дрогнули от удивления. Она усмехнулась и быстро вышла из комнаты.

На-днях Полю отправили в санаторий. С тех пор, как поселилась в ее комнате Даша, Сергей не заходил к ней. Она не звала его и не отворяла двери в его комнату. Она забыла о нем, и его бессонные ночи угасли в ее памяти. Он часто слышал прежний смех и звонкий голос, и голос ее переплетался с голосом Даши. Одинокó шоркал тяжелыми ботами, и было грустно ему вдвоем с своим сердцем, а в душе дрожала радость, что в комнате Поля опять играли колокольчики.

Значит, нужно одно: партия и работа для партии. Личного нет. Что такое — его любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое — его вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это — отрывка проклятого прошлого. Все это — от отца, от юности, от интеллигентской романтики. Все это должно быть вытравлено до самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно — партия, и все, до последнего волоса, должно быть отдано партии. Будет ли он восстановлен, или нет — это не изменяет дела: его, Сергея Ивагина, как обособленной личности, — нет. Есть только партия, и он — только ничтожная частица в ее великом организме.

В этот день он еще раз пережил прежние боли.

В комнате Жидкого было необычно тихо и душно, а сидели тут: Бадбин, Глеб, Даша, Лухава и Чибис. И потому, что все они сгрудились в кучу плечом к плечу, Сергей отяжелел от тревоги и предчувствия взрыва. Все были деловито-серьезны и холодны, и вопросы разрешались без прений. Сдержанно бубнил только один голос Жидкого:

— Против плана нет возражений? Принято. Итак, план празднования в окончательном виде таков: с утра отряды манифестантов собираются по районам...

Лухава выбросил руку и грубо оборвал Жидкого:

— Не надо! Все это мы знаем наизусть. Дальше.

Глеб встал со стула и тоже протянул руку к Жидкому.

— Брось, Чумалыч: вопрос исчерпан. Не о чем больше говорить. Крышка!

— Как это так — крышка? Я все-таки протестую против пункта: чествование героев труда. Это надо вышвырнуть. Какие герои труда? Какие это великие подвиги совершили, чтобы — в герои труда? Глушить надо, товарищи дорогие... Я не только о себе говорю... Прошу записать мое особое мнение...

— Чумалыч, не может быть никаких особых мнений... Что ты городишь чепуху?.. Олух ты этакий!..

Чибис сидел, как обычно: не то дремал, не то отдыхал, мечтая, не то думал о чем-то своем, чего он никогда не скажет никому.

Бадьин опирался грудью о край стола и молчал, глухой и тяжелый: толкни — не столкнешь, ударь — не почувствует удара. А Даша усмехалась, и лицо ее вспыхивало румянцем. Будто порывалась крикнуть, будто дрожала от ожидания: вот-вот скажется то самое слово, которое брякнет скандалом.

Бадьин, со скрипом в коже, переместил каменную голову на плечо и с черной мутью в глазах посмотрел на Глеба. Отвалился на спинку стула и положил ладонь на его грудь.

— Это у тебя — что такое?

И похлопал пальцами по ордену Красного Знамени.

— А это — то самое, которое...

— Ну, и не притворяйся, пожалуйста, таким строгим спартанцем. Если бы ты был, скажем, Сергеем Ивагиным, стыдливым интеллигентом, — тогда было бы понятно и правдоподобно. А к тебе это совсем не идет.

Лицо Глеба надулось кровью, и глаза стали мокрыми. Он грохнул ботами и отшагнул от Бадьина.

— Я, товарищ predisполком, прошу мне не указывать. Я желаю подчеркнуть: чинодральство это ваше надо жечь каленым железом. Если мы будем строить все на побрякушках

и бить пустой болтовней, мы здорово нароботаем, к чортовой матери. Я возражал и буду возражать против предложения товарища Бадьина и товарища Лухавы. Если товарищу Бадьину так нужно, пристегните ему героя труда в партбилет: пусть едет дальше командовать с этой новой нашивкой.

Жидкий стучал карандашом по столу и раздувал ноздри, будто сдерживал смех, который раздирает ему легкие.

— Конечно, конечно, товарищи!.. К порядку!..

Лухава остро, с огоньком смотрел на Глеба и Бадьина и смеялся весело, по-мальчишески пискливо.

И впервые в мутных глазах Бадьина увидел Глеб чугунную ненависть. Тогда, весной, в его глазах так же мутно наплывала густая волна, но там было другое: там была настороженность и вражда к его силе. Тогда было любопытство и что-то другое, чего он не мог понять — тяжелое, нечеловечье, живущее в крови. И сейчас так же, как и весной, в час первого свиданья с ним, Глеб почувствовал потрясающий удар до глухоты в ушах.

— Глеб!.. Очухайся!.. Ты же не с цепи сорвался?..

Даша смотрела на него строго, с дрожью в веках, с криком в зрачках. И когда Глеб увидел эти ее глаза и обледневшее лицо, сердце его обожглось прежней болью и яростью. Даша... Бадьин... Даша, его жена... Она была с ним тогда, в станице... Бандиты в ущелье... Ночь в одной комнате и на одной постели... Тогда Дашины слова не были шуткой... Даша и Бадьин... И он, бессильный в своей силе...

Жидкий опять стукнул карандашом по столу и оскалил зубы.

— Да к порядку же, чорт вас подери!.. Успокойся, Чумалыч! Все решено и кончено.

Чибис шурился и, в пыльной улыбке, молча смотрел сквозь ресницы.

— Садись, Чумалыч! Выдержанный член партии, а валяет дурака. Садись!

Бадьин попрежнему мутно глядел на Глеба и сидел неподвижно, вылитый из металла.

— В чем дело, товарищ Чумалов?

Глеб задохнулся и сунул кулаки в карманы. Никак не мог справиться с сердцем: оно заполняло всю грудь, надувалось



и лопалось, замирало и обжигалось кровью, и от неудержимой дрожи коченели и руки и ноги. В окно видно, как море горит огненным мыльным пузырем, горит воздух—он в вихрях искр, и небо горит, и облака—тоже горящие вихри. Нужно, чтоб все разорвалось в душе, чтоб грохнуло и разметалось в пыль. И оттого, что не было уже воли над собою, Глеб взмахнул кулаком и всей грудью рывкнул от наслаждения:

— Бабник!.. кобель, сукин сын!..

А Даша вцепилась в его плечи, и глаза ее зеленели, как у совы.

— Глеб!.. Ты очумел и окачурился, Глеб... Стыд и позор, Глеб!..

Все стали вдруг маленькими, растерянными и оглушенными. Только Чибис сидел попрежнему прищуренный, со скрытой улыбкой в ресницах, дремотный и скучающий.

Бадьин с ленивой тяжестью опять навалился на стол и сказал спокойно и холодно, как у себя в кабинете:

— А-а, только-то? Напрасно ты не устраивал за мной слежки, как покойный Цхеладзе: ты узнал бы больше. Даже Сергей Ивагин знает больше, чем ты... он—здесь, Сергей Ивагин: он может рассказать интересные вещи... Но он не решается, по своей стыдливости, делать скандал. Как видишь, ревность всегда близорука.

Даша, вся налитая гневом, стала между Глебом и Бадьиным, и в глазах ее уже не было ни тревоги, ни дрожи.

— Глеб не смеет этого барахолить. Товарищ Бадьин—очень замечательный и редкий работник. Глеб немного зашился в работе. Пустить в ход такого чорта, как наш завод,—это стоит того, чтобы покочевряжиться на три копейки... Проклятые мужики, они готовы рваться из-за безделицы, а в деле не развинтишь у них ни одной гайки.

Жидкий встал со стула и молча оглядел всех застывшими, слепыми глазами. Сергей, не отрывая глаз от Жидкого, пошел к нему навстречу, потрясенный и разбитый, хотел что-то сказать, но не мог выдохнуть слов. И вместо того, чтобы крикнуть Жидкому то, что рвалось из души, ссутулился, отмахнулся и вышел из комнаты.

Было холодно. С гор дул норд-ост, и воздух между морем и горами был необычайно прозрачен, весь насыщенный небесной

сиянью и солнцем. А над заливом огромными лохматыми вихрями из невидимых жерл выбрасывались облака. Над городом они разбивались на клочья и размытыми вихрями плыли к бурным далеким хребтам. Там, за городом, на взгорьях, густела в ознобе осенняя мгла, и вершины хребтов дымились тучами из лесных ущелий и каменных утесов. Только огненные пятна пламени на склонах гор и летали по отекам и ребрам, тухли в ущельях и вспыхивали в известковых обрывах. Здесь, между горами и городом, над заливом — прозрачная горящая синева и горы из хрустала, в четкой топазной огранке, и завод голубел гигантскими кубами корпусов, стрелами бездымных труб, ажурными вышками и арками канатной дороги. И только густые ослепительно-белые сугробы перекатывались через перевалы, выюгой бушевали по ребрам гор и таяли во впадинах, в каменоломнях и в солнце. Море дымилось метелью — снежной поземкой, безбрежной рекою, без волн, клокочущей пеной и брызгами, и между молом и пристанями, и у городских каботажей воздух вспыхивал полотнами радуг. А у бетонных массивов набережной волны взрывались огромными смерчами и седым ливнем хлестали по домам, по городу, по взгорьям, в осеннюю рыжую муть.

Как всегда, Сергей шел по панели набережной с открытой головой, и кудри его трепыхались руном и били по щекам и по лысине. Ветер с гулом и визгом (это — рев тысячных толп) нес его к городу, и Сергей шел легко, без усилий, без тяжести в ногах. Навстречу ему шли одинокие люди, согнутые под тяжестью ветра, и он не видел лиц, а только — мятые лепехи картузов и головы баб, туго обтянутые теплыми платками.

У каменных стен каботажей бултыхались турецкие фелюги и рыбацьи баркасы и чертили воздух верегенами мачт.

Его слов ждал Жидкий, а он ничего не сказал. Зачем он приходил в Партком, когда нужно было идти в политпросвет на заседание библиотечной комиссии? Да, вспомнил... Отца уже нет в библиотеке, и где он живет — не знает. Верочка недавно разыскала его, Сергея, и когда говорила, дрожала и не сводила с него слезно сияющих глаз.

— Сергей Иваныч!.. Иван Арсеньич... Ему так хорошо!.. Он — такой изумительный!.. Но он приказал... Он болен, Сергей Иваныч... И сказал, что вам не надо...

Она не сводила с него младенческих глаз, и Сергей не знал — плачет она или улыбается.

— Сергей Иванович!.. Если бы вы знали... Он умрет, Сергей Иванович...

И она, улыбаясь слезами, ушла, и когда он позвал ее, не возвратилась.

Не все ли равно, что будет с его отцом? Жизнь производит безошибочный отбор, и процесс этого отбора — неотвратим. Где его место в этой великой работе истории? Может быть, он будет раздавлен, а может быть, его душа ожелезится так же, как у predisполокома Бадьина. Удары этих лет так сильны, и дни так беспощадно жестоки, что старые раны кровоточат, а каждый новый час наносит новые царапины. Не все ли равно, что будет с ним, когда каждый миг требует его без остатка? Работать и только работать. Пусть — будни, но будни — ведь это мечта, переложенная на упорную трудовую повинность.

Восстановят его в партии, или нет — это неважно: это не изменит его судьбы. Он должен работать и только работать. Если он будет выброшен как сор — значит, так нужно для будущего, он все равно обречен для истории, как сила, как элемент великого процесса. Он связан неразрывными нитями со всем миром, со всем человечеством.

Девушка у борта волною прошла через его душу и осталась навсегда в его сердце. Где она? Не все ли равно: она глядит на него глазами, как полно налитый сосуд, и никогда не умрет, растворенная в клеточках мозга. Вот Поля Мехова. Она вросла в него через смех, через ядреную бодрость крови, через ночи, когда он без сна сидел у ее изголовья, — она любовью вросла в него навсегда, как боль, как тайная радость, как неугасимый огонь. Пусть не будет рядом Жидкого, Чибиса, Бадьина... Не будет Лухавы и Даши. Глеб пошагает каменным шагом по Республике под тяжестью трудового подвига. Ничто не изменит его предназначения: он, Сергей, — сила, он — жертва, он — необходимое звено в цепи великих свершений...

Внизу, под отвесной стеною массивов, плескались и хлюпали волны и высоко взлетали зелеными грохочущими фонтанами. Под стеной была широкая площадка для причала катеров,

и наплески волн мыли и шлифовали бетон. А у самой стены, на площадке, лежали вороха водорослей, мусора, раковин и мелюз. За эстакадой, где ветер кружился вихрями пыли, Сергей взглянул вниз и остановился.

У самой стены, на площадке, прибитый к мусору и водорослям, лежал трупик грудного младенца. Головка повязана красным платочком, ноги — в чулочках, а ручек не видно: заботливо запеленуты в белую простыньку. Трупик был свежий, и молочно-белое личико — спокойно, совсем живое, как во сне. Тут, между каботажами, — тихо, и волны плескались навстречу друг другу, отраженные бурей. Почему трупик младенца так бережно положен на водоросли? Откуда этот младенец с восковой нежностью в личике? На нем еще не остыла теплая рука матери: и в этом платочке, и в спеленутых ручках, и в крошечных чулочках в обтяжку на пухлых ступнях... Сергей глядел на него, не отрываясь, и ему чудилось: вот-вот откроет младенец глазки, взглянет на него пристально и улыбнется. Откуда он, этот дитенок, человечески-жертвенный до острой жалости? С погибшего корабля? Брошен в море обезумевшей матерью?..

Сергей стоял над младенцем и никак не мог от него оторваться. Прохожие в любопытстве подходили к нему, смотрели на трупик ребенка и тотчас же отходили. Они бормотали, спрашивали о чем-то Сергея, а он не слышал и не видел, кто подходил. Стоял и смотрел бездумно, с болью, с изумлением и скорбью в глазах; и чувствовал, как внутри у него кружится омутом вокруг сердца непонятная гнетущая тоска. И не слышал своих слов, которые говорились громко, сами собою, без участия сознания.

— Ну, да... Так и должно быть... Это самое и есть...

#### 4

### В о л н ы

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьян, члены завкома и инженер Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями — там, всюду, насколько охватывал глаз. Они были там, а он — здесь.

Тут, у самого основания вышки, длинной полосой — и вправо и влево — кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами в железных переплетах: знамя ячейки льется с барьера, сейчас же от Глеба, вниз и густо каплет кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоят Бадьян и Жидкий, — другое знамя — профсоюза строительных рабочих. И под парашютом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

«Мы победили на фронте гражданской войны»

«Мы победим и на хозяйственном фронте».

Головы и плечи кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и сизыми лицами, картузами и кепками, и всюду — и там и там — красными крыльями взмахивают плакаты. За ними не видно толп, а над ними, дальше, — опять толпы в движении и зыби. Над самым обрывом, на скале, — опять такие же толпы, и опять — знамена и плакаты. Они колышутся в водоворотах, по ребру и скатам горы — выше, выше, а там — опять знамена и плакаты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья, все еще текут бесконечные толпы. Там, далеко, музыка играет марш, а тут — нутряной животный гул, и дизеля грохочут и лязгают металлом. Гула и воя толп нельзя отделить от грохота машин. Брызга — прав: машины и люди, это — одно. Массы не могут молчать. Массы живут особой жизнью от единиц: они — в постоянном напряженном движении и всегда готовы к взрыву.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядревый и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там фырчал и пел мотором невидимый аэроплан, и шелковые нити паутинок плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб до боли в суставах сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Сердце надувалось кровью и заполняло всю грудь до удушья. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они где — не меньше чем за версту, на горе, — растекаются по бурому взгорью,

по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше. Так можно засыпать человеческим массивом всю гору до самой вершины...

Вон, недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он. Давно ли это было? А теперь вот он здесь: опять рабочий завода, да в придачу — в головке партийной братвы. Завод! Сколько положено сил, сколько было борьбы! Вот он, завод — богатырь и красавец. Был он недавно мертвец — чортова свалка, развалина, крысиное гнездо. А теперь — грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, курлыкают ролами бремсберги и звенят вагонетками. И завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная дистерна вращающейся печи, а вон из этой страшной трубы закрубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы все эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Он... Что он, Глеб, среди этого людного моря? Не море, а живая гора — камни, воскресшие людом... Ух, какая сила!.. Это — те, кто с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город — в дровах, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго. Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?

Были когда-то смертельные ночи и дни в боях, и было: дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это — давно, как далеко и ничтожно! Даша... Ее нет: она утонула в толпах, и ее не найдешь. Не все ли равно? Была Даша, и — нет ее. Все это — далеко и ненужно. И его — нет, а есть только непереносный восторг, и сердце, которое лопнет от крови. Рабочий класс, Республика, великое строительство жизни... К чортовой матери, мы ж умеем страдать, но умеем же чутать силу и радоваться!

В глубинах толп — грохот машин и далекий вой ветра в горах: это — топотала толпа, и песни — и тут и там — впереплет, впереклик, без напева, без слов.

— Чумалов!..

Инженер Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, в старческой седине, с сухими глазами, глубоко запавшими под надбровницы.

— Чумалов, я никогда не испытывал ничего подобного в жизни. Нужно очень много сил, чтобы перенести это...

Глеб взял его под руку и не знал, кто дрожит: он или инженер Клейст.

— Герман Германович, нас нельзя победить... Смотрите... Этого не забудешь никогда... Сейчас будем чувствовать вас, как героя труда...

Инженер Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, подрыгивая шляпой.

Толпы упруго волновались, текли внутри извилистыми струями, сбивались в плотные кучи. Колыхались и вздрагивали знамена и плакаты. Взрывы хохота потрясали воздух животным ревом, и под ногами Глеба дрожала досчатая настилка. Разрывалась гуща голов пыльными яминами, в пьяном веселье прыгали картузы и красные повязки. Пляс под всплески ладошек и визгливый речитатив. Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы.

Лошак и Громада тоже здесь, на вышке. У Лошака — все от антрацита: и горб, и лицо, и засаленная годами кепка. Лицо такое же, как в завкоме, — угрюмое, тупое, в обломках, только белки в рубцах и кровоподтеках надуваются, как пузыри. А Громада скрючился, будто в ознобе, и лопатки шоркают щепками под пиджаком. Лицо — желтое, лихорадочное, с острыми скулами. Спина и плечи поднимаются к ушам, и он дрожит и надрывается от кашля. Чортов Громада, на какой он держится жиле, когда он, Глеб, как былинка от этих лавин? А Лошака сам сатана не берет: ему работа только с своими горбами — на спине и груди — подлая ноша.

— Ну, как, братва?.. Громыхаем, чортовы ребята!..

Лошак выпучил на Глеба бычьи белки и натянул кепку на глаза.

— Гвоздуюем, болвашка... Верно!.. Поставили дело на попа, а упором бузуем на пузо... Так надо высказать, головешки...

А Громада замахаю руками, и все костяшки у него заходили ходуном.

— Вот именно, товарищи... Тут брось дискутировать... Как мы есть дали великолепное достижение, но я просто на своих ногах не стою, как эти рабочие массы доказуют свою пролетарскую сознательность и так и дале... Товарищ Чумалов... да ежели бы... эх!.. товарищи... тут — все и везде... и так и дале...

Глеб больше не мог стоять: хотелось прыгнуть с высоты в это море голов, хотелось заорать во все горло без слов, до надсады... Все равно: разве это все можно выдержать? Вот оно то, чем он жил все эти месяцы... Оно — тут, оно собрано в единую силу...

Он шагнул к Бадьину и Жидкому с судорогой восторга в лице.

Бадьин метнул на него холодными глазами. Плеснулась волною черная тень в зрачках и скользнула пленкой.

— Пора начинать, товарищ Чумалов. Сейчас я покрепче заверну на четверть часа текущий момент, а потом ты дерябни по самому сердцу. И сразу же подавай сигнал. Приветствия пустим после гудков.

Жидкий схватил Глеба за плечи и встряхнул его в пьяном порыве.

— Эх, Чумалыч!.. Дурень ты набитый!.. Жалко с тобой расставаться...

Бадьин замкнуто и холодно отвернулся от них и отошел к парашету, и Глеб опять больно почувствовал в каменном его поставе и в металлическом блеске кожи суровую отчужденность, а в стеклянном блеске глаз — тусклые бельма вражды. И опять сердце вздрогнуло от глухого удара.

Он отошел по диагонали назад. Внизу, по шоссе, все еще шли густые колонны с знаменами, и за ними, в серых бетонах, гремели и потрясали воздух оркестры, топот и песни.

... Вот человек, с которым он не может стоять на одной земле. Бадьин стоит один, опираясь руками о перила, и плечи его поднимаются выше затылка. Он смотрит вниз, на толпы, на гору, живую от человеческих масс, и в упругих движениях его мускулов, насыщенных здоровьем, в зорких поворотах головы, в небрежной его обособленности, — сознание своей силы, значительности и гордости вождя.

— Карьерист!..



Глеб до боли сжал зубы, и у него хрустнуло в салазках.

... До сих пор еще дрожало нутро от пережитого в Доме Советов.

Вскоре после ухода Даши он забежал мимоходом взглянуть, как им вдвоем с Полей дышится. В коридоре была певучая пустота и дремотный полусумрак (на лестнице, над дверью, часы отзвонили 11 ночи). Глухо и уютно рокотали голоса внутри комнат. Где-то очень далеко звякала чайная посуда, и шумели примусы. В конце коридора мутно горел огненный квадрат на стене. Это настезь была открыта дверь в комнату Чибиса.

За дверью, в комнате Поли, была тишина. Глеб не успел постучать: быстрые, испуганные шаги зашлепали к двери (должно быть, Поля была босиком) — и тихий надорванный вскрик:

— Кто тут, ну?

Дверь открылась широко, со всего размаху, и больно ударила Глеба по плечу.

— Тьфу, будь ты неладная! Так же можно искалечить человека... Самый вредный элемент — это бабы...

В комнату нельзя было шагнуть. Мехова стояла на пороге, бледная, слепая от страха, с застрявшим криком в раскрытом рту.

— Глеб...

— Да ты что, девка?.. Бандит я, что ли?.. Вот недотрога... Ну, как прыгаешь?.. Давно тебя не видал... Где же Дашка?

Он шагнул к ней и поднял руку, чтобы ласковой обнимкой столкнуть ее с порога. Она сразу повяла, прислонилась к косяку и жалко улыбнулась.

— Ах, Глеб!.. Как я испугалась... Даша сейчас придет!.. После того, что я пережила, Глеб, я точно... потеряла себя... Было бы лучше, если бы ты не приходил... Почему ты не поддерживал меня раньше?.. Я больна, Глеб... Не приходи сюда больше: это мне мучительно... Точно я попала в крушение и задавлена обломками...

Глеб, смущенный, смотрел на нее и не знал, что сказать. И не чувствовал к ней ни былой нежности, ни участия: слишком она была жалка и беспомощна. Не было в ней больше прежней жизнерадостной кудрявой женщины. Когда-то через сердце плеснулась хмельная волна. Она отхлынула и унесла с собой Полю.

— Мне нужно уехать, Глеб, — отдохнуть и собраться с силами. В мужчинах много страшного, Глеб. Теперь мне кажется, что в каждом из вас сидит Бадьин... Не смотри на меня так: это — не ты, а Бадьин... Иди, Глеб, пожалуйста... Не сейчас, а потом... в иной обстановке... Почему ты тогда не дал мне того, что я хотела?.. Может быть, этого бы со мною не было...

Она засмеялась радостным колокольчиком, и в этом смехе Глеб услышал слезный надрыв и нежную радость, как у дурочки.

— Вот она, Даша!.. вот она!.. Возьми его пожалуйста, Даша, и уведи подальше... Скажи ему, чтоб он больше сюда не заглядывал...

Даша взяла его за плечи и оттолкнула от двери, а дверь осторожно и плотно затворила за Полей.

— Ну-ка, вояка... Шасть до дому — тебе здесь нечего делать...

Хоть и засмеялась в бабьей игре, но рука была неласковая и чужая. В душе была обида, и было пусто в ней и пыльно, как в своей заводской камере.

— Ну, вижу: каши с вами не сварить... Ты что ж? Выходит, обосновалась здесь на крепкую ногу?.. Мое, значит, дело здесь — совсем табак? Закручено здорово, Дашок... А когда же все-таки домой?

Она дрогнула нутром — отразилось в лице и в глазах — и мучительно сморщила лоб. Не сразу ответила, и в этот короткий момент ее молчания Глеб увидел, что в душе ее схватились зубами две силы.

Она вскинула голову, и лицо ее вспыхнуло бледной маской. Повязка сползла на затылок, и глаза переливались твердой огранкой. И если бы она не ответила, все равно Глеб знал бы, что она скажет.

— Да, я обосновалась, Глеб... Так надо... Это лучше для меня и для тебя... Не жить нам с тобою вместе, Глеб... Мы должны строить иначе свою судьбу...

Сердце его ошпарилось кровью, он оглох и задохнулся от бешенства.

— Так. Теперь будем знать окончательно... Я это чул уже раньше. Только канителились и валяли дурака. А Бадьин — мерзавец и бандит. Я его все же пришью, будет час... Он

съел и тебя и Мехову... Нам с ним жить нельзя одновременно... Это — ясно...

— Глеб, ты же — глупый и бешеный бык... Ты не знаешь, что буднишь... Иди домой и очухайся... Ты размышляй мозгами, а не утробой... Товарищ Бадьин столь же виноват, как и ты... Это знай... И не при чем тут ни ты, ни Бадьин...

Он грузно повернулся на каблуках и пошел назад по коридору. Сделал несколько шагов и вспомнил: не сказал самого главного.

— Ты пойми: я теперь — бездомный барбос. Всю душу вложил в завод, — и завод и ты взяли мою кровь... Все мы живем — только живем половинками... Уеду в армию...

Даша подошла к нему, встревоженная, с ласковой улыбкой, и в ней блеснули прежние девичьи слезы. Она застенчиво погладила его по плечу и вздохнула.

— Ведь не наша же вина здесь, Глеб... Прежнее сгибло без возврата... Будем строить новую жизнь... Придет время, и мы построим себе новые гнезда... Любовь остается любовью, Глеб, только она требует новой увязки... Перегорит все, утрясется, а мы поразмыслим, как быть и как завязать новые узлы...

С красными кругами в глазах и ноющей болью в груди он опять повернулся на каблуках и шагнул по коридору. Застыл на первом же шаге: глаза в глаза встретился с Бадьиным. Он стоял в дверях своей комнаты и смотрел на Глеба в хмурой усмешке. Стоял прямо, поблескивая кожей тужурки, с руками, глубоко засунутыми в карманы.

— Заходи. Ты еще у меня не был ни разу. Мне хочется с тобой поговорить по душам.

Глеб, парализованный, стоял перед ним и не мог оторвать своих глаз от его лица. Ледяная струйка дрожала где-то глубоко в животе и разливалась по рукам и ногам. И, помимо сознания, пальцы судорожно елозили по поясу, по бедрам, по кобуре и не могли никак остановиться.

— Не там шарить, где нужно. Револьвер — на месте, можешь не беспокоиться: кобура застегнута хорошо.

И в последнем его взгляде, за мутью в зрачках, Глеб увидел неугасимый уголек ненависти. Бадьин медленно, отчужденно повернулся и тяжелым шагом пошел в глубь комнаты, и под

выпуклым бритым затылком при каждом шаге упруго двигались толстые желваки мускулов.

Даша мягко взяла Глеба под руку и повела по коридору.

— Ну, иди, иди, голубчик Глеб... Я приду к тебе... обязательно приду... Иди и успокойся... Что ж, ты думаешь, так и решился вопрос? Нет, Глеб, мы еще свяжемся вновь... но другими узлами, Глеб...

Он оттолкнул Дашу и быстро вышел на лестницу.

Вот и сейчас бритый затылок Бадьина из-под плоской шапки-кубанки вызывающе смотрит на Глеба, сминий, в желваках, шишках и шрамах. Этот затылок так и просится на мушку, чорт...

... Жидкий стоял перед Глебом и раздувал ноздри от скрытого смеха...

— Ты что? оглох, что ли?..

И потащил его к парапету.

Долго утрясались толпы, долго таяли утихающей зыбью рокот и гул голосов, замолкали песни и оркестры, и все эти несметные массы потекли с дальних склонов головами и знаменами, в водоворотах и вихрях.

Говорил Бадьин — говорил долго, всеми легкими, всем телом.

Разве можно выразить, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника. Тут было, что надо: и Советская власть, и новая экономическая политика, и хозяйственное строительство, и товарищ Ленин, и Российская Коммунистическая Партия, и рабочий класс... А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ...И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте — победа огромная, нечеловеческая, — это пуск нашего завода, этого гиганта Республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась наша борьба. Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстрою не выпускали из рук молотов и удар за ударом ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения. Завод — на ходу. Завод готов к работе на полный размах. С этого

дня, четвертой годовщины Октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он — такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба, на вышку, на заводские корпуса. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Пройдет мгновение — и она грохнется, как игрушка, взлетит на воздух и будет прыгать над морем голов, над знаменами, в волнах человеческого содома. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, непонятные самому, задышался, махал руками и неудержимо смеялся не нутром, а одною судорогой в лице.

— Говори... твоё слово... Режь!..

Зачем говорить, когда все ясно без слов? Ему ничего не надо. Что его жизнь, когда она — пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь, глупы и ничтожны? Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих грохочущих масс...

Тряслась челюсть, и зубы выбивали дробь. Ослепли глаза, и толпы запылали огненной вьюгой.

— Ну, говори же!.. Дрызгай с места в карьер!..

И не помнил, что говорил, и будто не говорил, а бормотал бессвязную, жалкую чепуху. Но его голос слышали даже дальние толпы на взгорье.

— ...И не барахолить словами, товарищи... не трепать языком... крепко поставить на плечи башку, а руками держать дело за ребро... Вот как надо ставить вопрос. Это — не заслуга, когда мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Мы — все... единым духом... Если я — герой, так все же героини... А если мы не натянем кишки до геройства, так всех же нас к чертовой матери — по шеем с колокольни. Но скажу одно,

товарищи: мы сделаем все, создадим все и дадим мы, будь оно проклято, кому надо, сорок очков вперед... А вот если бы нам побольше таких техноруков, как наш инженер Клейст, да еще кой-чего немножко, так мы бы в два счета покрыли на ять всю Европу... Это будет, товарищи... это должно быть!.. мы ставили ставку на кровь и свою кровью зажгли весь мир... Теперь, закаленные в огне, мы ставим ставку на труд... Наши мозги и руки дрожат... не от натуги, а требуют новой работы... Мы строим социализм, товарищи, и свою, пролетарскую, культуру... К победе, товарищи!..

Опять гора осела грохотом и взорвалась ревом и медью оркестров.

Глеб помнил, будто сквозь сон, как схватил красный флаг и взмахнул им над толпою три раза. И сразу же охнули горы, и воздух вихрем закрутился в металлическом вое. Ревели гудки — один, два, три... — вместе, разногласно, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели, а горы, скалы, толпы, корпуса и трубы. И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь под вышкой, там на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена, и оркестры звенели колоколами.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<b>I. Пустынный завод</b>	
1. У порога гнезда . . . . .	5
2. Мёрдок . . . . .	11
3. Машины . . . . .	16
4. Братва . . . . .	22
<b>II. Красная повязка</b>	
1. Потухший очаг . . . . .	30
2. Детдом . . . . .	37
<b>III. Партком</b>	
1. Товарищ Жук, который кроет . . . . .	45
2. Конкретное предложение . . . . .	50
3. Женщина в кудрях . . . . .	56
<b>IV. Рабочий клуб «Коминтерн»</b>	
1. Ячейка РКП. . . . .	61
2. Август Бебель и Мотя Савчук . . . . .	73
<b>V. Подпольный эмигрант</b>	
1. Спрятанная комната . . . . .	79
2. Враги . . . . .	82
3. Расплата . . . . .	87
<b>VI. Преды</b>	
1. Малый узел . . . . .	95
2. Глаза, которые видят по ночам . . . . .	107
<b>VII. Отчий дом</b>	
1. Книжный червь . . . . .	110
2. У постели матери . . . . .	114
<b>VIII. Горячие дни</b>	
1. Рабочая кровь . . . . .	118
2. Прыжок через смерть . . . . .	122
3. Цыпленок дутый... . . . .	134

	Стр.
<b>IX. Бремсберг</b>	
1. Массы . . . . .	141
2. Ставка на кровь . . . . .	147
3. Электрический зум . . . . .	152
<b>X. Внутренние прослойки</b>	
1. Тихие минуты . . . . .	156
2. Рождение в силу . . . . .	163
<b>XI. Ущемление</b>	
1. Хозяйские руки . . . . .	177
2. Человек на подножном корму . . . . .	181
3. На выгон . . . . .	184
<b>XII. Сигнальные огни</b>	
1. На страже . . . . .	192
2. Пленник с пустым рукавом . . . . .	199
<b>XIII. Тихий ход</b>	
1. На повороте . . . . .	202
2. Упрямым шагом . . . . .	210
3. Тревога . . . . .	213
<b>XIV. Встреча покаянных</b>	
1. Через голгофу в каносу. . . . .	222
2. Беззубые волки . . . . .	224
3. «Красная знамя» . . . . .	228
4. Девушка у борта . . . . .	232
5. Корабль его величества в плену . . . . .	234
<b>XV. Накипь</b>	
1. Будни . . . . .	236
2. Трудный переход . . . . .	245
3. Кошмар . . . . .	251
4. Затор . . . . .	256
<b>XVI. Плевелы</b>	
1. «Пушай сердце у нас будет каменное!» . . . . .	268
2. Чистка . . . . .	272
3. Ничтожный элемент всеобщего . . . . .	282
4. Щепки . . . . .	284
<b>XVII. Толчок в будущее</b>	
1. «Будем крыть дальше!..» . . . . .	289
2. Пепелище . . . . .	294
3. Норд-ост . . . . .	299
4. Волны . . . . .	307



# Изд-во „ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“ (ЗИФ)

МОСКВА, Кузнецкий Мост, 13. ЛЕНИНГРАД, Проспект 25 Октября, 13.

## СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ:

### I. Александр Неверов.

Полное собрание сочинений в 7-ми томах (в трехцветной обложке).

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

- Том I—Авдотьяна живая. Рассказы 1906—1916 гг. 280 стр. Ц. 2 р. 40 к. В папке 2 р. 65 к.  
" II—Черное и белое. Рассказы и пьесы 1917—1919 гг. 232 стр. Ц. 2 р. В папке 2 р. 25 к.  
" III—Лицо жизни. Рассказы 1920—1921 гг. 256 стр. Ц. 2 р. 25 к. В папке 2 р. 50 к.  
" IV—Голд. Рассказы 1921—1922 гг. 196 стр. Ц. 1 р. 70 к. В папке 1 р. 95 к.  
" V—Ташкент—город хлебный. Повести и рассказы 1922—1923 гг. 288 стр. Ц. 2 р. 60 к.  
" VI—В садах. Рассказы. 240 стр. Ц. 2 р. 35 к. В папке 2 р. 60 к.

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Том VII—Гуси-лебеди. Роман 1918—1923 гг.

### II. Федор Гладков.

Собрание сочинений в 2-х томах (под наблюдением автора).

Второе издание.

Обложка худ. Д. Митрохина.

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Том I—Огненный конь. Повести и пьесы. 320 стр.

### III. Вл. Бахметьев.

Собрание сочинений в 3-х томах (под наблюдением автора).

Обложка худ. С. Чехонина.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том I—На земле. Рассказы. 172 стр. Ц. 1 р. 75 к.

" II—Железная трава. Рассказы. 176 стр. Ц. 1 р. 80 к.

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Том III—Полые воды. Рассказы и пьесы.

### IV. Вяч. Шишков.

Полное собрание сочинений в 12-ти томах (под наблюдением автора), с портретом автора и литературно-критическим очерком П. Медведева.

Обложка худ. Б. М. Кустодиева.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том III—Страшный кам. Сибирские повести и рассказы. 200 стр. Ц. 2 р. 5 к. В папке 2 р. 30 к.

" IV—Колдовской цветок. Повести и рассказы. 224 стр. Ц. 2 р. 25 к. В папке 2 р. 50 к.

" VI—Пе́йпус-Озеро. Повесть. 152 стр. Ц. 1 р. 50 к. В папке 1 р. 75 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Том I—Автобиография. Тайга. Повесть. Том II—Свежий ветер. Рассказы. Том V—Ватага.

Роман. Том VII—Спектакль в с. Огрызове. Шутейные рассказы. Том VIII—Торжество.

Шутейные рассказы. Том IX—Диво дивное. Шутейные рассказы. Том X—Пьесы.

Том XI—Ржавая Русь. Очерки. Том XII—Улица. Очерк.

### V. Н. Ляшко.

Собрание сочинений в 6-ти томах (под наблюдением автора).

Обложка худ. С. Чехонина.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том III—Никон из займки. Рассказы. 132 стр. Ц. 1 р. 45 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Том I—Железная тишина. Рассказы. Том II—Радуга. Рассказы. Том IV—В разлом. По-

весть. Том V—С отарою. Повесть. Том VI—Доменная печь. Повесть.

### VI. Андрей Соболев.

Избранные сочинения в 4-х томах (под наблюдением автора).

Обложка худ. В. Д. Замирайло.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том IV—Китайские тени. Повести и рассказы. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Том I—Цыганский барон. Повести и рассказы.

" II—Любовь на Арбате. Повести и рассказы.

" III—Человек за бортом. Повести и рассказы.

### VII. С. П. Подъячев.

Полное собрание сочинений в 10-ти томах под редакцией Ив. Касаткина.

## С ЗАКАЗАМИ и ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

МОСКВА, Кузнецкий Мост, 13. Изд-во „Земля и Фабрика“.  
МОСКВА, Лубянский Пассаж, пом. №№ 25—30. Отдел Книготорговли Изд-ва.  
ЛЕНИНГРАД, Просп. 25 Октября, 13. Северо-Западное Областное Отделение Изд-ва.  
ХАРЬКОВ, Троицкий пер., 2. Украинское Отделение Изд-ва.

**КАТАЛОГИ — по первому требованию БЕСПЛАТНО.**